Былое и думы

Неизвестное о Валентине Распутине

Читайте на стр. 83

ЮНОСТЬ · 2017 СЕНТЯБРЬ

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Выходит с июня 1955 г.

12+

№ 9 (740) 2017

Всё — наше!

Век двадцатый. «Юность» семидесятых

Век двадцать первый

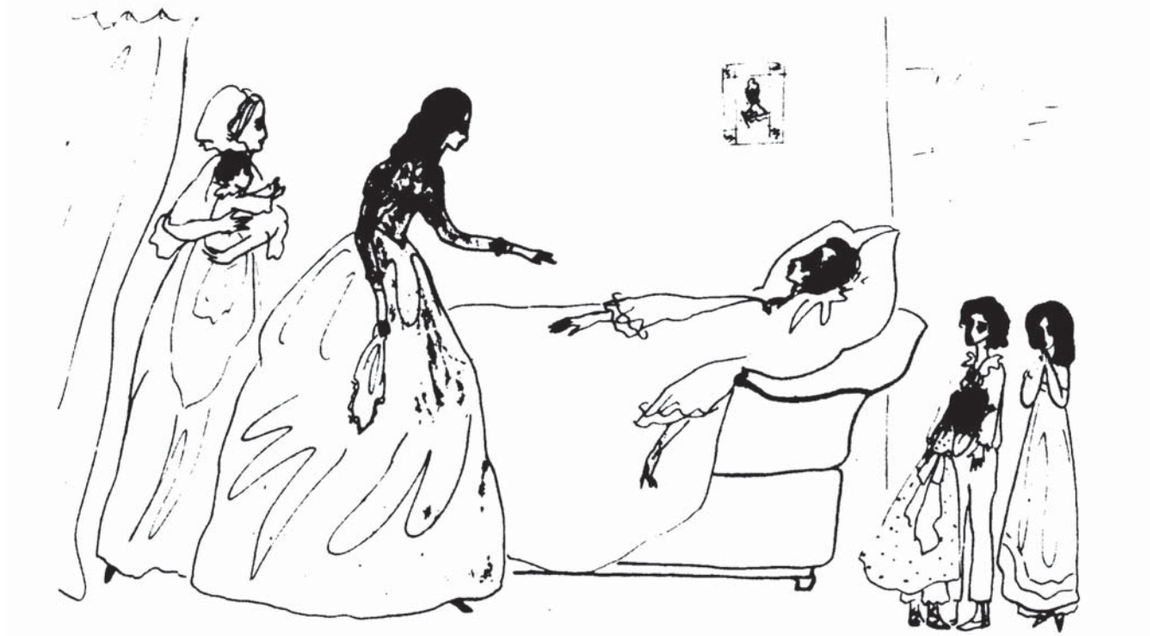
В номере:

Писатель Лев ЯКОВЛЕВ представляет своих учеников ● Евгений ИВАНОВ: «“Гимны” МОЕЙ Украины — это зимние щедривки и рождественские колядки» ● Иннокентий АННЕНСКИЙ в коридоре эпохи ● Спят бомжи и наркоманы, лишь путанам не до сна, или Театр МОСТ ● Математическая правда Ивана ГОБЗЕВА ● Любовь НОВИКОВА: «О, эти белые деревья…» ● Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ вновь о портянках и о Гамлетах ● Анатолий ЮРКОВ вспоминает Валентина РАСПУТИНА. Новый образ писателя ● Владимир КАЧАН — народный артист Российской Федерации. И его комедийный детектив с приятным финалом ● Марианна ДУДАРЕВА об экофилологии и Зоя ДОНГАК о Наде РУШЕВОЙ ● Американская писательница Элси Спайсер ЭЕЛЛС (1880–1963) собирала фольклор народов Южной Америки, Испании, Азорских островов ● Евгений Николаевич ЧИРИКОВ и продолжение его «Юности» ● В детективе жестокие игры ● В зеленом портфеле звезда из деревушки Барвихи ● Галка ГАЛКИНА: «Бараний пафос вашей басни предельно ясен и пронзителен» ● Проказник ГЕО: «Внеочередной бестселлер посвящен зооморфным отношениям Красной Шапочки и Волка»

9 770132 203600

Лев Яковлев,
Марк Перельман,
Александра Озерецкая,
Евдокия Харитонова,
Елена Ядренцева

Читайте на стр. 4



И вновь Надя Рушева

Читайте на стр. 110

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Выходит с июня 1955 г.

№9 (740) 2017

«ЮНОСТЬ» © С. Красаускас. 1962 г.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: **unost-contact@mail.ru**
Наш сайт: **http://unost.org**
Страница на «Фейсбуке»:
https://www.facebook.com/unost

Главный редактор
Валерий ДУДАРЕВ

Редакционный совет:

Ильдар АБУЗЯРОВ
Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Анна ГЕДЫМИН
Сергей ГЛОВЮК
Борис ЕВСЕЕВ
Тамара ЖИРМУНСКАЯ
Михаил ЗАДОРНОВ
Елена ИСАЕВА
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Елена САЗАНОВИЧ
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ
Андрей ШАЦКОВ

Редакционная коллегия:

главный художник
Наталья ГОРЯЧЕНКОВА

заведующая отделом литератур народов России и СНГ
Марианна ДУДАРЕВА

заведующая отделом критики
Елена МАКСИМОВА

заведующая отделом культуры
Татьяна МАХОВА

заместитель главного редактора, заведующий отделами прозы и поэзии
Игорь МИХАЙЛОВ

заведующий отделом зарубежной литературы
Евгений НИКИТИН

заведующая отделом молодежи
Анастасия ПОПОВА

консультант главного редактора
Евгений САФРОНОВ

заместитель главного редактора, ответственный секретарь
Светлана ШИПИЦИНА

В номере:

20-я комната (от пятнадцати и старше)

Лев ЯКОВЛЕВ **(4)**, Марк ПЕРЕЛЬМАН **(6)**,
Александра ОЗЕРЕЦКАЯ **(10)**, Евдокия ХАРИТОНОВА **(13)**,
Елена ЯДРЕНЦЕВА **(15)**

Поэзия

Любовь НОВИКОВА **55**

Проза

Иван ГОБЗЕВ

ЗАЧЕМ УЧИТЬ МАТЕМАТИКУ Повесть. Окончание **39**

Владимир КАЧАН

ПОХИЩЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Комедийный детектив с приятным финалом **96**

Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ

ГАМЛЕТЫ В ПОРТЯНКАХ Роман. Продолжение **60**

Страницы Льва Аннинского

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА

ОЙ, НЕ МОГУ! **36**

ЗАМЕТКИ НЕИСТОРИКА

ПОЛТЫСЯЧИ СТРАНИЦ И ВОСЕМЬ СТРОК Продолжение ... **37**

Что возмутило вас?

Евгений ИВАНОВ

МОЯ УКРАИНА Эссе. Окончание **28**

Былое и думы

Анатолий ЮРКОВ

...ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ,
ИЛИ ЗАСТОЛЬЕ С ВАЛЕНТИНОМ РАСПУТИНЫМ ПОСЛЕ
КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ Очерк **83**

Книжный развал

ТОЖЕ ЭКОЛОГИЯ

Марианна ДУДАРЕВА

РУСЬ, СТЕПЬ И ЗАЕЗЖИЙ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
О КНИГЕ А. Т. ХРОЛЕНКО «ВВЕДЕНИЕ В ЭКОФИЛОЛОГИЮ» **103**

НЕОБЫКНОВЕННОЕ

Борис РЯБУХИН

ТАЛАНТЫ ТАКОГО РОДА ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕГО НАРОДА
ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ З. ДОНГАК «МАМА НАДИ РУШЕВОЙ» **110**

Заведующий редакцией
Игорь РУТКОВСКИЙ

Отдел юмора
Генрих ПАЛОЯН

Редактор-корректор
Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление
Ольга МАЛЬЦЕВА

Фотокорреспондент
Антон ШИПИЦИН

Главный бухгалтер
Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа
Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей
Ирина УШАКОВА

Интернет-версия
Максим ПОПОВ

Дежурные по редакции
Людмила ЛОГАЧЕВА
Татьяна СЕМЕНОВА
Татьяна ЧЕРЫГОВА

Администратор
Зинаида ПОТАПОВА

Иноземный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Элси Спайсер ЭЕЛЛС

СВЕЖИЕ ФИГИ **112**

Наследие

Евгений ЧИРИКОВ

ЮНОСТЬ Роман. Продолжение **114**

Творческий конкурс

Марина ЛУНЕВА Ставрополье **125**

Софья АГАЧЕР США **127**

В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Валерий ИЛЬИЧЕВ

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ Очень опасная повесть **132**

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Илья КРИШТУЛ

ОДИН ДЕНЬ СО ЗВЕЗДОЙ **140**

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА

НАДО СТАВИТЬ ВОПРОС РЕБРОМ! **142**

ОКОЛОЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Проказник ГЕО

ОЛЕГ РЕЗЕПКИН, ИЛИ НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ **143**

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: **+7 (499) 251-31-22,**
+7 (499) 250-83-98,
+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: **+7 (499) 250-40-60**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Авторы несут ответственность за достоверность предоставленных материалов. Мнения автора и редакции могут не совпадать.
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в ООО «Типография «Миттель пресс»

Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс: +7(495) 619-08-30,
+7(495) 647-01-89

E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3000 тыс.экз. Формат: 60x84/8

Заказ №

ОТ РЕДАКЦИИ

Лев Яковлев (р. 1955) — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в Москве. Окончил Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. Писал сценарии для цирка. Первая публикация стихов в журнале «Мурзилка» состоялась в 1982 году. В 1991 году стал главой редакционно-издательского центра «Черная курица». Автор книг «Про Петю» (1991), «Я бегу» (1991), «Веселый цирк» (1996), «Ходит дом ходуном» (1998), «В остатке» (2010) и др.

Кажется, существуют два человека под одним паспортом — Лёва и Лев Григорьевич. Лёва учился музыке и живописи, увлекался авторской песней, обожал цирк, писал стихи. Лев Григорьевич окончил Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, служил в армии, работал художником-оформителем, стал лауреатом детского фестиваля «Чукфест».

А еще всю свою сознательную жизнь Лёва занимается детьми и просто молодыми начинающими поэтами, прозаиками, драматургами. Он ведет студию в библиотеке имени Гайдара на Смоленке (в Москве, возле станции метро «Смоленская»). В наше одержимое деньгами время он работает с детишками бесплатно!

Мало того, тратя свое драгоценное время, отнимая его у творчества и семьи, а Лёва уже счастливый дедушка, пристраивает тексты молодых да ранних в журналы, на конкурсы. Почти весь московский молодняк — его дети и внуки.

Я видел, какими глазами смотрели на него дети в школе № 508 в Бирюлево. Видимо, это ответная детская реакция, а детишек не обманешь.

Лёва любит это племя новое, незнакомое. И оно, племя, отвечает ему взаимностью!

А перед вами, дорогие читатели, лучшие студийцы Льва Яковлева.

Игорь Михайлов

Жестко, но деликатно

По-разному приходят ребята в лабораторию по работе с одаренными детьми при центральной городской детской библиотеке имени А. Гайдара. Зачастую они и в другие литературные места ходят, где можно почитать и обсудить прочитанное (например, литературное объединение «Пресня»). И это правильно. У каждого из таких «мест» свои стиль и задача. Можно получить еще что-то. В нашей лаборатории основное — стилистически работа с текстом (жестко, но деликатно) и попытка осмыслить, куда лучше тому или иному начинающему писателю двигаться. И еще мы болтаем о том о сем, просвещаем друг друга, гуторим о том, что такое творчество в нашей жизни. Как-то так. Вместе с Виталием Капланом и Татьяной Рудишиной год за годом мы следим, что с ребятами происходит. И совсем не огорчаемся, когда они бросают писать, но остаются гуманитариями по профессии. Это нормально, а может, и хорошо, учитывая современные гонорары. Но, конечно, радуемся, когда понимаем, что они ни за что уже не бросят писать. Кстати, осенью наша лаборатория стала пополняться за счет студентов Литинститута имени М. Горького (в основном семинар Галины Седых). И заметно повысился уровень обсуждений и серьезности отношения к профессии.

Конечно, эти четверо — не все старшие. Есть и другие, очень даже способные. И, кстати, есть чудесная младшая группа (7–12 лет), которая получила в 2015 году аж Новую Пушкинскую премию из рук жюри, возглавляемого А. Битовым.

Эти четверо — со своим, что называется, голосом. Лелю Ядренцеву уже сейчас можно отличить по то летящему, то вприпрыжку, вихревому движению. Но в этом вихре много всего — сомнения, тревоги, недоразумения, катастрофы, катарсисы. Все очень лично. Иногда не слишком понятно, о чем, но Леля перепрыгивает через непонятности и уносится туда, где ее ждут, на мой взгляд, удивительные обретения.

Марк Перельман. Его стихи приходится перечитывать по несколько раз, чтобы опять же понять, о чем. Но удивительное дело — это не раздражает. Потому что красиво, даже изысканно, музыкально, осмысленно. Тот, кто упрекнет его в преданности Серебряному веку, я надеюсь, понимает, что это не худшая из преданностей. И когда Марк вылупится из этого прекрасного века, он нас удивит всерьез, вот увидите.

Евдокия Харитонова проделала невероятный путь. Год назад... и сейчас. Не знал бы сам — не поверил. Теперь это настоящая проза, мускулистая, с точными деталями, стилистика легкая и сочная. Она умеет учиться, великолепное качество. И вот еще что отличает Едвокию — драматургичность текста. Всем бы так.

Александра Озерецкая — поэт, без сомнения. И вот — начала писать прозу. Из этого может получиться оригинальный микст, «чистым» прозаикам недоступный. Ее интересно читать, а еще интереснее наблюдать, что будет дальше. Даже предугадать не берусь, что случится, когда она найдет свои особенные сюжеты.

Вот на этом стоит остановиться. Что будет дальше, давайте посмотрим. И порадуемся.

Лев Яковлев,
руководитель лаборатории
по работе с одаренными
детьми при ЦГДБ имени А. Гайдара

Марк ПЕРЕЛЬМАН

Марк Перельман родился в 1994 году. В 2012-м поступил в Литинститут имени А. М. Горького на отделение перевода художественной литературы с немецкого языка. В 2013—2015 годах стихотворения опубликованы в «Литературной газете», 2-м альманахе «В Ружейном переулке» ЦГДБ имени А. П. Гайдара, эстонском альманахе «Таллин», выпусках альманаха «Пятью пять» и дискуссионном клубе «Время ЛД» литературного журнала «Лампа и дымоход». В 2015-м стал призером Всероссийского студенческого конкурса литературного творчества. В 2016 году — участник совещания молодых писателей при Союзе писателей Москвы.

* * *

Дар речи, ты незыблемый и зыбкий,
как я хочу вернуться к букварю
с неясной и блуждающей улыбкой,
понять, зачем пою и говорю.

Мне буквы уподобились, босые,
как дети, убегающие прочь
от возраста, как ливни областные
и плечи тех, кому уже невмочь

держать над самым сердцем груз атланта,
бросая взгляд на острие ножа...
хватило бы терпенья (не таланта)
добыть огонь и пальцев не разжать.

Дар речи, милосердный и жестокий,
продел в меня серебряную нить:
я знал, что он восходит на востоке,
еще не зная, с чем его сравнить.

О свойстве времени

Безликой теореме
смотрю в анфас:
не мы теряем время,

но время — нас,
не помня о пропаже,
себе в глаза
смотря, и это даже
не доказать
живущим ныне, присно,
поскольку взгляд
лишь переводит числа
на нотный ряд.

* * *

Бесшумный вал сиреневой волны
накатывает мягко, словно валик,
вдали чернеют камни, валуны,
собратья мелких камешков и галек.
Все, бывшие на пляже, разбрелись
напиться перед сном зеленым чаем,
пар вьется, поднимаясь в синевысь,
к туманному крылу прибрежных чаек.
Оставшись одному, на терпкий вкус
воды соленой и вина и хлеба,
понять, что знал не только Иисус —
любой ребенок знал, взглянув на небо,
услышав зов созвездий в облаках:
на внешней стороне любого века
мы — альфа, жизнь в бесчисленных веках,
на внутренней — лишь сон, ее омега.

Густеет ночь, смыкается прилив,
податливый издревле Моисею;
Икар здесь падал, крылья опалив,
и памяти морской — нет, не посмею
я пожелать ни другу, ни врагу,
и остается лишь, прикрыв глаза, мне
морской звездой лежать на берегу,
пока вода обтачивает камни
да острый прищур битого стекла
для тех, кого обычно ранят стекла
и дети их — бутылки, зеркала;
в одних моя душа насквозь промокла,
а во вторых видна почти насквозь,
почти — поскольку зеркало немного
лжет, ибо делит душу вкривь и вкось
с предметом; впрочем, скатертью дорога
любым попыткам вечность разделить;
пока созвездий участь разделять я
могу — земля и море мне кровать,
по крови и воде мои собратья.

Праздничный гость

Гаитянин

Что ты делаешь, белый мальчик,
на святом карнавале?
Наши речи немолчны,
протяжно гремят барабаны...
Мы о мертвых поем,
как столетия распевали
о бессчетных надрезах,
возникших от первой раны.

Что ты ищешь среди танцоров
в южном пепле, в жаре Гаити?

Мальчик

Я ищу ваших темных взоров,
но помочь меня не просите.

Гаитянин

Что забыл ты среди печали?
Наши маски детей пугают,
силуэты молочно-дымны...

Мальчик

Волны Леты меня качали,
ваши дети со мной играют
и поют неземные гимны.

* * *

Я выгнал музу в дождь и холод,
я вытолкал ее взашей,
мне нужен был предлог и повод,
и вроде быт похорошел.

Уселся в кресле поудобней,
блаженно греюсь у огня.
но дома нет меня отныне,
как и снаружи нет меня.

Меня не водится в природе,
нет на порогах, у дверей

гостиницы, что нынче в моде,
в расширенных глазах зверей,

не видно тени, силуэта,
но — тонкий свист иголок, плач
весны, — не смолкнет скрипка эта;
хоть музыку переиначь,

а муза тонкими плечами
пожмет, и дождь пойдет сильней,
меня окликнув, как в начале,
судьбой напиться вместе с ней.

Александра ОЗЕРЕЦКАЯ

**Александра Озерецкая, 19 лет.
Родилась и живет в Москве. В настоящее время учится на втором курсе философского факультета НИУ ВШЭ. Интересуется современной литературой, кинематографом и фотографией.**

Лампочка

В подъезде ее снова выкрутили. Не сказать, чтобы стало спокойнее, особенно по вечерам. Вообще говоря, все осталось по-старому. Даже обидно.

Никогда не была уверена, кто из нас больше лампочка. Потому что она, не моргая, продержалась четыре месяца, а я перегораю каждые два-три дня.

На лестничной клетке всегда пахнет чем-то жареным — соседка покупает масло по скидке. За два года нашего соседства мы так ни разу и не поговорили. Видела пару раз ее спину, слышала мат за стенкой, но так, чтобы «Здравствуйте, как поживаете?» — никогда. С другой стороны, ни она, ни я от этого особо не страдаем.

Федя приходил трижды, и мы пили. Дважды — чай, и один раз — красное полусухое. Я заявляла, что могла бы устроиться стюардессой, а он утверждал, что это глупо, да и я старая. Пару лет назад была бы нарасхват, а теперь только в «Макдоналдсе» картошку жарить.

— Ты ведь не всегда умная, — доверительно сообщает он, улыбаясь развязавшему язык красному полусухому.

Мне неприятно это слышать, и я делаю вид, что согласна. Федя прилипает взглядом к печенью, но явно стесняется.

— Можешь взять, — делаю царский жест. — Я все равно ненавижу изюм.

— А знаешь, мы можем играть на улицах, — бодро похрустывает печеньем. — Это не очень прибыльно, конечно. Но вообще зависит от того, как будет получаться.

Выплевывает изюмку. (Строго говоря, мог бы и воздержаться.) Пожимаю плечами и бессмысленно смотрю на скукоженный черный комочек.

— Я не умею ни петь, ни играть.

— Я тоже.

— И инструментов нет.

— У меня тоже.

— Какого же черта ты тогда предлагаешь?

Обиженно поджимает усеянные крошками губы. Становится похож на усталого тюленя.

— Я по крайней мере пытаюсь. Легко тебе — сидишь и рассуждаешь о том, с какой горы катится шарик твоей жизни, а остановить его даже не пытаешься. Так нельзя. Ты не Сизиф.

— Он его поднимал.

— Да, но шарик-то скатывался обратно.

Я не люблю спорить с Федей, потому что он всегда думает, что прав. К тому же на этот раз он скорее прав. Сидим еще какое-то время, а потом решаем выбраться.

* * *

Апрель совсем не апрель: снега много, а весеннего настроения нет. Проходим мимо группы бомжей, уютно пристроившихся на лавочке. Прямо как голуби на проводах. Один из них даже в берете и с потрепанным томиком Хайдеггера под мышкой. Шумно вздыхаю, чтобы привлечь внимание Феди.

— Наверное, будем однажды среди них.

— Что? Ты о чем?

— Видишь ту интеллигенцию?

— Бомжи?

— Ну да, да... Ты бы на каком месте предпочел сидеть?

— На место того, с бутылкой.

— А я на месте книгочея.

Федя решает почитать вслух стихи. Я не возражаю. Он долго кашляет, а потом признается, что ни черта не помнит. Я его прощаю. Тем более сегодня так холодно. Мы решаем зайти в магазин и купить чесночный багетик на двоих. Вдобавок берем бутылку сливочного лимонада. Федя очень любит сливочный лимонад.

На одном из бесконечных бульваров врезаюсь в бывшую одноклассницу. Встреча с унылым прошлым, разумеется, последнее, чего бы сейчас хотелось. Наташа делает вид, что невероятно рада встрече. Сверкая кривыми зубами, просит познакомить ее с моим спутником. Говорю, что это Игнат, и он глухонемой, поэтому если захочет с ним заговорить, пусть сопровождает речь жестами. Она озадаченно заглядывает ему в лицо. Федя серьезно кивает.

Наташа долго щебечет, как здорово ей жить на свете, какой у нее работящий муж (на этом моменте Федя морщится), как она снималась для рекламы жидкого мыла. Приходится притворяться, что я за нее рада. Наконец, считает нужным спросить, как дела у меня. Говорю, что все путем, что бы это ни значило. Понимающе кивает. Кивает довольно долго, потому что я молчу. На прощание пытается по-приятельски чмокнуть меня в щеку, но я ловко уворачиваюсь.

— Она тебе понравилась? — на всякий случай спрашиваю Федю, когда она уцокивает прочь.

— Да, симпатичная.

— М.

* * *

Некоторые слова похожи на глину в воде: делают ее мутной. А мне бы хотелось, чтобы мои были похожи на гладкие холодные камешки — оседали. Я пытаюсь объяснить это Феде, но он только делает вид, что понимает. Улыбается. Мне почему-то становится очень обидно, как если бы фильм оборвался на развязке или ключи провалились в шахту лифта.

Мы по очереди пинаем консервную банку. Она перелетает с одной стороны улицы на другую, и на какое-то время мне даже начинает казаться, что я веселюсь. Царапаю ботинки об острые края банки и первой прекращаю игру. Федя еще пытается один, но получается плохо.

Мы забредаем в какой-то провонявший переулок, и становится совсем тихо. Хрустим осыпающейся штукатуркой и льдом. Федя решает спеть песню, но ужасно фальшивит, и я прошу его замолчать. Многие ведь уже отдыхают после трудного рабочего дня, счастливцы.

Сливочный лимонад давно закончился, и все мое добродушие уплыло. Вот бы что-нибудь пнуть. А банка осталась где-то позади.

* * *

Забегаем в подъезд, когда уже совсем стемнело. Ждем лифта и строим дурацкие рожи скрюченной видеокамере, подмигивающей маленьким красным глазом.

Раздается скрежет, и мы вваливаемся в узкий вертикальный гроб полтора на полтора. В последнюю секунду пищит входная дверь, и в подъезд заплывает нечто в огромной мохнатой дубленке. Кричит «Подождите!», и я послушно зажимаю кнопку со стрелочками.

На вид женщине лет шестьдесят. У нее пенсионерно-фиолетовые волосы, румяное лицо и шапка с помпоном. Она ничего не говорит, но громко дышит. Едем в молчании, и не остается ничего, кроме как изучать настенную живопись.

Совсем рядом с единственным уцелевшим огрызком зеркала кто-то процарапал привычное трехбуквенное слово, снабдив его подробной иллюстрацией. Замечаю, что фиолетовая дама тоже приглядывается к пиктограмме.

— Как вам кажется, это натуралистично? — спрашиваю я, ощущая потребность завязать непринужденную светскую беседу.

— Что?

— Натуралистично? — растягиваю губы в самую благожелательную улыбку.

Несколько секунд она сверлит меня взглядом, а потом начинает визжать, что я чертова наркоманка.

— Это кто тут еще ширяется! — грозно вступает Федя. — Это не у нее волосы фиолетовые!

— Да вы... — Она раздувается от возмущения и становится похожей на огромную цветастую жабу. — Да я сейчас...

— Федя, у нее какие-то неприятности, не трогай ее... — примирительно бормочу я, внезапно ощущая невообразимую сонливость.

Доезжаем до моего этажа. Вопящая сирена выходит с нами, потому что это моя соседка и мы наконец-то поболтали.

* * *

Помню, как-то раз смотрела на свой рентгеновский снимок. Вот он весь как есть, мой глубокий внутрен-

ний мир: две темные дыры вместо глаз, какая-то искривленная носовая перегородка, длиннющие, как у кролика, белые клыки. И это так странно. Всегда ведь искренне веришь, что ты больше, чем просто кривой скелетик. Короче, пытаюсь не выглядеть дурой и остаюсь в дураках. Все выхолощено, вышито бисером, нашпиговано ватой. Прямо подушечка для булавок, а не голова.

Глупо и странно.

А еще мне совсем не хочется становиться почвой. Да и почве я вряд ли нужна. Думаю, я вполне могу пригодиться еще кому-нибудь. Воздуху, например. Да, наверное, я существую, но в состоянии птицы. Просто иногда им перебивают крылышки и лапки.

* * *

— Приветик!

Федя не такой, как обычно. Во-первых, на нем галстук, и это пугает. Во-вторых, в глазах какая-то концентрированная безнадега. В-третьих, он побрился, и это совсем уж дико.

— Ты что? — налетаю с порога.

— Ну... навестить тебя пришел...

— Врешь, — убежденно гавкаю я, кусая ногти.

— Ничего подобного! — заметно раздражается. — Я вот работу нашел, похвастаться хотел, а ты...

Я всхлипываю, но делаю вид, что чихнула.

— Будь здорова.

— Ладно.

Несмело позвякивает бутылками в рюкзаке.

— Это сливочный лимонад?

— Да. И красное полусухое. Порадуйся за меня, пожалуйста.

Делать нечего. Улыбаюсь и впускаю. Думаю, больше-то не придет.

Мне будет тяжеловато без лимонада.

* * *

Ее снова выкрутили, убили, обесточили. Подъездное эхо упорно молчит и просыпается, только когда я делаю шаг. Шарк-шарк-шарк.

Холодно. Пахнет тридцатилетней сыростью и пережаренной картошкой. Я поднимаюсь на цыпочки и беспомощно шарю по потолку. Известка неприятно шершавит пальцы.

Громко, по-ежиному пыхтя, вкручиваю лампочку на место. Свет нужен. Свет непременно нужен.

Евдокия ХАРИТОНОВА

О себе

Евдокия Харитонова. Студентка первого курса Литературного института имени А. М. Горького, мастерская драматургии. Обучалась в КЮБЗе (Кружок юных биологов Московского зоопарка), в детстве мечтала стать ветеринаром и поселиться в сибирском заповеднике. Помимо этого, закончила обучение в объединении «Журналистика и риторика» в ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня». Пишу мало, но стараюсь, чтобы каждый текст не был написан напрасно.

Осинка

— Э, слазь! — Ветку тряханула чья-то сильная рука.

Внизу стоял сурово-квадратный паренек. Глаз его я не увидела. Кустистый рыжий забор закрывал блестящие зрачки.

— Не, ну ты слезаешь? — спросил он. Угрожающе.

Мне, пацифисту по мировоззрению, драться не хотелось. Прыг. Ноги по колено скрылись в клевере. Руки сжали фотик.

— Чего тебе? — спрашиваю осторожно, ступаю по льду нового знакомства.

— Ты это, фоткать умеешь? — Парень покосился на мои руки.

— Ну да, немного.

— Тогда пошли, — он кивнул в сторону соседней дачи.

— Зачем это?

В деревне я второй день, никого не знаю. Первый знакомый — дятел. Его-то я и караулила на этой ветке. Фотик к груди прижимала, ждала подходящего момента. На тебе.

— Ксюху сфоткаешь.

Я промолчала.

Мы миновали ряд желтых деревянных дач. Сонных и тихих настолько, что птичье пенье оглушало. Свернули в заросли какой-то колючей дряни, попетляли по тропинке и вышли на поляну. Старая покосившаяся дача сверкнула на меня стеклянной мутью окон. Сухая дверь висела на одной петле. Ива уронила тяжелые ветки на шиферную крышу. Поляна была усыпана одуванчиками. А в одуванчиках прятались ржавые ведра. И резиновые шланги. И даже серый диван. На нем лежала длинная палка. При нашем приближении палка подняла голову и превратилась в высокую девушку. Тонкое тельце изогнулось, сверкнуло острие колен.

— Ксюх, вот привел... фоткаться. — Серебряные зрачки сузились.

— Как зовут?

— Даша.

Осинка в бледно-желтом платье поднялась, встала напротив. Выше меня на две головы. Почти вровень с Квадратным.

— Мне фотография нужна. На конкурс, — она кивнула в сторону фотика, — у тебя вроде хороший.

— Ну да.

— Сделаешь?

Она мне приказ отдала, не попросила. Даже не улыбнулась. Лишь глазами серебряными хлопнула.

— Ладно, — киваю, — пошли.

Завернули за угол. Здесь все заросло бурьяном. Два толстых дуба крепко вцепились в землю корнями. Поскрипывали ржавые качели.

Квадратный отошел к деревьям, Осинка села на крыльцо, я прислонилась к углу сарая. Зря. Из черно-

ты на меня вылетело что-то лохматое, пыльно-грязное, громкое и злое. Я отскочила в сторону, выставила руки вперед.

— Ада-алис! Фу-у! — рыкнул на собачонку Квадратный.

Та была мне по колено. Слюна капала из черной пасти.

— А она не бешеная? — спросила я Осинку.

— Не-а, — протянул парень, оттаскивая лающий ком за поводок. — Ну-у-у, хорош брыкаться, Адя!

Собака не замолкала. Лай ее уже спугнул самых голосистых птиц, назойливо звенел в воздухе. Осинка поднялась, выступила вперед, отняла у Квадратного поводок. Псина перестала лаять, глухое ворчание вырывалось периодически из ее горла. Осинка присела на корточки, поднесла лицо к самым собачьим глазам, что-то ласково зашептала в растопыренные уши. Деревянная рука превратилась в мягкую, нежно гладила цветной собачий бок.

Адя затихла окончательно. Улеглась на траву. Спрятала нос в одуванчиках. Взглянула на меня, но промолчала. Осинка поднялась, двинулась к дубу. Поскребла черную кору.

Руки ее стали снова деревянными, острыми. Глаза серебрились где-то на дне лица.

— Фотографируешь? — прошептала она одними губами.

Я настроила фотоаппарат. Щелкнула.

Она была красивой, эта Осинка. Но какая-то нескладная. Лицо суровое, безжизненное. Руки — углы, ноги — углы. Вся она — сплошной прямоугольник, острая серебряная звездочка.

— Покажи, — скомандовала у меня над ухом.

Я показала ее фотографии.

— Хорошо, — кивнула, — можешь идти, если хочешь. Я за фотографиями потом зайду.

— Угу. — Я сделала шаг в сторону.

Адя подняла мохнатую голову. Заворчала, сморщилась. Осинка снова склонилась над собакой.

— Ну что ты, Адя? — Мягкая рука гладила грубую шерсть, выдергивала репей. Сухие губы коснулись собачьих ушей. Серебро в глазах исчезло, исказилось глупой улыбкой красивое лицо. Больше Осинка на меня не смотрела.

— Как хоть твой конкурс называется?

— «Естественность природы», — пробубнила, не поднимая головы.

«Естественность природы... какая уж тут естественность? — спрашивала я себя, пробираясь через колючие заросли. — Ведь нет никакой естественности, одно дерево...»

* * *

Я увидела эти две фигуры на поляне еще издалека: прицелилась фотоаппаратом. По-моему, это был Квадратный с Осинкой. Я спустилась с дерева и двинулась к ним навстречу. И правда, они.

Квадратный стоял спиной к Осинке, затягиваясь сигаретой. Запах ее я почувствовала издали. Осинка сидела на коленях, полубоком, положив тонкие ладони на темное бревно.

— Что ж вы не зашли за фотками? — начала я, снимая дорожную сумку с плеча, надевая очки. А то вижу все как в тумане.

Надела и осеклась. Темная шерсть в тонких бледных руках. Пальцы сжимают загривок. Безжизненная, лохматая Адалис лежала на земле, свернувшись мохнатым калачом. Все-таки бешеная.

Осинка не плакала. Она не была каменной. Не замерла в раздумьях. Дикая гримаса застыла на красивом лице. Жалкая, детская гримаса. Недо-улыбка, недо-плач. Голова покачивалась туда-сюда. Маятник. А из глаз текло серебро.

Щелкнул затвор. Я не поняла, почему сфотографировала. Само получилось.

Она не подняла головы. И лица не изменила. Так и осталась сидеть на земле. По голой ноге ползли муравьи, бело-желтое платье испачкалось в песке. А она все сидела. Какая некрасивая! Такая живая.

Елена ЯДРЕНЦЕВА

Елена Ядренцева родилась в 1994 году, первую книгу — повесть — попыталась написать в семь лет (неудачно), несколько лет ходила в студию «Жизальмо» (и считает, что без нее ничего остального не случилось бы), окончила журфак МГУ, куда пошла «на слабо» вместо желанного Литинститута имени Горького, и в итоге довольна тем, что получилось. Любит фэнтези, литературу young adult, мемуары двадцатого века и финский язык. Пытается преодолеть барьер, которым 90-е годы отделили ее юность от юности родителей и в который она и родилась, вот это «мы жили в другой стране» (слова родителей).

На ладони

— Я сплю, когда встаю, когда выхожу из дома, и когда вносит в вагон, тоже сплю. Я щепка-неудачник — выбрасывает в такое место, где нет даже поручня.

Так наклонило, будто танцую танго, и партнер надо мной навис, а я подалась назад. Но партнера нет, а просто под спиной чемодан, и дышать трудно.

Наудачу кинув куда-то за правое плечо мятое «Простите!», я выпрямляюсь — и чуть не тараню подбородком чью-то читалку.

Читалка сера и солидна, и мне так стыдно, что я зачем-то быстро-быстро в нее заглядываю — и ловлю взгляд владельца.

Такой — не укоряющий даже, а будто он уже дверь за мной захлопнул.

Взгляд-финал.

Так неуютно, что хоть на месте прыгай, хоть из вагона беги, — а он не сводит, уткнул, как учитель указку.

Господи, я же сейчас закричу, я же сейчас не знаю что сделаю, не надо на меня так смотреть!

А владелец раздражающе безупречен — и брюки у него глаженые, и туфли блестят, и глаза серые. Я смотрю-смотрю, мелочь каждую проверяю, ищу повод злорадствовать — я в читалку вашу заглянула, а у вас зато спина белая!

Но он правилен до черточки, а у меня сапоги старые и сумка с ними не смотрится. И я стою, как дурак, без завалящего повода, и взгляд он, похоже, решил на мне до конца поездки оставить. Тяжело же!

Во мне потихоньку просыпается деловитая пылесосная сердитость.

Буркаю:

— Простите, пожалуйста, что я заглянула в вашу читалку.

Получите-распишитесь — теперь отстанете?!

— Лучше вообще не извиняться, чем так, скажу я вам.

Ага, ему еще и не нравится!..

Это последняя возмущенная мысль — дальше становится страшно.

Я не понимаю, что ему от меня нужно, я охрипла и наверняка уже проехала свою станцию.

Все на свете забыла с этими взглядами; холодно.

Он все смотрит. Я наконец понимаю, откуда тяжесть — не злость, не холодность, — внимательность просто. Интерес. Но такой основательный, что сутулиться впору.

Мерцает в глубине зрачков, как свет в лесной чаще. Иди-иди, пробирайся, выглядывай из-за стволов — у костра ждут уже.

Я трясу головой.

— Дай-ка руку, — небрежно.

— Что-о?

— Руку протяни.

И я медленно сгибаю и подношу к его носу правую руку в полосатой варежке. Я не могу не.

Он кивает не то мне, не то сам себе — да, правильно — и варежку стягивает, и кисть мою расправляет по-хозяйски, поворачивает ладонью вверх.

А в другой руке у него ручка, из тех блестящих-витринных, недоступных.

И этой ручкой он выводит деловито, крупным, четким почерком: 8-916...

И снизу — Андрей Семенович. Мы так обычно шпаргалки пишем.

На губах моих пляшет-пляшет, срывается наконец смешок.

— З-зачем это?..

— Пригодится.

Небрежно тоже, будто так и надо, будто уверен, что я не вскинусь!

Я хочу возмутиться, поворачиваю руку боком и пытаюсь учить номер.

Ладонь трясется, цифры дергаются, я, кажется, тоже.

В телесно-чернильный мир вдруг врывается размеренное, настоящее: «Следующая станция — “Третьяковская”». Моя! Иду напролом, вклиниваюсь в стволы пальто и курток, оттаптываю ноги. Выскакиваю как ошпаренная, не оглядываюсь.

Я до конца думала, что он меня остановит.

Номер синеет на руке клеймом.

* * *

В школьном холле светло и шумно, как на улице летом.

Я не проснулась еще и соображаю медленно, а школа хлещет в глаза, уши, ноздри — белым ламповым светом, криками хлещет.

Иду к раздевалке, смотрю под ноги, на серый кафель.

Кто-то потерял пиджак, кто-то потерялся сам, и поверх всего этого звенит звонок.

Я не знаю, зачем на алгебре расчехляю мобильник и лезу во «Входящие».

Может, хочу погреться о строки, о «люблю» и «мр-р-р», может, сбегаю от кривых интегральих лапок, — неважно.

Среди всех этих «мама», «Сережка», «Аля», среди любимых и не очень имен, на первой строчке — «А.С.».

Черные буквы, кажется, отделяются от экрана и впечатываются в глазные яблоки.

Трясу головой.

— Можно выйти? Мне мама звонит. — Голос мой дрожит, и Марина Юрьевна кивает.

В прохладе коридора прижимаюсь спиной к стене.

Трясет.

Я сама написала ему вчера ночью.

Вспоминаю, как лежала в постели, сжимала телефон, стояла на перекрестке меж «отправить» и «назад». И как оставалась одна в начале пути, и была ночь, и трещали цикады.

Я стою у стены и пялюсь на экран. Ду-ура. Интересно показалось, забавно, подразнить — получи теперь!

Я могу еще удалить его СМС не читая, но это не будет ничего значить.

Уже сделала шаг. Все обрушила.

Я не понимаю, почему, — но уже никогда не будет, как раньше.

Ч-черт.

Вхожу в класс и чуть не кидаюсь к доске. Шкрябаю мелом — раз-раз-раз, как мушкетер шпагой, цифры косые, я считаю, считаю и еще считаю. Мозг работает, прогоняет через себя примеры и выдает ответы, я умная, я могу, я порвала этот номер в клочья и у меня есть «пятерка» и «молодец».

И немножко душевного равновесия.

...Я сижу на скамейке, в столовой, вливаю в себя борщ, ложку за ложкой, — борщ горяч и красен, он спасает.

И я могу наконец без тряски вспомнить ту эсэмэску.

«По поводу “что вам нужно?” — твое общество, увы.

Относительно «зачем?» помочь ничем не могу.

Впредь будь добра не будить ночью».

Я гуляю с подругой по школе, по третьему этажу, по кругу, прячусь от понимания в завитушках разговора, но на русском, когда медленно, скучно пишется конспект? деться мне некуда.

Если ему зачем-то меня надо — он же получит.

Украдкой достаю телефон: «А вас не волнует, нужно ли это общение мне?»

Ответ приходит незамедлительно, и даже от экранных буковок веет холодностью, будто в конверт белоснежный вложил и с курьером отправил: «Ни в малейшей степени».

Сволочь, захлебываюсь воем внутренним, чуть на стуле из стороны в сторону не качаюсь, сволочь.

Но это русский — вовсе не время для воя, и я ныряю в морфологию и определяю разряды прилагательных до отупения.

Когда понятия «качественное» и «относительное» окончательно переплетаются и я пихаю подругу локтем, чтоб узнать, так ли ей плохо, как мне, — телефон вибрирует. Я хватаю его поперек живота: ну что еще?

«Порадует вряд ли, а полезно будет».

Да кто, кто так пишет эсэмэски!

— Идите к черту, — шепчу.

Все эти его слова — как тот взгляд в метро.

* * *

— Знаете что, если вы хотите обсудить детали, я вас встречу. Во сколько сегодня освобождаешься?

И я стою посреди школьного коридора и не знаю, что мне делать, и он еще скачет с «вы» на «ты», а подруга сегодня болеет — некому тормошить.

Когда это я хотела обсудить детали. Я вообще ничего не хотела.

Я хочу, чтоб вы сейчас положили трубку и оставили меня в покое.

— В три, — буркаю.

Функция «непослушание» у меня заблокирована.

— Номер школы?

Называю.

— Анна Сергеевна, будьте добры, найдите школу... О, Катерина, да у вас не простая школа, у вас гимназия!

Его искусственное оживление меня мало занимает.

— Откуда, — голос скачет меж писком и хрипом, я откашливаюсь, — откуда вы знаете, как меня зовут?

— Есть данные. — Ему почему-то смешно, и он прощается и вешает трубку в хорошем настроении.

Зараза.

Это все похоже на любовный роман, самый дурацкий, в мягкой обложке — у него есть секретарша Анна Сергеевна, а мне теперь что?

На красной кофте белеют пушистья, у меня грязная голова, тяжеленная сумка, и мне вовсе не нужно богатых мужиков.

Мне вообще никаких мужиков не нужно, даже мальчиков пока не нужно, хватит, наигралась. Тем более таких, с которыми отключается непослушание.

Остаток школьного дня проходит быстро — хоть обеими руками за хвост цепляйся, держи скользкий — не удержишь.

И вот я уже стою у калитки, и мне так не страшно, что даже мех на воротнике топорщится.

Смотрю внимательно на черные прутья школьного забора. Обычно — счастье выйти в неотгороженное, неофициальное — а сейчас век бы тут стояла.

Но нет, я снаружи, а к воротам подъезжает машина.

Черная, блестящая, косит незажженными фарами по-пантерьи.

Я смотрю на тонированные стекла и думаю, что если он меня туда запихнет — не вылезу уже никогда.

Но мы с воротником настроены решительно и никуда запихиваться не собираемся.

— Ну здравствуй, Катерина Арсеньева. — Андрей выходит, и я наконец осматриваю его с головы до пят.

Глаза, самое главное — глаза. Взглянешь — отшатнешься, слишком пристально смотрит, слишком безразлично в то же время, слишком ровная уверенность льется... Много за собой водил, да? Много приказывал?..

И волосы седые уже. Не старик — матерый.

Трясу головой — сколько можно пялиться.

— У вас есть данные, да?

— Что?

— Бесполезно спрашивать, откуда вы знаете про фамилию?

— А, да. Есть данные. — Ему почему-то в кайф это повторять, это у него такая игра с самим собой.

И я буркаю:

— Тогда скажите мне свою.

— А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. — Он чуть улыбается и протягивает мне руку.

Я представляю — захват — боль в запястье — пасть машины, — но нет, простое пожатие.

— Нет ничего приятнее застольной беседы, не находишь?

— Нет, — говорю быстро, — никаких бесед. Я их не признаю.

Говорю Сережкой — с его интонациями, в его манере; чуть удивленно, быстро, но твердо.

— И что же, мы будем чинно гулять вокруг твоей школы?

Мне хочется плечами пожать — кто встретиться предложил? Кто общество навязал и смотрит теперь сверху вниз?

— Да, — говорю, — мы будем чинно гулять вокруг моей школы.

Уезжайте, а? Пожмите плечами и уезжайте!

Но он говорит что-то шоферу, и машина плавно разворачивается, а мы идем медленно, не спеша — и впрямь вокруг школы. В его руках моя сменка, моя сумка, мы идем рядом, кавалер и барышня.

Если это роман, то что за кретин его сочиняет.

— Весьма прискорбно, что с такой позиции нельзя заглянуть тебе в лицо... — Он говорит опять как бы сам себе, решает — отвернуть на полную вентиль тяжести, вдавить меня в снег — или не стоит пока.

Мягким-мягким голосом — и струится холодок по коже, липкий, противный, ночной.

Зимний мороз честней во сто раз, приходит — так сплеча, краснотой по щекам, по носу, — а этот...

И тут Андрей выныривает из своих мягкоголосных, коньячных глубин.

— Ну, Катерина, — доброжелательно, ободряюще, маскируется под прямоту мороза, — давай рассказывай!

— Что рассказывать? — отшатываюсь.

— Да все. Чем живешь, какую музыку слушаешь, что любишь, что бесит...

— А вы мне даже фамилии не говорите.

— Ну да, изначально разница в положениях, — соглашается без эмоций, кивает.

И, видимо, я опять что-то пропускаю в собственной жизни, потому что вот уже покрасневшими руками распутываю наушники и пытаюсь понять, какой ему — правый или левый.

И включаю сокровенное — подо что просыпаюсь и подо что засыпаю, откуда черпаю бензин, чтоб никогда не стоять на месте.

Источники силы.

И если он сейчас засмеется — уйду, пусть стоит тут со сменкой.

Если только тень снисходительности учую.

Но он слушает всех этих девочек с лебедиными голосами, и музыку-энергетик тоже слушает — господи, да там же смысла нет, молотилово, по ушам бьет!

А он слушает — и вслушивается.

Проводок тоненький, черный на его щеке не смотрится.

— Саундтреки к жизни.

— Что?!

— Песни — саундреки к жизни у тебя, я правильно говорю?

Да правильно он говорит, только знает откуда!

Опять «данные»? Но это-то...

Откуда ему знать, что я свою жизнь люблю под фильм подгонять!

Под фильм или под книгу, это уж как пойдет, — но чтоб красиво, чтоб ракурсы, чтоб снимать можно было, ничего не вырезая, чтобы правильно до черточки.

Сколько ж можно почву у меня из-под ног. Чемпионат у него среди себя, что ли.

Мы бредем уже энный круг; ученики разошлись, учителям забавно, должно быть, наблюдать из окон.

А я понимаю, насколько замерзла.

— Пляшите, — говорю.

— Зачем бы мне?

— Я признаю, вокруг школы — глупо.

— Нет, — качает головой, — недостаточный повод.

«Тьфу ты», — думаю тоскливо.

Ладно.

Пока мне так пусто и так спокойно, я и это могу спросить.

— Вы хотите со мной отношений?

— Смотря что ты вкладываешь в это слово.

— Вы хотите моего тела?

— Ни в коем разе! — кажется, даже вздрагивает, ну и отлично.

— А-а, — тяну, — тогда ладно.

Андрей смотрит на часы.

— Четверг, шесть часов, «Шоколадница», для некурящих.

— Что это?

— Это время и место нашей следующей встречи. Есть возражения?

— Отсутствуют!

— Вот и правильно.

Иди домой, Катерина, — замерзла уже.

И вручает мне сменку и сумку, и я сначала иду, а потом бегу, а дома почему-то оказывается Сережка, и отдохнуть мне не светит при таком раскладе.

* * *

Дни до четверга заполняются эсэмэсками и мыслями — внезапными, ни с чего.

«Андрей, — думаю я, выводя интегралы, чистя картошку, заправляя постель, — такой, такой и такой.

Я — такая и такая».

От постоянного перекладывания мыслей по полочкам мне бывает хорошо; вперед я не смотрю.

Он — вот поставит цель и идет к ней бульдозером, ни по сторонам не смотрит, ни в себя. Решил — пошел.

А я цель вижу тоже, но бегу зигзагами — заблужусь двадцать раз, сверну с дороги, сяду отдохну, вообще идти передумаю.

Зато вижу сколько всего, узнаю — сколько, а уж эмоций — палитра, выбирай какой хочешь оттенок.

— И половина из них лишние, — говорит мне Андрей, когда на одной из пыльных, звенящих перемен я рассказываю ему эту разницу, пялясь в школьное окно.

— Как это лишние?! — вскидываюсь так громко, что пятиклашки рядом оглядываются.

— Шелуха. — Я прямо вижу, как он пожимает плечами. — Чаще всего ты чувствуешь поверхностно. Стряхни — ничего не изменится по большому счету. Как крошки со стола, понимаешь?

Тут, слава богу, звенит звонок.

Эмоции ему — крошки; чем живет-то тогда?..

«Чем вы живете?» — спрашиваю ночью, почти по традиции. Я помню, Андрей просил по ночам не писать, но как быть, если день закружил делами и не пускал.

Он не отвечает.

* * *

Я бегу-бегу, продираюсь сквозь толпу — а он уже за столом.

Еще и в пиджаке.

Ненавижу.

Ведь вовремя пришла!

Ну почему он всегда заранее, мне с утра тут сидеть, чтоб опередить?

Я плюхаюсь на стул прямо в пальто, Андрей смотрит чуть с сочувствием.

— Ты уже здесь?

— Да, — киваю, — я уже здесь.

— А мне кажется, ты еще не вся добралась.

Дергаю плечом — ну, может, и впрямь не вся, может, отстала какая-то часть, поскользнулась, по улице бежит, носом шмыгает.

— Добирайся.

— Угу, — киваю опять жалобно и вдыхаю глубоко. Все, домчалась уже, опоздала, был позор, теперь выдохнуть можно.

Пальто вот снять. Кресло почувствовать, а не как будто на пять минут присела.

В «Шоколаднице» темно-коричневый, сладковатый полумрак, в таком хорошо целоваться.

Я хочу еще подумать о мягкости здешних кресел, но не успеваю.

Рука Андрея накрывает мою.

Я вздрагиваю.

— Холодная, — наблюдение.

Э-э, говорю я, ну да.

Мне хочется руку выдернуть, это что-то совсем не то, но я не могу. И невежливо, и просто — ну тяжелая у него ладонь, положил — как книгой бумажку важную придавил.

Хотя это я придавливать буду, а он ровным своим почерком в ежедневник перепишет или вообще в телефон забьет.

Я думаю, как бы его отвлечь.

— Вы меня кормить обещали, — бурчу, — свининой.

— Уже заказал. С майораном.

«Любимая!» — восторгается кто-то глупый в моем мозгу, а я руку выдергиваю, будто током ударило.

Откуда он знает?!

— Откуда вы?..

— Вот так вот. А пока несут, у меня к тебе разговор.

— Да-а? — тяну, маскирую ошарашенность.

— К сожалению.

Он говорит, как примерный отец, — открывай рот, десять ложек.

Тьфу ты.

— Скажи-ка, если дело неотложное, — как реагируешь?

— В смысле?

— Если вот тебе тема сочинения и завтра сдавать, если мама сказала полы помыть и придет через два часа — ну? Что сделаешь?

Он спрашивает так жадно, будто не ел день, и вот рядом пища — мои слова.

— Я... — говорю медленно, решаю, о прошлой себе говорить или то, что недавно — считается. — Я-быстро-сделаю-и-забуду.

— Давно так научилась? — Он опять что-то знает, это как со свининой, но черта с два я еще раз удивлюсь.

— С месяц, — отвечаю честно.

— А легко ли тебя обидеть?.. — Голос мягок, как тогда, когда строчил свой номер на моей руке, ух, как я это ненавижу.

— Сложно, но у вас получается!

Хотя ничего у него не получается, конечно, бездарь в деле обижания меня.

— Тебе, я вижу, не нравится моя манера вести беседу?

Ну конечно, не нравится. Когда тебе пишут деловые эсэмэски и громоздят тяжеленные ладони и заказывают свинину без спросу.

Когда, понимаете ли, «есть данные».

Я бурчу и бурчу — про себя.

Снаружи хватает сил только головой мотнуть.

— Не нравится?

Мотаю еще сильней.

— Тебе что, сложно мне возражать?

Нет, — и ему смешно. Смешно ему. Снисходительность у него сквозит.

Попробовал бы сам!

— Очень сложно?

Он издевается или вправду не понимает?

А не получается даже согласиться.

— Даже так, — кивает деловито, будто стадию заболевания узнал.

Ч-черт.

Подзывает официанта, негромко что-то говорит, — я не слышу.

Хмурится.

Пальцами по столу барабанит — медленно.

— Если тебе станет от этого легче, то я вовсе не хочу, чтобы так было. Это не от меня зависит.

Да-а-а, а от кого же.

Внутреннего моего шипения он не слышит, конечно же, и продолжает все так же хмуро:

— Теперь уже не от меня.

— Ваш ром.

В наш диалог так внезапно вторгается кто-то третий, что я сначала ничего не понимаю.

Официант.

Принес стеклянную бутылочку колы и стакан с темно-коричневым.

— Пей, — пододвигает ко мне.

— Разбавляй.

И я заливаю ром колой, и заливаю стол ромом, и делаю огромный глоток, и как он узнал, что это моя мечта.

— Я хочу с вами общаться нор-маль-но! Не это вот...

Андрей хмыкает, и мне должно бы стать стыдно, но не становится.

— Почему я как дурак на вас смотрю снизу вверх? Если вы хотите... Если вы хотите общаться, вам же выгодней, чтоб я себя хорошо чувствовала!

— Ну и что люди делают, когда общаются нормально?

Он так подчеркивает это «общаются нормально» — я его задела, ну и ну-у.

Я. Его.

От удивления я делаю еще глоток и брякаю:

— В гости ходят.

Дурацкий вопрос вообще-то.

Почему тащить наши миры друг к дружке всегда должна я. Нашел ослика.

И никаким ромом с колой он это не искупит.

Я положила голову на руки и смотрю на свое красное кольцо, и сквозь волосы — в полутьму кафе.

— Примешь приглашение?

— Куда? — вскидываюсь ошалело.

Настороженность — стержень, пьяна я, не пьяна — никуда не денется.

— В гости, — говорит с недоумением; в странную игру ты играешь, деточка, но играй, раз нравится.

Минуту я пытаюсь вообразить, как он предлагает мне тапочки. Прыскаю.

Улыбка ненужная, глупая все прыгает на лицо, — я сгоняю, она опять.

— Вы-ы, — тяну, — не сочетаетесь с тапочками.

— Могу понять. Я заеду за тобой в пятницу вечером.

Последнее — вердикт, он опять все сам решил, но у меня-то ром, и блокировки нет.

Вцепившись в стакан, отчаянно тряся головой, я говорю:

— Нет!

И добавляю поспокойней:

— Я на метро приеду.

— Что это вдруг?

Только не вдавливайте меня взглядом в стол. Только не вдавливайте меня взглядом в стол, я на него ром пролила, он липкий.

Мысли — вспышки в темноте, зеленые кометы. Летают, обрываются на середине, я ловлю, вяжу узелки.

Сложно.

Вздрагиваю — он опять мою ладонь накрыл — и что ж ему неймется-то?

— Вот тебе адрес.

У меня недовязалась мысль, и я очень медленно соображаю, зачем он протягивает мне салфетку.

— Приезжай на метро.

Ух ты.

Куда повесила пальто, я не помню.

— Сейчас выйдем — проветришься, — говорит Андрей едва ли не сочувственно.

Я хмыкаю и сама не понимаю, что имею в виду. Вот так и исполняй мечты.

Мы стоим у метро, город обступил фонарями и притих.

Хмель почти выветрился. Стыдно.

Расходимся — вниз и внутрь, в метро и машину.

* * *

Я довожу Андрея с утра, не знаю, зачем, бомбардирую вопросами, атакую щебетом.

Это как ткнуть зверя пальцем — и отпрыгнуть, ткнуть — и отпрыгнуть.

Как он меня еще лапой не прихлопнул — неясно.

В окно школьное мне светит солнце, и в пути мне светит солнце, и когда я оказываюсь у нужного подъезда, оно светит тоже.

Я жалею, что нельзя запихнуть его в карман и выпустить уже там, внутри.

В доме железная дверь и внушительный вахтер. Когда я говорю, в какую квартиру мне надо, он хмыкает, отрывается от газеты и осматривает меня с головы до пят.

— В эту? — уточняет.

Я киваю и бегу по лестнице.

До упора давлю на черную кнопочку звонка.

Внутри открывается дверь, щелкает замок — и Андрей выходит навстречу.

— Проходи, разуваться в коридоре.

Отличное начало.

В прихожей сумрачно, как на дне стакана, тот ром я так и не допила, — вспоминаю некстати.

Андрей кивает направо:

— Вот гостиная, располагайся. Рад видеть, — и скрывается где-то в сумраке.

А я вхожу и натыкаюсь на взгляд — чуть синяк не набиваю.

На меня уставился шкаф. Высоченный, резной, как выясняю у Андрея — из ореха.

Этот ореховый — заводила, главарь; так же враждебны безупречно чистая, огромная кухня, вешалка для одежды и книжные полки.

Квартира слишком тяжела, слишком серьезна; Андрею по плечу, наверное, а мне — сжиматься-прятаться.

Но я не сжимаюсь и не прячусь, даже когда Андрей опять выходит, извинившись. Забираюсь на диван с ногами; попирать полосатыми носками такой ковер кажется мне кощунством.

А Андрей сначала приносит чашки с чаем, и я пью осторожно, совсем маленькими глотками. А потом тяжело ставит на стол проигрыватель — старый, настоящий, где не диски, а пластинки еще черные. Мучаюсь, пытаясь вспомнить название, потом спрашиваю — виниловые! — а потом по комнате разносится музыка, густая, сочная, солнцем напоенная. Концентрат.

«In the house of the rising sun...»

— Это ваш саундтрек?

— Обхожусь без саундтрека.

— А раньше?..

Андрей пожимает плечами.

Я обхватываю колени руками; музыка все льется — густым, наваристым солнечным светом.

Представляю, как молодой Андрей с еще неизвестной фамилией успевает под эти аккорды туда, туда и туда, пишет конспекты, целует девушек.

А-а, черт, у него еще не было плеера.

— Вы ведь не в Москве родились?

— Нет, — очень спокойно, — не в Москве.

И мне думается, что в его городе точно была сирень, и подо всеми его костюмами тело такое же, как у всех, и посуду себе он моет сам.

На своей территории очень сложно держать дистанцию.

— Минуту, — говорит Андрей вдруг, и этот тон словно хватает меня за шкирку и отшвыривает — не лезь.

Тьфу ты.

Андрей приходит быстро. В руке у него тапочки, он вручает их мне и говорит что-то вроде: «Забыл, прошу прощения».

Женские, фиолетовые, с блестками, с красным вышитым «Love you».

И ему-то смешно, он меня опять поймал на слове, как тогда с «вокруг школы» — но если у него есть жена, это очень плохо.

Что она обо мне подумает.

— Можешь успокоиться, она в Америке.

— Кто?

— Жена. И со мной больше не живет и в браке не состоит.

Черт.

Жалость захлестывает с головой, я выныриваю, отфыркиваюсь, воздух ртом ловлю.

Он же тут один, он же все вечера один, уходит утром, отдает приказы, возвращается в пустоту.

«Чем вы живете?..»

И мне жалко его и почему-то себя, и я вскакиваю и стараюсь дышать глубоко. Пластинка застыла — в комнате тихо.

Когда он выключил?..

— Еще чаю выпить есть желание?

Я киваю — да, да, да, есть! — и за Андреем в сотый раз закрывается дверь.

Я дышу глубоко и медленно, подхожу к окну.

Бедный, бедный, бедный, — теперь ясно, почему такой!

Почему меня доводит, холодность откуда эта, непрошибаемость — господи, да я же выше, я же его сильнее!

У меня-то хорошо все, у меня семья, люди, эсэмэски, — а у него?

И ведь столько думала плохого, так бесилась.

Черт.

Я хочу отвлечься, отвожу штору, выглядываю на улицу.

А на подоконнике — цветы. Целый лес цветов, листья, колючки, стебли — я не знаю названий.

Земля в горшках сухая; цветы тоже от жены, наверное, и почему он их не выбросил, я не знаю.

Андрей приносит чай и даже вазу с конфетами, разворачиваю одну и съедаю жадно — у жалости вкус рома с колой, и я отчаянно хочу от него избавиться.

* * *

На улице я бегу трусцой.

Метро проскакивает быстрее быстрого — я даже толком не успеваю заметить, показали декорацию и сменили тут же.

Стучу каблуками несуществующими, сжимаю сумку. Я румяная, глаза у меня блестят, воротник пушист. Я несу счастье, хочу не расплескать, хочу — горячим.

Когда я лежу в постели, обнимаю подушку, жмурюсь — теплое мое, жаркое счастье вдруг исчезает.

Я остаюсь с пустотой и ничего не могу понять.

Что это.

Куда все делось, куда я делась. Белая майка, белое одеяло, диван огромен.

Утону в белизне сейчас.

Андрей есть, а меня нет. Можно собраться, наскрести по углам немного, но этого даже на каркас не хватит.

Все бело.

Я даже не знаю, как реагировать, — ничего-о себе яма.

Собственная легкость наваливается плотно, не дает вдохнуть. Я девочка. Я глупая девочка и никто, и ничто больше. Не выбраться.

Ничего не умею.

И — семнадцать лет. Никогда еще так не терялась.

А час назад все так просто было.

Почему Андрей с собой не носится, а я ношусь. Что это за глюки вообще.

Я сижу, прислонившись к стенке, и чувствую себя белым листом.

Мне очень спокойно; от спокойствия жутко. В комнате темно, время, наверное, к часу.

Где я.

Пытаюсь придумать себе цель — не могу. Белизна плещется мерно, мирно.

Я беру гитару, прижимаю струны.

Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.

Гитара держит на плаву. Вокруг плещется белизна, но я нет, не тону.

Шкрябаю по струнам — шершаво.

А ведь не все бы схватились за гитару на моем месте. Кто-то бы расплакался, кто-то бы на кухню пошел, кто-то список бы начал составлять — «что мы имеем...».

А значит, я есть, я! все-таки! есть, и я Андрея не хуже, и мне надо только себя узнать, а это гораздо проще.

Я засыпаю выпотрошенная, спокойная, с гитарой в обнимку.

* * *

Утром я белый лист по-прежнему. Моюсь горячей водой — она так хорошо отовсюду возвращает, так помогает.

Ванная тоже бела, но это белизна не враждебная.

Кап-кап-кап на белое — красным. Из носа — кровь.

И льет, и льет, и льет, черт, измазала всю ванную.

Боль, оказывается, не делась никуда, я ее из сердца вон — она по телу вдарила.

Ладно, лучше тело.

Носом все кровь, сколько раз уже, мир серый, во рту кисло. Сжимаю носовой платок, болит голова.

Мама морщится, Сережка носится — «что случилось?» — я хожу по квартире шатаясь, молчу.

Меня из-за Андрея ломает? — спрашиваю я у телефона, лежа плашмя в конце второго, кажется, дня, и выбираю режим «случайный порядок».

Хорошее гадание, не врет обычно.

Телефон беспощаден и прямодушен, он выдает ту самую, «The house of the rising sun».

Ладно.

Сплю.

Подгибаются ноги, и лечу с каких-то ступенек — просыпаюсь, вздрогнув.

* * *

Дни с той ночи пролетают быстро, меня нет как нет, но на улице солнечно, и это все искупает.

Сидя в метро, добираясь из точки в точку, нахожу эсэмэску — ту, первую.

Подсчитываю, что дергаюсь из-за Андрея уже больше недели, и решаю, что хватит.

В тот день и в следующий я много ем, много сплю и ничего не делаю. Я очень балую себя: кормлю шоколадом, читаю книжки; мне нужно сейчас много бензина и много мурчанья, и я беру его где только можно.

Из пустоты, из белизны я вытащила себя за шкирку и очень этим горжусь.

И если вот это — любовь, то идите с ней к черту, знаете что.

Иду-иду, осторожно, по краешку, оступлюсь — грохнусь в пустоту, не выплыву.

Я по-прежнему не уверена, что я есть, но обхожу этот вопрос стороной.

Но Андрею-то невдомек, что мне хватит, и вдоволь належавшись пластом, нашмыгавшись кровью, еле выбравшись, я получаю от него СМС.

«Куда пропала, Катерина?»

И чувствую, что я есть. Точно. Полностью.

Отчаявшись понять закономерность, пихаю в рот шоколадку, отвечаю:

«Я тут».

И мы договариваемся встретиться у него же, завтра.

* * *

Вахтер, увидев меня, издает странный носовой звук.

Я бегу по лестнице и думаю, что носовой звук в ответ на звонкое «Здравствуйте!» — это нечестно.

Я победила время — пришла на десять минут раньше, и вот звоню.

И еще звоню.

И еще.

— Входи, Катерина, открыто, — доносится из глубин.

Вхожу, разуваюсь-раздеваюсь, а на кухню-то дверь распахнута, и такая там роскошь, что...

Девушка у него на кухне, грустная, на птицу похожая. Тонкая, бледная, волосы черные — струятся.

На табуретке высокой сидит, ноги поджав — птица на жердочке, правильно все.

Не лицом к столу сидит, а боком — я и пальцы могу видеть, как она ими юбку теребит.

Андрей кивает:

— Проходи, садись. Какао будешь?

— Буду, — соглашаюсь и на девушку стараюсь не пялиться.

— Я Инна, — даже улыбка тревожная, зыбкая.

Под крыло бы ей к кому-нибудь.

— Не возражаешь, чтобы мы завершили разговор?

— Нет, конечно, — фыркаю.

— Андрей, ну что это!.. Ничего тебе? Не обиделась? Мы быстро, — Инна наклоняется, заглядывает в лицо черными своими глазищами.

Я делаю первый глоток — какао горячее, сладкое.

Пытаюсь понять, на что обижаться.

— Нет, — говорю, — не обидно, а на что тут?..

— Ну, например, секреты. И вообще — пригласил тебя, а говорю с ней. — Андрей хмурость прикрывает улыбкой, но она просвечивает.

Что-то у них не так совсем.

— Да это я прибежала раньше, — отвечаю, — хотите, в гостиную пойду?

Переглядываются.

Андрей кивает опять — не приказ, благодарность за такт.

Смущен? Во дела.

Я беру стакан с какао и ухожу, прикрываю за собой дверь.

Просто так сидеть в гостиной скучно, и я принимаюсь ходить вдоль книжных полок — в прошлый раз не всматривалась. А там, оказывается, Жюль Верн и Стивенсон, и я даже не знаю, что на это подумать.

«Детей капитана Гранта» я читала давно — устраиваюсь на диване, сворачиваюсь, чуть не мурчу.

Когда акула уже поймана, но о бутылке еще никто не имеет понятия, я слышу грохот.

Кто-то дверью кухонной со всей дури шарахнул, надо же.

— И никакой ответственности, по-твоему?

Это Андрей, и, ох, как хорошо, что со мной он таким голосом никогда не говорил. Подчеркнуто ровным, слова — плотина, а за словами — не знать лучше, что.

— А что, вот так лучше? Вот так? Да что вы с ней вообще...

— Инна!

О господи.

Я не нарочно, — готовлюсь оправдываться, — я даже дверь за собой закрыла, я не виновата, что вы так орете.

Они говорят еще что-то, но мне уже не слышно, а потом закрывается входная дверь.

На «Дункане» оживление — бутылку нашли и записки вытащили.

— Инна просила передать тебе ее извинения, — Андрей проходит через комнату быстрым шагом, садится рядом, — интересно?..

— За что извинения?

— Что не попрощалась.

— А-а-а.

Андрей настолько хмур, что воздух вокруг него кажется гуще. Слова мои в этой хмари зависают, и говорить мне сложно.

Сидим молча; кошусь на него с сочувствием.

Когда тишина начинает давить, я аккуратно спускаю ноги с дивана и решаюсь.

Андрей еще не знает просто, как я умею.

— Вы устали, да?

— Что?

Он поворачивается и смотрит на меня с интересом; ну и вопросы тебе в голову приходят, девочка.

— Вы устали, — повторяю уже утвердительно.

И думаю, что если сейчас опущусь на колени и загляну ему в лицо, как подругам, и потрусь лицом о ноги — это будет что-то не то.

Но обмурчать все равно обмурчу!

Подхожу к подоконнику, отвожу штору — ну коне-е-ечно, сухая земля, кто бы сомневался.

— У вас цветы не политы, — говорю осуждающе.

— А?

Нет, это ж надо так себя довести. Сколько он работал и зачем он столько работал, и что это был за ор только что.

Я негодующе фыркаю, спрашиваю снисходительно, как опытная хозяйка у молодой:

— Где лейку можно взять?

«На кухне, кажется» лейки не обнаруживается, и я поливаю цветы остывшей водой из чайника; Андрей наблюдает с недоумением.

Я поливаю цветы, мою посуду, поднимая брызги, вытирая пену со стен.

Вбегаю в гостиную и прыгаю на месте.

— Что мне еще сделать — что мне еще сделать — что мне еще сделать!

— Вопрос или песня? — от улыбки веет теплом, ну ничего-о себе.

Но мне теплу удивляться некогда, мне сбиваться нельзя, и я отвечаю звонко, почти выкрикиваю:

— Ну чем мне быть полезной — чем мне быть полезной — чем? Я могу даже сбегать в магазин и купить вам рому!

— Тебе не продадут.

Да я знаю, что мне не продадут, я не дурак, но пусть ему кажется, что да, пусть ему от этого веселее будет, на это ведь и расчет!

Я прыгаю и опять жалею, что он не девочка. Нельзя руки взять в свои, нельзя с дивана стащить и по комнате закружить, и обнять и затихнуть — тоже нельзя.

И «мр-р-р»-то ему не скажешь, вот засада.

— Хотите, я вам песню спою?

Сама чуть было не застываю столбом — что сморозила?! — а Андрей ничего, улыбается, смотрит.

Я хорошее кино иногда, да.

— Какую песню?

Тут я все-таки перестаю прыгать, потому что сбивается дыхание.

И потому что на самом деле не знаю, какую песню собиралась петь.

Но останавливаться-то нельзя, и я плюхаюсь на пол рядом с диваном и предлагаю:

— Про хиппи!

— Давай про них, — соглашается опять почти равнодушно.

Да что такое, на секунду отпустишь — он опять в хмарь скатывается!

Чтоб я еще когда-нибудь...

И я пою ему песню про хиппи, который хиппи быть перестал, и потом Веню Д'ркина, «Шалабуду», и потом еще про коня, «в штанах» и «без штанов», но это на один голос неудобно.

Очень хочется все-таки взять его за руки и закружить по комнате, но немножко здравого смысла у меня еще осталось, и мы опять сидим молча.

Я не умею растормашивать мужиков, видимо.

— Ты не возражаешь, если я выпью?

Мы так долго молчали, что я успела свыкнуться; лежу на полу, на спине, смотрю в потолок.

Редко бывает так спокойно на чужой территории.

— Ну, — говорю, — вы же не будете много пить.

— Много не буду.

Улыбку я поймать не успеваю, но ведь знаю, что она была!

Я их всех помню — собираю, храню, как эсэмэски и письма, как феньки, как кольца.

— Составишь компанию?

Ну вот. Только станешь частью дома — пить зовут.

Сажусь.

— Знаете, — говорю осторожно, — я не очень хочу с вами пить.

— Пить я тебе и не предлагаю.

И мы идем на кухню, и Андрей из холодильника достает водку и огурцы, из шкафа — стакан; я сижу на табуретке, наблюдаю, ворую закуску.

А потом Андрей пьет, и я перестаю жевать и сижу тихо.

В жизни не было такого января.

Пустой стакан тяжело опускается на стол, по Андрею почти не заметно, что выпил, только глаза чуть блестят.

Беру еще огурца.

— Сейчас же январь у нас?

Киваю — рот набит.

Андрей смотрит на подоконник:

— В прошлом году у меня здесь елка стояла.

Подоконник узок, пуст и белоснежен, и елки я на нем не представляю, да и зачем Андрею елка?

Еще я думаю, что за этот разговор ему будет завтра стыдно, что нечестно быть трезвой, когда он выпил, и...

— Шторы задерни, а, — просит чуть хрипло. — Сидим как на витрине...

Я спрыгиваю с табуретки, задергиваю как могу быстро, — пусть не видит подоконника, пусть про елку забудет!

Но нет, подходит ко мне, смотрит на занавески — и ясно, видит не их.

Ну черт возьми.

— Дина наряжала, еще лифчик свой туда вешала...

Мне хочется вдарить по подоконнику кулаком.

Ну куда вы в меня пихаете все эти откровенности?! Нашли кому душу изливать, господи!

А жалость подступает опять — вот-вот с головой захлестнет; воздух заряжен искрами, заряжен чем-то — звон, взрыв, осколки по полу...

Хочется зашипеть.

К черту!

И я срываю штору — трещит ткань. Вешать теперь полдня — ну а сколько воздуху-то звенеть.

— Это что?

Андрей, ура, елки больше не видит, проснулся.

Голос, правда, ледышка, зато откровенничать не рвется.

— Это, — говорю спокойно, — я вам штору сорвала.

Специально.

И вот тут Андрей смеется — первый раз вижу.

Смеется и качает головой — ну даешь, ну дае-е-ешь!

— Ну ты даешь, Катерина Арсеньева.

Андрей садится, я аккуратно кладу штору на пол и думаю, есть ли в этом доме стремянка.

* * *

Я просыпаюсь оттого, что кто-то хлопает дверью ванной.

Минуту лежу неподвижно, смотрю в потолок, жду вчерашний день.

Не помню ничего; приди кому охота, он мог бы сейчас подсунуть мне совсем другое вчера, и я бы не заметила подмены.

Потом всплывает: оторванная штора, смеющийся Андрей, — и по жилам разливается чувство правильности. Я встаю, иду на кухню и в коридоре натыкаюсь на Сережку.

Гос-споди, чудище, что с тобой? Бледный, хмурый, нескладный какой-то, волосы всколочены.

— Доброе утро, — говорю с сомнением.

Брат смотрит на меня мутными глазами, шелестит, будто в горле пересохло:

— Доброе утро.

И уходит в комнату, шлепая по кафелю босыми ногами.

Я вваливаюсь в кухню.

— Ма-а-ам!

Мама сидит на стуле, чуть сгорбившись, пьет чай.

— А?

— Мам, он это что?

— Сережка? Да плохо ему!

Тон у мамы обвиняющий, будто я виновата; черт.

Она им только в крайних случаях говорит.

Ла-адно, не поддаемся панике, говорим спокойно.

— В чем это выражается?

Мама отвечает про тошноту и температуру, а я трясу головой. Это надо же было так похоже на Андрея сказать!

С кем поведешься...

Я не очень замечаю, как оказываюсь за партой.

Я думаю про Сережку — с чего ломает брата моего, ну, что это?

«У него уже давно так, это ты все шастаешь где-то и не видишь».

Ну да, к Андрею вот в гости шастаю, себя теряю — а дома такое.

Мурчишь чужих мужиков, а братья страдают. Но откуда я знала!..

Телефон разражается вибрацией: Андрей.

«Перчатки не желаешь забрать?»

А, то есть я их у него забыла — но какая разница.

«Не сейчас», — отвечаю тускло, без точки, и телефон выключаю.

Очень старательно ищу площадь криволинейной трапеции, но нахожу все равно не то. Надо было вычитать не из нижней площади верхнюю, а из общей нижнюю, и я, в общем-то, все понимаю, но тут звенит звонок.

Я взваливаю на плечо сумку и выхожу в коридор.

Телефон вибрирует так долго, что я прислоняюсь к стене, сумку скидываю.

«А.С».

Ну коне-е-ечно, взволновался!..

— Здравствуйте, — успеваю вперед, — я-сейчас-не-могу-говорить-простите.

— Голос сел?

— Не кричите на меня, пожалуйста.

— Я кричу?

— Отстаньте, пожалуйста, у меня брат болеет, я сейчас не могу нормально разговаривать.

В трубке заминка, шорох.

Я в первый раз представляю, где он там. Может, переговоры у него, партнеров важных толпа, может, в кабинете сидит, отчеты просматривает. Занят же, работает — но отвечает всегда сразу, а я?..

— Простите, — говорю, кашляю, и мой хрип тонет в его «извини, Катерина».

Фыркаю.

— Чем болеет?

— Оно вам важно?

— Иначе бы не спрашивал. Чем болеет?

— Да фиг его знает, чем!

Я стою все у той же стенки, повышаю голос.

— Слушай, Катерина, я тебя смогу встретить ровно в три.

— Сегодня?

— Сегодня.

Ровно в три часа я спускаюсь в холл. Андрей сидит на скамейке, читает газету — первый раз я вижу его в очках.

— Ну здравствуй.

— Здравствуйте.

Школьный вахтер хмурится непонимающе, но мне еще никогда в жизни не было настолько плевать на школьных вахтеров.

Я сажусь рядом с Андреем, смотрю в лицо — и хочу сбежать. Не хмарь уже — усталость каменная, обреченность, — не размурчишь никак, самой бы ноги унести.

Но я сижу на месте.

— Дай телефон, пожалуйста.

— Мобильник вам мой нужен?

— Именно.

Я жму на нужные кнопки:

— Вот, он теперь живой и послушный.

— Превосходно.

И раз-раз-раз — жмет тоже, попадает как-то, а пальцы ведь у него не тонкие.

Я смотрю из-за плеча. «Меню» — «контакты»...

— Вы что делаете?!

Я даже не знаю, что сказать, зачем-то пытаюсь телефон выхватить, пальцы у Андрея стальные, но я упорная.

— Э-э-э!

Вахтеру, видно, тоже больше нечего сказать, но нам хватает. Андрей оправляет пиджак, я — волосы, и мы сидим чинно.

Обычно я так с Сережкой вожусь, разнимает — мама.

— Это вот что было? — я ошарашена и потому наглая.

— Тебе объяснить?

— Да.

— Тебе точно надо это объяснять?

— Точно!

— Тебе ведь труднее будет с этим знанием, Катерина, — смотрит сочувственно и виновато.

Виновато. Он. На меня.

Отлично.

— Точно хочешь знать?

— Скажите уже, — бурчу, — перемена короткая!

А сердце о ребра хыдыщ-щ, хыдыщ-щ, хыды-щ-щ.

Чего оно такое большое-то — всю меня заняло!

— Скажите, а, пока я тут не грохнулась.

— Дело в том, что я тебя выдумал.

— Что-о? — спрашиваю по инерции, а оно понялось уже, захочешь — не отгородишься.

Вот почему.

Вот почему я не могу его не слушаться.

Вот почему он про меня все знает.

Вот почему эта дрожь от взгляда, вот почему бесилась!

— Ну, жива? Нормально воспринимаешь информацию?

Киваю. У меня опять все обрушилось.

Погодите.

— А мама?

— Что мама?

— Семья моя — она настоящая? Как вообще...

— Смотри, — смотрит снизу вверх, господи, а голос ба-архатный, — я тебя выдумал вот такой. Семнадцатилетней, очень легкой. Ну, мало ли, пришел образ, я удивился, из головы выбросил.

А ты воплотилась.

Но ты же не могла без прошлого — и вот оно у тебя стало. Ты не могла без семьи — и вот она у тебя тоже стала. Все это было заложено в том образе, который я тогда увидел, — заложено было, но раскрутилось уже само, без меня.

Понимаешь? Не теряешь нить, Катерина?

Нет, киваю отрешенно, не теряю. Звенит звонок, и мне кажется, я сейчас точно свалюсь, — звуки бьют по темени.

Холл залит электрическим светом; я зажмуриваюсь.

А Андрей продолжает — быстро, опять чуть хрипло:

— Скажем, если бы у тебя плохая семья была, ты улыбалась бы не так. Не было бы семьи — вообще другой расклад. Все заложено в образе, но процесс пошел сам.

Некоторым выдумкам только волю дай воплотиться...

— И что, сколько нас таких?

— Придуманных? Мало. Не все могут воплощать — да я сам не верил.

Сказали как-то: дескать, воля сильная, чувства подавляешь часто, — смесь опасная, думай осторожней. Инна и сказала, помнишь ее?..

Не верил — не верил, — потом ты в метро.

— Вы поэтому мне столько вопросов задавали?.. А...

Он перебивает:

— Бабушки-дедушки есть у тебя?

— Нету.

— Во-от, вот поэтому и нету — не до начала же времен твоему прошлому разматываться! И прабабушек-прадедушек небось не помнит никто, как звали?

— Но бабушку Таню я же помню! — возражаю из упрямства, думаю: сва-люсь сей-час.

— Мало ли, что помнишь, воспоминания — такое дело...

Андрей замолкает — а мне бы собрать себя как-нибудь. Я думаю, не дать ли себе пощечину, но вахтер никуда не делся..

— М-м-м, — трясу головой, — знаете, я сейчас усну, кажется.

— Телефон-то возьми, «усну»...

Я беру, пялюсь в экран.

«“А.С.” — удалить контакт?»

— Соглашайся.

И вот тут-то я вскидываюсь, и сна нет как нет.

— Вы зачем решили свалить? Вам стыдно стало?

— Почему стыдно?

Андрей недоумевает, и правильно недоумевает, вообще-то, но кто виноват, что меня несет. Сам же и виноват, сам придумывал, ха!

— Стыдно, стыдно, стыдно! Вы же из любопытства, ткнули палкой и смотрите, что будет! Как лягушку!!!

Я думаю, что «лягушка» его добьет, но нет, он не стыдится, не бесится даже. А я тяну, на грани уже, голосом не своим:

— База-а-аров...

И смеюсь. И думаю, что пора б ему мне врезать.

— У кого брат болеет?

Я застываю. Действительно, зачем по лицу, когда слова есть.

— Слушаешь?

Киваю покаянно.

— Выдумке нельзя подолгу находиться рядом с создателем. От этого страдает он сам, страдает выдум-

ка — но это еще ладно бы, не критично, как ты выражаешься.

Я вспоминаю белизну, кровь из носа — отлично. Не критично, значит.

— Не в этом суть, — опять мое. — Сильнее всего достается тем, кто выдумку пытается формировать.

Че-е, — растекается в голове пятно и так и остается; тупо смотрю на Андрея.

— Брат твой тебя подгонял под свои стандарты? Младшая сестренка должна выглядеть так-то и вести себя так-то?

О да-а, он ли не подгонял, он хуже, чем родители, подгонял.

Не ездий туда, почему не дома, не пускайте ее, она там напьется.

— Ну вот. А когда я рядом, наши представления о тебе схлестываются.

Брат проигрывает, ему плохо — поняла?

Тон — «отвяжись уже, девочка».

— Поняла, но контакт зачем...

— Ты хочешь, чтоб его так дальше ломало?

И вот тут до меня доходит.

Я сижу на скамейке и даже не могу поднять рук, чтобы потереть виски.

— И... — сжимается горло, — и навсегда?

— И навсегда, — смотрит опять с сочувствием, черт, да ему самому грустно; слезы пиджаком школьным утираются плохо.

— А если только виртуально?

— А оно тебе надо?

— Ну а видеться раз в месяц?!

— Надо оно тебе, Катя?

Я трясусь уже совсем, господи, желе, позорище.

Мне не надо. Мне его каждый день надо.

— Вы зачем вообще это все затеяли? Чтоб... так...

— А я знал, что у тебя брат есть?

— Мы сидим с вами и ругаемся, как придурки!

— Придурки, — кивает.

Молчим, шмыгаю носом.

— Я в тебя столько слез не закладывал, — шутит, а в глазах все видно же. — Инна мне в тот раз и говорила, чтоб перестал тебя баламутить, пока не поздно. Как знала, что так аукнется...

— А я думала, вы из-за жены тогда...

— Из-за жены... — передразнивает, фыркает.

Прижаться б сейчас, чтоб рядом-рядом, чтобы... Че-ерт.

— Вы зачем тогда были в метро?

— А?

— У вас машина же!

— На спор, — чуть улыбается, опять, последний раз ловлю, — с шофером машины как раз.

И молчим. Время уходит — а мы молчим, ну!

— Спасибо вам, — я к нему не жмусь, я встаю, я сильная.

— Спасибо, что выдумали.

— Не стоит.

Ну как еще, я думала, он ответит?!

Идиоты, идиоты разрабатывали все эти законы, выдумке хорошо с создателем, выдумка только и может с ним!

Да и создателю с выдумкой тоже...

Беру сумку — громыхает в пенале, лямки — в плечо, у-у-у, сволочь, ненавижу.

— Удачи.

Вот это бы я не в карман, я бы это к сердцу, крестика вместо.

— До свидания.

Я так просто не сдаюсь.

Евгений ИВАНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаем вашему вниманию эссе, которое продолжает важную тему.

Настоящая Украина — какая она?

Слава богу, Евгений Иванов жив и здоров. А перед вами, дорогой читатель, вторая часть его размышлений между жизнью и смертью. Напоминаем, что первая часть — в № 7 за 2017 год.

О себе

Родился в 1978 году в г. Чернигове, УССР.

Образование высшее (история и практическая психология).

С 2006 года работаю в Черниговском областном историческом музее имени В. В. Тарновского. На данный момент — научный сотрудник этого музея.

Пишу с 2000 года. Печатаюсь с 2007 года, в основном в местной периодической прессе и научных музейных сборниках. Печатался в новосибирской газете «Педагогическое эхо». За несколько лет у меня появилась серия эссе «Заметки экскурсовода» — попытка анализа ощущений, своих и чужих, причин их появления и осознания того, чем я занимаюсь.

В 2007 году занял 3-е место в X Областном литературном конкурсе для детей и молодежи «Спробуй». В 2008-м принимал участие в литературном проекте «Литрузыч, Гу!», занял 2-е место в областном конкурсе молодых журналистов.

Принимал участие в молодежном ежегодном творческом проекте «Перехрестя», проводимом галереей «Пласт-Арт» (г. Чернигов).

Увлечения: литература и поэзия Серебряного века, история старообрядчества, история религии, археология, психология личности, написание стихов и прозы.

Моя Украина

ЧАСТЬ II.

Дело было закончено, как я считал, дописав «Моя Украина», и «спрятано в стол». Однако по истечении времени внутри меня, подобно хитрому и голодному зверю, зародилось желание продолжить повествование о происходящих событиях начала века двадцать первого и моем к ним отношении, свидетелями коих, помимо своей воли, мне и моим близким представилось быть. И причин тому несколько.

Во-первых, по роду своей деятельности мне приходилось и приходится общаться с людьми разного эмоционального, интеллектуального и социального уровня.

Во-вторых, то количество информации и грязи — печатной, словесной и иного рода, с которой мы все столкнулись, — не поддается осмыслению. В этом лихом водовороте знаков и смыслов, вложенных в эти знаки, нетрудно потеряться, свернуть с дорожки и заплутать в своих страхах, домыслах и лжи — своей и чужой.

Я надеюсь, что мой читатель — человек образованный и здраво рассуждающий. Читатель, ищущий

сути вещей и желающий понять эту самую суть. Читатель, способный без претензий, но по существу, отделять зерна от плевел. Читатель, способный созидать на ошибках прошлого и никогда их не повторять. Читатель, не упрекающий и не дающий оценок, а думающий, слушающий, слышащий и видящий.

Это не исторический труд и не исследование, а, скорее, небезразличие к своей земле и неприятие абсурдности происходящего. Это мой взгляд и мое отношение к событиям, происходящим в начале двадцать первого века. Возможно, кому-то из тех, кто будет читать этот текст, если Клио его сохранит и время не сотрет в историческую пыль, это будет интересно.

Итак.

Видимо, так устроен homo sapiens, что когда жизнь его хороша, спокойна и благостна, то он, как переспевший плод, начинает портиться, недоумевая, от чего же в жизни его ничего такого яркого и энергичного не происходит. И от скуки и томления духа своего он нет-нет да и причинит порчу себе, тем самым совершив акт членовредительства.

Мысленно возвращаясь к началу тех безумных событий, которые происходили зимой 2014 года в Киеве, я никак не могу понять, что двигало теми людьми, которые совершили акт членовредительства той зимой на площади Независимости, призывая к насилию и хаосу?

Чего же все-таки не хватало жителям тихой и благодатной Малороссии и что заставило их поверить в сюрреалистичное вранье о всеобщем благе народа? Что заставило жизненно мудрых, как мне казалось, малороссов поверить в грязь, кровь, боль и ненависть ради мифического блага?

Я всегда верил в то, что у трудолюбивых, но хитровато-смекалистых малороссов хватит жизненного опыта и генетической памяти и они не позволят втянуть себя в политические авантюры и междоусобные войны. Уж слишком много бед пришлось им натерпеться.

В тридцатые годы двадцатого века, когда голод коснулся не только Украины, но и всего юго-запада Советской России, малороссы, как никто другой, на себе ощутили весь ужас голодной смерти. Фронт прокатился дважды по ее землям.

И мне всегда казалось, что они, как старый и мудрый Рудый Панько в выгоревшей от солнца льняной рубахе, босой, в портках, сидят под вишней возле своей старенькой, выбеленной хатки мазанки-алмазанки. Или, как дед Круча, там, где-нибудь на покосе, или на берегу крутобокого Днепра или застенчивой Десны, или под столетним дубом, который видел еще самого князя Святослава Храброго, в знойный июльский полдень с удочкой в руках, в своем дырявом потрепанном от времени и ветра, но таком уютном соломенном брыле, неспешно потягивают люльку с ароматным табаком, слушают рассказы о «медовой европейской жизни» заезжего коммивояжера из города Н-ска или из города Парыжу, со всем соглашаются, качая головой, глаз щурят да усмехаются.

И в этой их простецкой улыбке и в загорелых морщинках от прищуренного глаза читается только один ответ: «Говорив Мирон, рябої кобили сон!»

И видимое внешнее «согласие» их, и «одобрение» всего ими услышанного есть не что иное, как свидетельство их внутренней жизненной мудрости, продиктованной житейскими трудностями, обстоятельствами и памятью предков.

Таковыми по сути они, жители МОЕЙ Украины, и остались. Жители Слобожанщины, Полесья, Таврии, Северщены, Полтавщины, Сумщины. Они трудолюбивы и хлебосольны, теплы и добросердечны, веселы и гостеприимны. Но старые языческие боги Доля и Кривда сыграли с ними злую шутку.

С того самого времени, когда Украине бросили кость в виде «независимости» и «свободы» и она подавилась этой костью, был воспитан новый особый тип украинца. Именно украинца, а не малоросса, человека, живущего в приграничье, а не на просторах Полесья и Поднепровья. Тип этот хитрый, продажный, завистливый, обозленный, с комплексом неполноценности. И этому новому украинцу сказали, что он — нация, народ, государство. Он — великий украинец.

М. О. Меньшиков (1859–1918), общественный деятель, публицист, друг Столыпина

«Самые яркие из них отказываются от исторических имен “Россия”, “русские”. Они не признают себя даже малороссами, а сочинили особый национальный титул: “Украина”, “украинцы”».

Оглядываясь на случившееся, я думаю, что житель Галиции, который и явился двигателем переворота, и любой, кто его поддержал, неполноценен и ущербен. Ему все кажется, что его соседи, русские и белорусы, не говоря уже о «цивилизованных» европейцах, на голову, а то и на две выше их.

И именно у них в «исконной и настоящей» Украине сохранился чистейший этнический язык чуть ли не со времен святого Владимира. И там, в Европе, а не здесь, на своей земле, — самая что ни на есть цивилизованная жизнь, традиции, история, культура. В представлении галичан место «великого украинца» — в европейской семье англосаксов, а не в славянской дружбе и единении. И только находясь в случке с Европой, мы сохранимся как нация, и «хутор с садком вишневим коло хати» и «уникальную историю» у нас никто не сможет ни отобрать, ни переписать, ни переиначить.

Альфред Адлер, немецкий психоаналитик. «Комплекс неполноценности и комплекс преимущества»

«Комплекс неполноценности (inferiority complex) — совокупность психологических и эмоциональных бессознательных ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности, маловажности или неполноценности и иррациональной вере в превосходство окружающих над собой. Комплекс неполноценности возникает вследствие разнообразных причин, таких как дискриминация, душевные травмы, свои собственные ошибки и неудачи. Может проявлять себя в оборонительном или каком-либо компенсирующем это чувство поведении (например, в агрессии). Признаком синдрома может быть желание «маленького человека» максимально воспользоваться властью (или ее видимостью), которая в силу обстоятельств оказалась в его руках, и таким образом самоутвердиться. Может проявлять себя в попытках унизить человека, цеплянии к мелочам и придании нехарактерного веса этим мелочам. Нередко характерны попытки возместить комплекс собственной неполноценности выставленной напоказ ролью жертвы».

Именно Галиция, как бешеная собака, со Львовом, Ивано-Франковском, Стрыем, Тернополем выплеснула на остальную Украину всю ту ненависть и злобу, которую она таила все эти годы после создания и краха Социалистического Союза. Именно на нее был сделан упор в государственном перевороте. Галичане возненавидели все, что касалось негалицкой истории, — памятники, символы, события, имена и подвиги не их героев, «объявив войну» МОЕЙ Украине. Сбылась заветная мечта украинских националистов: карательные отряды УНА-УНСО и последователей идей Бандеры перешли Днепр, чтобы «освободить Украину от москалей, жидов и коммуняк». Их ненавистью движет подсознательный «комплекс неполноценности», ненависти и обиды.

Виталий Скороходов, врач-реаниматолог, журналист. «Психопатология украинского национализма»

«После нескольких веков пребывания в лоне западной цивилизации жители Галичины полностью восприняли все ее установки и стали противниками Русского проекта. В них глубоко укоренилось чувство меншовартости, которое они передали и своим детям и внукам. Потомки сечевых стрельцов и бандеровцев питают свою ненависть ко всему русскому в обидах прошлого. Вместо того чтобы воспитывать детей на лучших моментах украинской истории — совместной борьбе с врагами, построении нового общества, они устраивают пляски на гробах и живут своими поражениями и предательством своих гетманов. Они готовы каждый день вспоминать беды, причиненные им москалями, забывая о том хорошем, что было в истории их края».

Этот комплекс был взращен в глубине души под влиянием тех исторических неудач и поражений, которые им пришлось вынести. И они посредством государственных институтов прививают этот комплекс МОЕЙ Украине.

МОЯ Украина пережила войны, революции, голод, перестройку. Она все это помнит, знает, не забыла и она, как говорят, take vestri fabulam. Поэтому-то она не страдает приступами эпилепсии при виде красного знамени в целом и в день Великой Победы. Потому что МОЯ Украина внутренне самодостаточна и мудра. Жители МОЕЙ Украина знают, что толку все равно никакого не будет и жить лучше они не станут, если все памятники, сохранившиеся с советских времен, свалить, заборы перекрасить, а последнего дурака и пропойцу назвать паном. На все это они глядят с улыбкой Рудого Панька и понимают, что хоть на голове ходи, хоть волком вой, а солнце все равно взойдет на востоке.

МОЯ Украина не испытывает комплекса неполноценности, и поэтому ей не нужно доказывать русским, галичанам, европейцам особенность и самобытность ее языка, ее истории и ее культуры. Ей незачем вставать с колен, потому что она никогда на них не стояла и не чувствовала себя униженной. Ей не нужно добиваться благосклонного расположения и положения в «семье европейских ценностей», потому что ничего ценного, кроме как однополой любви, МОЕЙ Украине, да и вообще нам, славянам, пропахшая дымом костров инквизиции, подкошенная эпидемиями чумы и тифа, Европа дать не может по определению. Она может только взять силой, а не попросить. Просить она не умеет. Крестовые походы и захватнические войны тому прямое свидетельство. У Европы свой подсознательный комплекс неполноценности.

Давайте будем честными и признаем, что у каждой нации есть свои комплексы и страхи, взращенные ими на генетическом уровне. Но нигде больше в мире так не носят на руках и не выпячивают напоказ *«сплюндровану, на колінах, понівечену, поругану і заморену»* историю свою, все самое худшее и мрачное, упуская из виду сотни великих имен и событий, принесших славу этому краю и земле ее.

Жители МОЕЙ Украины, каждый раз слыша магические заклинания из серии «наш пророк великий Кобзарь», не вздрагивают в экстазе, не раболепствуют и не пялят в каждом углу вместо икон Шевченко в шапке, и без усов, и в тулупе, и в модном костюме. Они не «сотворяют себе кумира» и не делают из него иконы и пророка. Потому что они помнят из своей истории культ другого «пророка», равно как и помнят то, к чему такие культы приводят. Поэтому-то в МОЕЙ Украине памятники и не сносили для того, чтобы помнили!

Виталий Скороходов, врач-реаниматолог, журналист. «Психопатология украинского национализма»

«На сегодняшний день в Украине сформировалось параноидальное псевдообщество, и чтобы выйти из этого состояния, нужен целый комплекс усилий, начиная от изменения системы образования, переформатирования информационного пространства, широкой просветительской работы в СМИ, формирования у людей нормальных нравственных ценностей».

Современная Украина как государство, которое, к сожалению, не состоялось, в агонии ищет тот связующий фундамент, на который могла бы опереться. Ищет свою национальную идею, которая объединит всю страну, от востока до запада и с севера до юга, невзирая на политические, экономические, религиозные и ментально-этнические различия. Ищет и не может найти. Потому что ее нет и быть не может, этой схемы национального сознания, которая определяет смысл существования того или иного народа, нации или этноса, ее историческую миссию.

Я спрашиваю себя: в чем заключается национальная идея Украины? И в чем смысл существования этого народа, особенно в наше время? Куда он идет? И какова его миссия? И что характеризует этот народ на современном этапе его существования?

Может быть, Шевченко — это национальная идея? Или, быть может, идея мифической «великой Украины»?

Я прихожу к выводу, что национальной идеей современной Украины стала ненависть. Ненависть может объединять нацию в борьбе с врагом, но не объединять нацию в принципе. Это путь в никуда.

Одна из попыток объединения нации была направлена на создание мифа о голодоморе исключительно на украинских территориях.

МОИ украинцы знают, что в тридцатых годах двадцатого века голод коснулся не только Украины, но и Саратовской и Пензенской областей, которые составили треть Поволжья. Они не верят в «исключительность» этого страшного события и в избирательность карательной машины. Они знают и помнят, что крестьянские бунты, расстрелы и грабеж были не только на Украине, а планы по сбору хлеба перевыполняли не присланные откуда-то, а местные украинцы, «свидомые», как сейчас говорят, то есть сознательные, преданные партийцы. Сами отбирали хлеб у своих же, чтобы выслужиться. Это еще одна черта менталитета украинца — выслуживание перед паном. Паном может быть кто угодно: чернокожий американец, или русоволосый немец, или картавый европеец, главное, чтобы пан похвалил.

Парадокс заключается в том, что о геноциде украинского народа до хрипоты в горле больше всех кричала и кричит опять-таки Галиция, та территория, которой голод не коснулся вообще. Как известно, территория Западной Украины была присоединена к «материковой части» только лишь в 1939 году и никак голодать не могла, так как была частью сытой и спокойной Австро-Венгрии.

Определение термина «геноцид» согласно конвенции ООН

«Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

a) убийство членов группы;

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы».

Почему Япония после ядерных бомбежек Хиросимы и Нагасаки, когда погибло от шестидесяти до ста шестидесяти шести тысяч ни в чем не повинных женщин, детей и стариков, не кричит на весь мир о геноциде японского народа?

Почему русские наравне с евреями и цыганами после окончания Второй мировой войны не кричат о том, что против их народа совершался целенаправленный геноцид?

Почему русины не кричат о геноциде своего народа в начале двадцатого века? Почему поляки вдруг забыли о Волынской резне, о геноциде поляков, проживавших на Западной Украине? Когда по приказу Центрального провода ОУН-Б подразделения УПА в 1943–1944 годах истребляли поляков целыми семьями и даже селам? ПОЧЕМУ?

И только украинцы с каким-то непонятным мне мазохистским упоением уверенно твердят, что только их нацию и никакую другую в мире так не унижали и не уничтожали.

Новая суверенная «история Украины» лжива и иррациональна по своей сути и построена на ненависти.

А. П. Чехов. Из письма к А. С. Суворину (об украинцах), 2 января 1894 года, Мелихово

«Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого, и имеют необыкновенные грандиозные претензии, потому что вовсе не имеют литературного вкуса».

А. П. Чехов. Из письма к А. С. Суворину, 18 декабря 1893 года, Москва

«Хохлы упрямый народ; им кажется великолепным все то, что они изрекают, и свои хохлацкие великие истины они ставят так высоко, что жертвуют им

не только художественной правдой, но даже здравым смыслом».

Я спрашиваю себя: неужели в истории ее были только черные страницы и кромешная тьма? Неужели в истории этого края его народ никогда не радовался, как ребенок, солнцу и теплым рукам его матери? И где те светлые и созидательные исторические персонажи, которые прославили свою землю и малую свою Родину?

Почему бы нам просто не знать о том, что все это было в нашей истории и от этого она и не хуже и не лучше, а такая, какая она есть? Почему бы нам, зная все это, не прекратить искать кого-то виноватого за все те неудачи, которые случались с народом, населявшим этот край? Почему бы нам не перестать плевать на свою память? Почему бы нам всем не запомнить одну прописную истину: «История не любит сослагательных наклонений»?

Я спрашиваю себя: почему своих «героев» — Бандеру, Шухевича, Коновальца — галичане навязывают МОЕЙ Украине? Их Бандера, присягнув сперва на верность Рейху, стал уничтожать своих соратников, а потом и простых украинцев, поддержавших советскую власть, когда понял, что никакой независимости ему не видать и немцы не питают страсти к его идеям.

Почему история МОЕЙ Украины обязательно должна быть мрачна и пессимистична? И откуда в языке МОЕЙ Украины взялись «виши́ванки» вместо «вишива́нок», «зро́блю» вместо «зроблю́», «ска́жу» вместо «скажу́», «дяка» вместо «дякую» и «халікоптер» вместо «вертоліт»?

Хотя в языке МОЕЙ Украины этого ничего нет. Это есть в языке и истории новой «суверенной и независимой» Украины, в которой нет меня. Равно как и суверенитета ее, одного из признаков государства, тоже нет.

Для тех, кто не знает, уточню, что суверенитет, в переводе с французского, означает независимое от каких-либо внешних сил верховенство государственной власти во внешних и внутренних делах.

Как и тысячу лет назад, когда земля славян лежала в распрях и порядка в ней не было, призвали они варягов, чтобы последние пришли и правили, так и сейчас, расписавшись в своей несостоятельности государствоустроителей, украинцы призвали в национальное правительство «варягов» из числа литовцев, грузин, американцев, евреев. Все эти коммивояжеры из стран старого мира сейчас «руководят», а точнее, кукловодят в Украине. Любое национальное правительство, как я полагаю, состоит из национального большинства, потому так и называется. И отстаивает интересы своей страны.

Я спрашиваю себя: какие и чьи национальные интересы может отстаивать такое правительство? Хотя все они, как и ранее, громче всех кричат о патриотизме и приверженности национальной идее.

Хотя в одном права современная Украина — она независима. Независима от самой себя, от своей истории, от своей памяти, от своего народа и от нормальной жизни. День ее Независимости — самый циничный и абсурдный «праздник».

Письмо В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу от 14 июня 1927 года

«На Украине украинскими националистами самостийниками являются евреи, имеющие там огромное значение...»

Особенно сейчас, когда в МОЕЙ Украине хаос и она напоминает сумасшедшего, псевдогосударствоустроители, как никогда, кричат о сильном европейском государстве, основанном на праве закона. Мне хочется спросить у национал-крикунов: «Где это государство и есть ли оно вообще? И было ли оно построено за двадцать четыре года “независимости”»?

В юридическом терминологическом словаре есть четкое определение термина «государство»: *«Государство — публичная и легитимно устанавливаемая властная сила общества, действующая в определенных правовых рамках и оказывающая регулирующее воздействие на все сферы жизнедеятельности населения».*

Я спрашиваю себя: если территориально страна — это географическая область, с которой связана нация, а нация является субъектом права на политическое самоопределение, то почему государство пресекает даже самую слабую возможность любого из этносов на ее территории на самоопределение, отдавая приказ на уничтожение любого инакомыслящего и цинично нарушая его права?

Я спрашиваю себя: почему «государство Украина» не обеспечивает свободное совместное политическое, экономическое и духовное бытие людей, призывая ненавидеть одних и любить других по языковому, религиозному и территориальному признаку?

Я спрашиваю себя: если сейчас власть совершает произвол и насилие над своим же народом, может ли оно называться государством?

Иван Франко. «Дещо про себе самого», 1897 год

«Не люблю украинцев... Так мало между ними нашел характеров, а так много мелочности, тесной заскорузлости, двуличия и гордыни, что действительно не знаю, за что должен я их любить... Может, должен любить Украину как расу, ту расу отяжелевшую, разнузданную, сентиментальную, лишенную закалки и силы воли, так мало способную к политической жизни на собственном мусорнике, такую плодовитую на оборотней самого разнородного сорта...»

А. П. Чехов. Из письма к А. Н. Плещееву, 9 октября 1888 года, Москва

«Украйнофильство Линтваревых — это любовь к теплу, к костюму, к языку, к родной земле. Оно симпатично и трогательно. Я же имел в виду тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки».

С момента обретения Украиной так долго вожделенной «независимости» она приобрела и свой национальный гимн.

Опять же, тут стоит пояснить, что в переводе с греческого гимн — это «торжественная песня, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-либо».

Ни для кого не секрет, что современный украинский гимн — это калька с польского. Я спрашиваю себя: почему гимн страны призывает к борьбе и желает смерти врагам, а не восхваляет ее триумфальное существование, заслуги и славные страницы истории ее? И почему этот символ государственности не объединяет нацию в едином порыве его исполнения, а в лучшем случае заставляет шевелить губами некоторых сознательных персонажей в минуты его насильственного прослушивания по утрам и в торжественные моменты?

Я спрашиваю себя: если в гимне Украины отображены национальные символы, то тогда борьба, а за ней и все вытекающие последствия, и есть национальная идея и смысл? Тогда я вынужден повториться, это не МОЯ Украина, не мои смыслы и не мои идеи. От такого гимна пахнет могильной ямой и кликушеством.

Гимны МОЕЙ Украины — это зимние щедривки и рождественские колядки. Это детские колыбельные и купальские песни на льющемся малоросском языке. На языке, который впитал в себя все лучшее, что было на этой земле. В этих старых народных, а не политических мантрах — настоящие смыслы и идеи нации.

Современная Украина — парадоксальная страна. Всеми потугами рвущаяся на Запад и стремящаяся надеть европейское платье, в то же время, при удобном малейшем случае, пялит на себя шаровары с жупанами и галопом с оселедцем мчит к своему «славному» гетманскому прошлому. И прошлым этим она безусловно гордится. Потому как это был более или менее государственный период в ее истории, не считая двадцатого века. И все! Невозможно влить новое вино в старые меха. Как невозможно напялить европейский костюм, не обрив оселедца на полулысой голове своей и не сняв широких турецких шаровар, втиснуться с большим пузом от галушек в слаженно скроенные модные европейские панталоны. Мода там нынче не та.

Раз за разом нам твердят, что мы «наследники» запорожских козаков и мы «козацкая страна». Что касается Украины, то как и Россия, вернувшая себе свой исторический флаг, она, как наследница «страны козаков», должна была бы взять флаги козацкой старшины или полков ее, пускай самых выдающихся. Задумайтесь хотя бы на миг: откуда в козацкой стране взялся сине-желтый стяг с трезубом, когда у козаков флаги были малиновые с изображением Богоматери, крестов и полумесяцев?

Современный желто-синий флаг был выдан галицким русинам, австро-венгерским подданным, с подачи некоего австрийского гражданина Стадиона Франца фон Вартгаузена, так сказать, для повышения у них уровня самоидентификации. Но опять-таки, мало кто знает, что подобные флаги без труда можно найти в разных немецких землях, например Нижней Австрии или Герцогстве Брауншвейг.

Я спрашиваю себя: почему флаг народности, которая по сути ничем не прославилась, ничего фундаментального не создала, сделали флагом всей страны, за какие заслуги?

Как он может объединить жителей Слобожанщины, Полтавщины, Черниговщины и Буковины, Волыни, Закарпатья, если все они разные, начиная от языка, цвета национального костюма, менталитета и культуры?

«История Украины», как и сама Украина, оказалась иррациональна по своей сути. Возможно, кому-то, кто прочтет это небольшое повествование, покажется, что оно от начала и до конца пронизано русофильством и ненавистью к независимой Украине. Спешу разуверить!

Мне как человеку, родившемуся в Советском Союзе и видевшему благодатной, доброй и радостной МОЮ Украину, проживающему теперь в «независимой Украине» и наблюдавшему все этапы «становления» этой страны, обидно и больно видеть то, что сделали с моим краем — Малороссией и моей малой родиной — Черниговщиной. И я, естественно, как и любой нормальный и здравомыслящий человек, обращаю свой взор туда, где, как говорят, «восходит солнце».

Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя», 1877 год

«Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать

...По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, — не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!

И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что все точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, — у них характер в этом смысле как у всех, — а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут.

Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, "имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени".

Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению.

Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился наконец принять портфель президента совета министров.

России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества.

Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство...»

Мне обидно, что народ, населяющий ее, как телка́ на привязи, ведут на убой — социальный, экономический, политический, человеческий, и он, как мне казалось, мудрый и рассудительный, никогда не поверит лживым и заведомо невыполнимым обещаниям о вселенском благе. Мне обидно, что к власти пришли уголовники, фашисты и те, кто страну и ее народ ненавидит, не любит и уничтожает всеми доступными способами и при этом цинично клянется в самой что ни на есть преданности букве закона, общечеловеческим ценностям, национальным интересам и равноправию граждан, населяющих эту страну. Иначе по-другому я не берусь объяснить все то безумие, которое сейчас происходит.

Сомерсет Моэм. «Лезвие перочинного ножа»

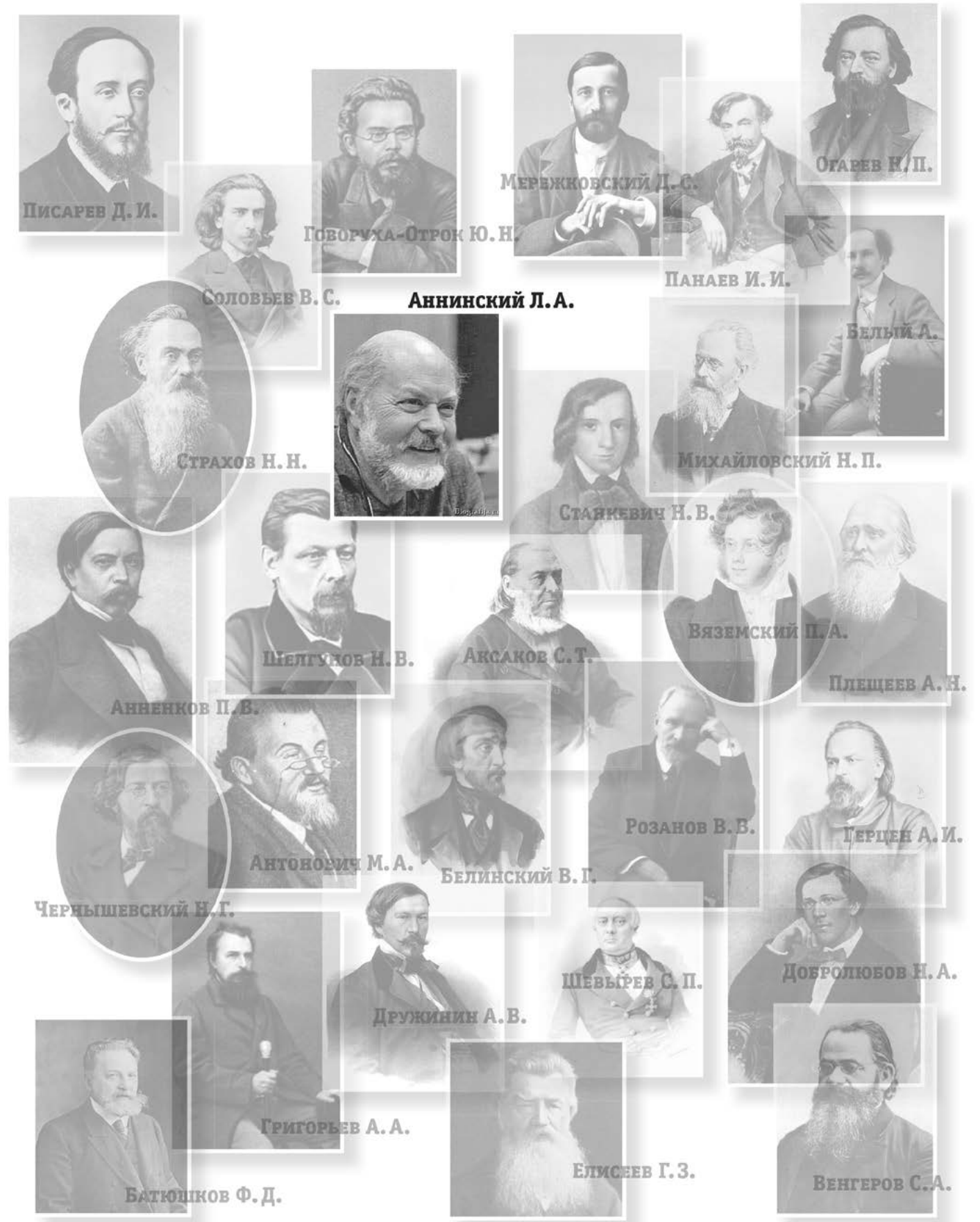
«Очень трудно узнать других людей, и по-настоящему человек может понять только того, кто родился с ним в одной стране.

Человек — это не только он сам, это его дом, в котором он учился ходить, город, в котором он жил, игры, в которые играл, сказки, которые ему рассказывали, еда, которую он ел, школа, в которой учился, вид спорта, которым занимался, поэты, стихи которых читал, и Б-г, в которого верил. Все это сформировало его, все это нельзя услышать и понять, это можно только пережить. Человека можно понять, только если он — это ты сам».

Беда Украины в том, что она находится в Украине, и МОЮ Малороссию, МОЮ Украину нужно спасать от Украины новой «самостийной». В МОЕЙ Украине, к сожалению, МОИХ украинцев осталось очень и очень мало.

Чернигов, 15–26 июня 2015 года

Страницы Льва Аннинского



Ой, не могу!

За полвека до официального открытия университетского театра МОСТ я поступил на филфак и успел его окончить. Театра вроде бы не было, но предчувствие было! Был кружок Оленина, привлекавший студентов еще и получше профессиональных занятий. Моя невеста (будущая жена) не пропускала репетиций. Кружковцы на общеуниверситетских мероприятиях читали со сцены Чехова и Горького... Один впоследствии прославился как автор радиопрограммы о детях и взлетел аж до Америки, где и скончался тихо вне сцены... Не буду тревожить его имени...

Театр же под бессменным руководством Евгения Славутина выработал свой неповторимый стиль. Какой?

А вот:

«Прислонившись носом к стенке, в темноте едва видны, спят брюнетки и шатенки, Спят евреи и слоны.

Свет на землю серебристый тихо льется с высоты, спят дантисты и артисты, рэкетиры и менты.

Сквозь волнистые туманы продирается луна, Спят бомжи и наркоманы, Лишь путанам не до сна...»

Все тут! Но путан мало. Зато интеллектуальной хватки — с избытком. И лингвистического блеска. Сильнее английского, французского и японского в этом «Кабаре» (навеянном «Патриаршими прудами») — немецкий. Или это война никак не уходит из памяти: едва обнаруживается на сцене прусский аккуратист, я прижимаю уши: вдруг он в шутку скомандует: «Хенде хох»... Как будем примиряться?

И тут появляется великий философ и на языке Гете и Шиллера объясняет нам, что такое Категорический Императив!

Попадание — в десятку! Если от неиссякаемого юмора кто-то почувствует праздничное изнеможение, пусть скажет это по-английски...

Как-как?

— Ай кан-т! — подскажут из зала студенты.

А со сцены удостоверят:

— Тебе же сказано: КАНТ!

Снимаю шляпу перед университетским шармом МОСТа. Это же настоящий Мост в будущее.

Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год, в № 1–12 за 2014 год, в № 1–12 за 2015 год, в № 1–12 за 2016 год, в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за 2017 год

Полтысячи страниц и восемь строк

Полтысячи страниц — это книга Семена Экштута «Красные когти судьбы». Подзаголовок: «Иннокентий Анненский в коридоре эпохи».

Об этом моем почти однофамильце архивисты и историки накопили увесистые тома. Я читал далеко не все, но из того, что я читал, исследование Экштута кажется мне самым интересным. И по современному ощущению темы. И по обращению с материалом, которое, я думаю, характерно для нынешнего литературоведения.

Родословие Иннокентия Анненского детально прослеживается с его предков — с эпохи, когда страна, проигравшая Крымскую войну, избавилась от крепостного права и устремилась «к торжествующему царству Ваала». Материал огромен. Тема актуальна. Какой характер вырабатывается у главного героя книги? И как этот характер должен вписаться в «коридор эпохи»? Скрупулезнейший анализ судьбы не только поэта, но и его близких (среди которых старший брат Николай избрал путь «нигилистического отрицания всех основ» и в этом качестве обрел куда большую известность, чем младший стихотворец).

Младший стихотворец в развернувшемся противостоянии «классиков» и «реалистов» делается убежденным сторонником первых. То есть твердо стоит на том, что студенты обязательно должны изучать латынь и древнегреческий. Есть надежда, что это послужит для молодых интеллектуалов противодействием материализму, нигилизму и прочим соблазнам потрясовательной эпохи.

Увы, не получилось. Экштут это объясняет, я бы сказал, драматургично. Не то что страна не нуждалась в работниках («реалистах»), еще как нуждалась, и работы было полно, однако, отлынивая от предметных занятий, студенты предпочитали слушать тех профессоров, которые им нравились. А что нравилось? «Это был век толстых журналов, эпоха воинственного и торжествующего дилетантизма», и молодые люди, не приспособленные к труду, имели свободу «искать исхода вне закона»... то есть раздувать огонь революции. В которой и суждено им самим было сгореть.

Иннокентий Анненский вежливо, но твердо отстраняется от этой вольницы. Суть его характера, пишет Экштут, — «феноменальная неслиянность со средой».

Это расхождение убедительно прослеживается в книге Экштута. Рок судит поэту разрыв с литературой, устремившейся в распад и разгул революционной эпохи. И поэт избирает верность Року.

Я вчитываюсь в стихотворение, которое знаменует (во всяком случае для меня) этот разрыв.

Стихотворение предсмертное; написано в апреле 1909 года, в декабре поэта схоронят. Восемь строк:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

«Не надо света?!.»

Читаешь и поражаешься: все слова вроде бы ожидаемые, а ощущение такое, что мир пересоздается начисто. Только одна строка (где «я томлюсь с другими») на миг взглядывает из таинственной глубины в общепонятное «томление»... но тем загадочнее глубина.

Непобедима глубина личного достоинства, и она неподвластна внешним силам, если эти силы мерцают общеобязательным для всех светом. Такой «свет» запросто опускает людей до элементарного ликбеза, равняет их без разбора, награждает счастливым самоослеплением. Если так, то лучше без света! С глубинной верой — без слепящего выравнивания. С верностью своему жребию, своему предназначению, своей судьбе — без всякой общеобязательной подсветки.

Верность эта — завет, который оставил нам поэт Иннокентий Анненский.

Продолжение следует.

Иван ГОБЗЕВ

Окончание. Начало в № 5, 6, 7, 8 за 2017 год

Зачем учить математику

Повесть

Рисунки Марины Медведевой

ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЖОПА

ОБЖ вел подполковник в отставке Андрей Степанович Громов, невеселый и строгий мужчина. Он никогда не улыбался, не шутил, и казалось, что ничего ему неинтересно. Поэтому занятия у него были особенно тягостны. Все чувствовали, что он проводит их просто из-за необходимости, потому что это его работа и нет другого выхода.

— Раньше он был совсем другой, — сказал как-то Титяев. — Такой бодрячок, типичный военный.

— А ты откуда знаешь? — не поверил Тихонов.

— Мама рассказывала. Говорит, в какой-то момент вдруг резко изменился...

Сегодня Андрей Степанович придумал настоящее наказание — научиться разбираться в тактических картах. Он раздал их всем и стал рассказывать, что с ними делать. Только он один в школе умел так уныло и бесцветно говорить — уже через минуту половина класса потеряла нить его рассуждений.

Тихонов, как и всегда, когда на уроке начиналось что-то скучное, сразу переключался на другие дела. Но сейчас вдохновения не было, и он уставился в окно. Небо сегодня как будто вобрало в себя всю серость мира и сгустилось низко над городом, навалившись целлюлитным животом на крыши. В такую погоду хочется не изучать тактические карты, а сидеть на уютной террасе где-нибудь за городом, пить горячий чай и смотреть на мокнущий сад.

— Да, парни, — прошептал Тихонов, отворачиваясь от окна. — Я понял, как переводится ОБЖ... Очень Большая Жопа.

Он не заметил, что подполковник Громов, который прогуливался по рядам, как раз в этот момент стоял за его спиной.

— Тихонов, встать!

Тихонов вскочил, не успев понять, что происходит.

— Вышел вон из класса! Вернешься с директором!

Вот она, военная выучка, — он так четко и уверенно отдавал приказы, что не послушаться было невозможно.

Тихонов, сделав на всякий случай презрительное выражение лица — чтобы не так позорно было, — быстро собрал свои вещи и вышел.

В коридоре он сел на стул рядом с раздевалкой.

«Неприятная ситуация, — подумал он. — Что теперь делать? Как это я вернусь с директором?» Он не мог себе представить, чтобы вот так вот зайти к Юлии Федоровне и сказать ей, что учитель ждет его вместе с ней обратно в класс. Она, конечно, поинтересуется, с какой это стати. Понимаете, скажет тогда он, я перевел ОБЖ как «Очень

Большая Жопа». Эка невидаль, поморщится она. Ты же человек творческий. Пошел вон.

Бывают в жизни школьника такие неприятные ситуации, когда сильно налажаешь и не знаешь, как быть.

Он думал уже идти домой, как из класса вышел Андрей Степанович. Тихонов собрался встать и объясниться, но тот, не замечая его, прошел мимо навстречу женщине, ждущей его выхода. Странно она выглядела! Вся в платках, шарфах, в огромной меховой шапке. Глаза бегают, взгляд беспокойный.

— Ты что пришла? — спросил Андрей Степанович, беря ее за руки.

— Ой, Андрюшенька, мне так страшно стало! Я не могу найти майонез. Ну куда он мог пропасть? — ответила она, испуганно глядя ему в глаза.

— В холодильнике искала?

— Да! Его там нет, — трагическим тоном ответила она.

— Не волнуйся, — ласково сказал Андрей Степанович и обнял ее за плечи. — Иди домой! У меня еще урок, а закончу и приду.

— Я боюсь холодильника! Я не могу!

— А давай тогда так, — предложил он, — ты меня здесь подожди, хорошо? Посиди вот тут, а я скоро уже. Только не уходи никуда.

Он ее усадил, поцеловал в щеку и пошел обратно. Тут только он заметил Тихонова.

— Нехорошо это, Алексей. Нехорошо! — спокойно сказал он ему. — Больше так не делайте.

— Извините, — пробормотал Тихонов.

Он поднялся, чтобы уходить.

— Алеша! — позвала его женщина.

— Что? — он обернулся к ней.

— Андрюшенька у меня такой халесий!

— Гм... Да, — согласился он. — Хороший.

ЭКЗАМЕНЫ

Зачем нужны экзамены? Тем более внутренние, когда и так надо будет сдавать ГИА? Сумасшедшая школа... Тихонов недоумевал. Экзамены — это такая вещь, которая может испортить самое прекрасное настроение. И проходят они обычно в неподходящее время — весной, когда вот-вот начнется лето, когда весь мир поворачивается наконец к тебе лицом!

И сразу — весна не весна. Если ты понимаешь, что в ближайшую неделю у тебя полоса экзаменов, тебя ничто не радует. Ни свежие бодрящие запахи, ни ветер, ни обещание новой жизни — ты ничего этого просто не замечаешь. Предчувствие экзаменов поглощает все. Это как чума

в Средневековье: какие уж тут радости, всему конец.

И вот тут легко было совершить большую ошибку. Дело в том, что во время экзамена Тихонов часто очень волновался, до того, что иногда начинались тики. Поэтому он мечтал лишь об одном — чтобы все поскорее закончилось. Пускай ему поставят тройку или даже двойку. Торопясь выбраться из этого состояния, он быстро и кое-как отвечал, получал плохую оценку и уходил. Но вместо ожидаемого удовлетворения испытывал глубочайшее разочарование. Но почему? Почему он разочаровывался? Он же хотел побыстрее отделаться, так и получалось.

— Я, кажется, догадываюсь, в чем дело, — многозначительно сказала бабушка Денисова в ответ на его откровения.

— Ну и? Не тяни! — поторопил ее Денисов.

Она отрезала кусок торта, откусила и положила на блюдечко.

— Это как жизнь прожить. Бывает, надоедает все. Сложно становится, трудно справиться, все наваливается. Болезни, проблемы. И ты думаешь: вот бы побыстрее все закончилось. Устала я от жизни. Пролетела бы она легко и без страданий.

— Ты думаешь о таком?! — повысил голос Денисов.

— Данила, не волнуйся, это я так, для примера. И вот, представим, наступил тот самый долгожданный конец. Ты лежишь на койке при смерти. Все получилось, как ты и хотел — жизнь прошла быстро и просто, тяжко бороться и ничего преодолевать не пришлось. Будешь ли ты счастлив в этот самый момент подведения итогов?

— Нет, наверное, — сказал Тихонов.

— Вот и мне так кажется. Потому что ты даже и не жил, а уже пора умирать. Как ни банально это звучит, жизнь — это борьба, и в этом ее смысл.

— Баб, я не поверю, что тебе сложно жить! Денег куча, мужчин было тоже, ты вообще женщина-вамп. Ты и сейчас выглядишь лучше, чем некоторые наши молодые училки, хотя и старая.

Она захохотала.

— Спасибо тебе за комплименты. Но на всякий случай учти: никогда не говори женщине, что она старая и что мужчины в прошлом, даже если ей за сто. Считай, что это одно из полезных правил, как прожить жизнь, чтобы не было потом жаль.

ДЕРЖИ СЕБЯ В РУКАХ

В парке можно найти немало ровных участков земли, подходящих для игры в ножички. Но Тихонов с друзьями выбирали всегда одно и то же место между тремя тополями. Земля здесь была плотно утоптана в результате многих и многих партий. Тихонов любил ножички, хотя редкие девятиклассники играют. Но он вообще с азартом, до самозабвения, отдавался всяким таким играм.

Нож для игры приносил Серегин. Он быстро начертил достаточно большой круг и поделил его на число игроков. После этого скинулись в камень-ножницы-бумага и стали кидать нож в землю. Если он втыкался, то кинувший отсекал землю в свою пользу в том направлении, в каком расположилось лезвие. Игроков было четверо: Тихонов, Серегин и Бубнов с Батоновым.

Играли долго и ожесточенно, с переменным успехом. В конце концов Тихонову удалось забрать территории Бубнова и Батонова. Остался Серегин. С ним было сложнее. Круг делился то в пользу одного, то в пользу другого. Тихонов очень переживал, ему страшно хотелось выиграть. После каждого удачного броска он вскидывал руки, подпрыгивал, хохотал и кричал:

— Есть! Есть! Ха-ха! Вот это четко! Ну что скажешь, Серый? Съел? Проглотил? А?!

Во время бросков Серегина он в шутку мешал ему, похлопывал по спине, говорил под руку.

— Косой, косой, косой! — бормотал он в ухо, пока тот прицеливался. — Мимо, мимо, мимо!

И когда Серегин промазывал, Тихонов ликовал:

— А, Серый, ну что я говорил! Ееееееес! Уааааааа! Хо-хо!

На лавочке неподалеку сидела пожилая пора.

Мужчина строго сказал ему:

— Слышь, молодой человек, парни в твоем возрасте уже с девчонками гуляют, а ты визжишь, как пятилетний.

— Он просто бесноватый, — женщина перекрестилась. — К батюшке ему надо.

В итоге Серегин выиграл.

— Знаешь, Тихон, только без обид, — сказал он, когда они после игры собирались по домам. — Мне кажется, ты немного сумасшедший.

— Да уж какие тут обиды... — хмуро кивнул Тихонов.

Домой он возвращался в самом мрачном настроении, думая о том, что надо научиться держать себя в руках.

ДЕНИСОВ УЕЗЖАЕТ

— Тихон, надо поговорить! — Денисов наклонился к нему.

Надежда Павловна вещала что-то про особо коварные правила русского языка.

— Ладно, Дэн, давай. Но я удивляюсь, почему на уроке?

— Короче... Я говорил со своей психологичкой.

— Дэн, — прервал его Тихонов, — если ты про то, что я должен опять куда-то идти ее ловить, то забудь.

— Да нет... Я это... Я признался ей в любви на последнем сеансе.

— Да ты охренел! — воскликнул Тихонов.

— Молодые люди! — повысила голос Надежда Павловна. — Я вам не мешаю? Извините, если что!

— Простите, Надежда Павловна, — сказал Тихонов. — Я случайно.

— Если я правильно понял, — вставил Титяев, который сидел позади Денисова и Тихонова, — Денисов сказал, что влюбился в вас.

— Да нет же, дурак! — Денисов густо покраснел.

— А что здесь такого, — улыбнулась Надежда Павловна. — Почему в меня нельзя влюбиться? Я вполне еще ничего!

Все засмеялись.

Дождавшись, пока урок вернется в свое русло, Тихонов шепнул:

— Дэн, наверняка она тебя послала.

— Ты прав. Сказала про разницу в возрасте и все такое... У нас, типа, рабочие отношения... И у нее есть молодой человек.

— М-да. Это же все и так было ясно с самого начала. Зачем вообще это затеял?

— Понимаешь, Тихон, я хочу стать мужчиной...

— Ха! А кто не хочет...

— Я не про это. Я про то, что надо делать то, что ты хочешь делать. Пускай даже ты проиграешь. Но если ты ничего не делаешь, у тебя даже не будет шанса выиграть! Так мой отец говорит.

— Толковый у тебя отец, — кивнул Тихонов.

Некоторое время они молчали, каждый пребывая в своих мыслях, фоном для которых служил голос Надежды Павловны. Любопытный навык формируется в школе: ты хорошо слышишь учителя, но не разбираешь ни одного слова в отдельности. Как будто горный ручей шумит. Но это у Надежды Павловны — ручей. У Ирины Александровны — Ниагарский водопад, у Татьяны Юрьевны — шипение змей. У Юлии Федоровны — шепот наложниц в гареме.

— Я не только об этом хотел поговорить, — сказал Денисов. — Я уезжаю. Такие дела.

— Куда уезжаешь?

— В Нью-Йорк. Папа там контракт на год заключил. Ну, на год — это предварительно, а может, и на все три.

— А как же школа?

— Там пойду в школу.

— Молодые люди! Я вижу, вы оба в меня влюблены! — рассердилась Надежда Павловна. — Перемена через десять минут, может, подождете?

— Извините, Надежда Павловна, — сказал Тихонов.

— Я сам не хочу, — прошептал Денисов. — Но что поделать, вся семья едет.

— Ну, Нью-Йорк — это классно! — уныло пробормотал Тихонов.

— Да ничего классного, я уже был там три раза. Такой же мегаполис.

— Когда уезжаешь?

— Сразу после экзаменов.

— Последний звонок хоть вместе отметим?

— Нет, не успею.

Надежда Павловна бросила на них полный возмущения взгляд, но почему-то ничего не сказала.

БИОЛОГИЯ

Вот уж в чем Тихонов был вполне уверен, так это в своем знании биологии. Он не только всегда слушал Евдолину Парисовну, но и вообще интересовался популярной литературой на эту тему. Теперь, когда пришла пора внутреннего экзамена, он ощущал себя на подъеме и уверенно, в отличие от Бубнова, Батонова, Стаханова и прочих бестолочей.

О, это прекрасное чувство собственной полноценности и силы! Под его воздействием все сразу меняется: жалкого закомплексованного троечника оно способно превратить в могучего отличника, гадкого утенка — в лебедя, чудовище — в красавицу...

— Тихон, опять ты загоняешься, — прервал его Денисов. — Красавица и чудовище — два совершенно разных персонажа. Чудовище потом превратилось в нормального мужика, но никак не в красавицу.

— Дэн, да знаю я, но так намного драматичнее!

— Не уверен, мне кажется, ты привносишь лесбийский элемент.

Утро было ясное и тихое. В такое утро кажется, что большая часть города еще погружена в сон и поэтому происходящее не совсем реально — как будто на границе между явью и сновидением. Солнечный свет, падающий в окна, застыл колоннами, время остановилось, и только по-утреннему помятые ученики своими движениями разрушают иллюзию безвременья. Да еще ползущие в лучах пылинки.

Евдолина Парисовна решила проводить экзамен в форме обычного урока. Она стала зада-

вать вопросы по предмету, предоставляя отвечать первым тем, кто тянет руку. После каждого ее вопроса Тихонов тянул руку. Иногда она кивала ему, и он отвечал, всякий раз, как ему казалось, очень хорошо. Не было ни одного вопроса, на который он не смог бы ответить. Она выслушивала его, как и других, молча, потом снова обращалась к классу.

Он отвечал три раза. Больше только Арсеньев и некоторые девочки. Денисову дали слово один раз — но он и поднял руку только однажды.

Одноклассников Тихонов слушал с иронией. Их ответы были банальны, все, что они говорили, было почерпнуто исключительно из учебника. Он же, помимо этого, сообщал еще и новые сведения, которые никто из учеников не знал. Не знала даже, как он подозревал, и учительница. В общем, было ясно, что он отвечает лучше всех, это подтверждалось и реакцией класса.

Показатель успеха — взгляды девочек. Уж когда молодой человек производит впечатление, блистает умом, то девушки, если, конечно, они еще не испорчены, не умеют этого скрыть. Они смотрят прямо и открыто на этого молодого человека, и в глазах их написан живой интерес. Только Гришина глядела в окно, но оно и понятно, не могла же она позволить себе быть для него одной из многих.

Перед самым звонком Евдолина Парисовна заявила, что сейчас же и сообщит оценки. Она стала перечислять учеников по алфавиту. Первый Арсеньев. Пять. Кто бы сомневался! Дальше пошли тройки и очень редкие четверки. И не удивительно, большинство отвечало какую-то чушь, а некоторые вроде Стаханова вовсе молчали, и для них тройка — это подарок.

У Гришиной и Денисова четыре. Тоже заслуженно, спору нет. У Ступаковой пять. Вообще не ясно почему. Она, конечно, отличница, но в данном случае промямлила нечто невнятное. Так, сейчас будет он.

— Тихонов, — сказала Евдолина Парисовна, — три.

Тихонов не поверил своим ушам. В классе послышался удивленный шепот.

— Извините, — громко спросил Тихонов, — вы уверены?

— Я же сказала, — не взглянув на него, ответила она, — три. Молодец, выкрутился на троечку!

И пошла перечислять дальше.

Тихонов сидел совершенно раздавленный, не понимая, как такое могло произойти. И эта возмутительная фраза про «выкрутился на троечку»?..

Он покидал класс в самом черном настроении.

— Тихонов! — К нему подошел Титяев. Он дружелюбно улыбался.

— Чего тебе, Титяй? — хмуро буркнул Тихонов.

— Не расстраивайся. Во-первых, Евдолина Парисовна плохо слышит, и я уверен, она почти ничего не поняла из того, что ты говорил. Так что все ответы для нее одинаковые!

— А во-вторых?

— А во-вторых, тебя вся школа считает последним раздолбаем. Никто же не верит, что ты способен на большее.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Надежда Павловна задала на дом сочинение и сказала, что оценка за него и будет итоговой. С русским дело обстояло сложнее, итог складывался из результатов всех четвертей.

— Дорогие ребята! — сказала она в начале урока. — Я хочу поздравить вас с окончанием учебного года и началом весны! Нам было непросто, нам было тяжело, мы пережили зиму, но вот теперь — выгляните только в окно!

Тихонов вместе с другими выглянул. Да, в самом деле пришла весна, а точнее, даже лето — до того все стало ярким и зеленым.

— Странная она, — шепнул Денисов. — «Мы пережили зиму». Как будто в блокадном Ленинграде.

— Да. Поэтичная натура, — кивнул Тихонов.

— А по-моему, она просто дура, — пробормотал Серегин.

Надежда Павловна молча глядела в окно. Минуту, две, три. Глаза увлажнились, грудь высоко вздымалась, как будто ею овладело сильное волнение. Наконец она глубоко вздохнула и чуть печально улыбнулась ученикам.

— Всегда приходит весна! Точно так же, как и всегда восходит солнце!

— Надежда Павловна, — сказал Серегин, — может, вы уже сообщите нам оценки? А то мы все волнуемся... Знаете, с двойбанами и весна не в радость...

Надежда Павловна взяла с парты кипу тетрадей и стала называть оценки, возвращая каждому его сочинение. Троек было мало: как обычно, у Стаханова, Рыбенко, Серегина и Бубнова с Батоновым. У остальных четверки, и только у Арсеньева и некоторых девочек — пять. Тихонов назван не был.

— Надежда Павловна, — поднял он руку, — а мое сочинение? Я же сдавал...

Надежда Павловна растерялась. Она посмотрела на свой стол, заглянула в сумку, но сочинения нигде не было.

— Кажется, дома забыла... — честно призналась она. — Извини, похоже, оно так и останется на лето у меня. Но тебе, конечно же, пять! Зато летом я смогу читать его подругам, сидя на жаркой веранде с белым вином!

— И отгонять им мух, — тихо добавил Массажин.

Тихонов понял, что его сочинение она, видимо, вообще не читала. Но ладно, пять так пять.

По русскому дела обстояли хуже. Три.

После окончания урока он, дождавшись, когда другие ученики уйдут, подошел к ней. Она сидела за своим столом, серьезная и погруженная в дела, весь весенний романтизм из нее как будто улетучился.

— Надежда Павловна, — робко обратился он.

— Да, Леша? — Она подняла голову.

— Надежда Павловна, а тройку по русскому никак нельзя исправить?

Она полистала журнал и твердо сказала:

— Алексей, если честно, у тебя выходит два. Половину диктантов ты не написал, домашнюю работу не делал, в классе бездельничал. Я уж на три-то натянула только из-за уважения к твоим литературным талантам!

— Ясно, — вздохнул Тихонов. — Жаль!

И поплелся к выходу.

ФИЗИКА

— Алексей, ты, похоже, вообще ничего по физике не знаешь, — с улыбкой развела руками Анна Александровна. — Думаешь, я не в курсе, что ты все контрольные либо у Василькова, либо у Денисова списал?

— Анна Санна, так физика ж, — он потер лоб, — сложная вещь...

— Ну скажи мне, чего сложного в законах движения Ньютона?

— Если бы он их знал, — усмехнулся Арсеньев.

— Что же мне тебе ставить?

Тихонов нахмурился и опустил голову.

— А ведь ты умный парень! Ну чего тебе стоило взять и выучить все к экзамену? Да я бы тебе с радостью пять за год поставила! Скажи честно, ведь знал же, что надо готовиться?

— Эх, Анна Санна, знал...

— Ну а что не готовился?

— Лень, Анна Санна.

— Благодарю за честность! — удивилась она. — Мне еще никто так не признавался.

Из окна веяло теплом, по подоконнику ползла отогретая майским солнцем букашка. Наверное, подумал Тихонов, для нее этот подоконник — как пустыня Сахара. Вон и трещины на нем — провалы, вон чего-то вздулось — так это дюны. А горшок с цветком — оазис. Но мелкая не знает, куда надо, ползет не в ту сторону.

— Скажи, Леша, тебе в физике хоть что-то интересно?

— Да, — ответил он. — Прочитал недавно про циклическую модель Вселенной.

— Очень любопытно! И о чем же там?

— Ну... — Тихонов задумчиво посмотрел вдаль. — Там такая идея, что рано или поздно все в мире распадется на элементарные частицы, и ничего, кроме них, в пространстве не будет. Как бы газ, равномерно заполняющий сосуд. Ничего не будет больше во Вселенной, ни людей, ни деревьев, ни планет, ни звезд. Только частицы.

— Это верно, — кивнула Анна Александровна. — Второй закон термодинамики: энтропия всегда возрастает. Вероятно, так и будет. Но при чем же здесь циклическая модель?

— А вот при чем, — Тихонов приободрился. — Один математик доказал, что по прошествии бесконечного времени из такого состояния зарождается новая Вселенная. И будут в ней снова планеты, дома, люди... То есть суть в том, что в его модели конец и начало Вселенной неразличимы. Это значит, что конец — это начало. Понимаете?

— Интересно! — ответила Анна Александровна. — Только вот идея о бесконечном времени мне кажется несколько странной. Хотя в математике и не такое может быть!

— Я тоже читал об этом, — вдруг вставил Арсеньев. — Этого математика зовут Роджер Пенроуз.

— Ладно, — махнула рукой Анна Александровна и засмеялась, — за эту четверть я ставлю тебе пять. Уж шибко ты умный! Но за год все равно три.

Увидев, как он огорчился, она объяснила:

— Сам посчитай: три плюс три плюс три плюс пять делим на четыре. Что будет?

Тихонов вместо ответа угрюмо кивнул.

— Давай иди, — добродушно сказала она. — И хватит валять дурака. Еще два класса впереди, надо будет поступать куда-нибудь.

СОПЕРНИК

Неделю Тихонов не ходил в школу, выжидая, когда раны затянутся. Точнее, пока синяк под глазом из лилового превратится в черный, потом в желтый и в итоге растает. Фингал

ужасная вещь — все всегда сразу интересуются: это кто его так? Это его Стаханов! И даже если ты вышел из боя победителем, из-за фингала кажется, что чуть-чуть ты все-таки проиграл.

За время таких вот каникул совершенно отвыкаешь от школы. Через несколько дней отдыха она начинает казаться чем-то далеким и противоестественным. «Как? — недоумевал Тихонов, лежа на диване с геймпадом. — Как можно ходить в школу? Почему свободный человек с нежных детских лет должен каждый день являться в это странное учреждение и просиживать там часами, выслушивая нечто совершенно чуждое человеческой природе? Как мир докатился до этого? Как к этому пришла наша цивилизация?

А что будет дальше? Ради чего это? — И Тихонов окинул мысленным взором множество знакомых взрослых. — Дальше вообще беда, — ответил он сам себе, — работа до самой смерти. Каждое утро встал, на работу, вечером полумертвый с нее приполз. В пятницу вечером напился, в субботу и воскресенье плохо, в понедельник снова на работу. А что на работе? Сидишь, как зомби, у монитора, водишь мышкой по столу, глаза красные. Если бы не эта мышка, то можно было бы подумать, что офисный работник мертв. Да и в остальное время он похож на ходячего мертвеца — пока едет на работу и обратно. В машине ли, в метро или на улице — о, эти окаменевшие лица, пустые взоры, обращенные в никуда, усталые спины потерпевших поражение в самом главном сражении — сражении за свою жизнь!»

— Знаешь, Дэн, — как-то сказал Денисову Тихонов, делясь своими сомнениями, когда тот в пришел в гости с новой видеоигрой, — знаешь, что я понял, читая Гомера? Каждый должен выполнять свое предназначение. До самого конца. Воин должен погибнуть на войне, моряк в море, актер умереть на сцене. Нельзя переставать быть тем, кто ты есть.

— Это ты к чему? Ученик должен умереть в школе?

— Да нет, не к этому... — Тихонов и сам не совсем понимал, к чему. — Просто понимаешь, — подумав, продолжил он, — в современном мире люди потеряли смысл жизни. Вместо того чтобы быть кем-то, они вынуждены быть никем... Кстати, как там в школе-то дела?

— Да так, норм. Все улеглось. А, смешная история случилась...

— Какая?

— Вчера старшеклассников после уроков в актовом зале собрали, рассказывали про экзамены. А потом вдруг завуч вышла...

— Это Маргарита Петровна наша?

— Ну а кто у нас завуч? Она.

— Ну и?

— Она выходит, как обычно мрачная такая, и говорит: «Мы знаем, кто это сделал! Этот негодяй, предатель будет сурово наказан!»

— А что сделал-то? — с усмешкой спросил Тихонов, чувствуя, что где-то под сердцем поднимается тревога.

— Мы тоже не сразу поняли. Но потом она объяснила наконец, когда дошло до нее, что никто не догоняет: кто-то на откосе окна у кабинета директора слово нехорошее написал. Мы, конечно, сразу решили, что сам знаешь какое слово, и только она нас отпустила, бросились смотреть, давка была, как на похоронах, чуть Громову не раздавили. А там всего-то: «СУКА». Но добротно так, глубоко, во весь откос!

— Да, дела... — тоскливо отозвался Тихонов. — Так кто написал-то, известно?

— Нет, не сказала. Только что предатель будет наказан!

— А почему предатель-то?

— Да хрен ее знает. Ты же знаешь этих училок старых, у них с годами мозги переклинивает.

— Ну да, ну да...

— Ладно, мне пора! — Денисов поднялся. — Родаки надумали на дачу ехать, представляешь, какое западло? Мне-то что там делать? Нет, говорят, дело семейное, мы все вместе должны отдыхать. А я эту дачу ненавижу. Опять заставят что-то делать.

— Понимаю! Гады, — согласился Тихонов. — Ладно, давай. Держи меня в курсе.

— Тебе везет, тебя родаки не трогают.

Когда Денисов уже вышел на лестничную клетку, Тихонов не удержался и спросил:

— Ну а как там девчонки? Петрова, Ступакова...

Денисов пристально посмотрел на него и вздохнул.

— Титяев в Гришину, по ходу, втюрился. Ходит все с ней.

— А мне какое дело? — взорвался Тихонов. — Что ты мне сразу про Гришину?

— Да так, ничего, сам спросил...

И, махнув рукой, Денисов побежал вниз по лестнице, ловко прыгая сразу через три ступеньки.

ИСПРАВИТЬ ДВОЙКУ

За неделю до экзамена по математике Тихонов выяснил, что у него выходит итоговая двойка. Ирина Александровна славилась своей непреклонностью, если она сказала, что два,

значит, два. Ни жалости, ни сочувствия она не испытывала и на двоечников смотрела как на мелких преступников, хитрых и изворотливых, с которыми не надо церемониться.

Тем не менее Тихонов после урока подошел к ней и спросил, может ли он как-то исправить ситуацию. Ему было, конечно, страшно к ней подходить, но что делать: двойка в году — это вообще не вариант.

— Ирина Александровна, — сказал он, потупившись, — это...

Она положила ручку на журнал и подняла на него голову. Даже сидящей она казалась величиной с гору, и хотя сейчас она была ниже Тихонова, он все равно ощущал себя рядом с ней как альпинист под Эверестом. Да, чем-то она напоминала гору — тот же покой, невозмутимость, величие... Но и угроза.

А в глазах ее читалось что-то совсем потустороннее. Серые, как сталь, с точками-зрачками. Что таилось за этими зрачками, в черной бездне, которая открывалась в них? Тихонову чудилось там бескрайнее космическое пространство с редкими огнями необитаемых галактик. В них не было жизни, только неумолимые и холодные законы природы.

И все же, как ни странно, было в ней и нечто человеческое. Например, у нее был нос, щеки с отчетливыми порами, тонкие поджатые губы, морщины и складки на шее. Это казалось Тихонову невероятным — по идее, Ирина Александровна должна была выглядеть как параллелепипед или ехиднаэдр.

— Что ты хочешь, Алексей? — спросила Ирина Александровна.

— Я? — сделал удивленное лицо Тихонов.

— Ну не я же! Ты зачем-то подошел ко мне!

— Я это... Ирина Александровна, а можно как-то исправить двойку в году?

— Странно, почему ты об этом только сейчас вспомнил! У тебя был целый год! И ты хочешь все исправить за неделю?

Тихонов молча пожал плечами.

— Ну хорошо, — сказала она. — Приходи в следующий понедельник. Но знай — я буду спрашивать тебя по всему предмету.

— Спасибо, Ирина Александровна! — обрадовался Тихонов.

— За что? — недружелюбно спросила она. — Ты уверен, что сможешь выучить за это время весь учебник?

— Да, я постараюсь!

— Ладно. Желаю успехов! — И Ирина Александровна вернулась к записям в журнале.

МАТЕМАТИКА

Тихонов подготовился. Всю неделю он провел за учебником, заучивая определения и решая задачи. И в назначенный день был готов на сто процентов. Но он не чувствовал себя уверенно. Потому что перед лицом Ирины Александровны вообще невозможно чувствовать себя уверенно. Она же как землетрясение — вот вроде бы тишина, покой, солнце светит, птички поют, и вдруг мощный удар, все трясется, дороги разламываются пополам, дома рушатся, народы гибнут.

Накануне он постирал форму и погладил белую рубашку. Утром вымыл голову и впервые за год причесался расческой, а не руками. Затем, перед самым выходом, почистил ботинки.

Как назло, вскочил ячмень, и именно к этому дню верхнее веко распухло так, что для глаза осталась только узкая щелочка. В других обстоятельствах Тихонов просто не пошел бы в школу, чтобы не дай бог его не увидела Гришина и другие девочки. Да и парни тоже могли крепко простебать. Но что делать, Ирину Александровну не перенесешь. Легче Луну на другое место перенести.

Тихонов явился за двадцать минут до назначенного времени. Он зашел в раздевалку, чтобы оставить там куртку, и тут только заметил, что забыл дома школьный пиджак и явился в одной рубашке. Он подошел к зеркалу и увидел себя: такой весь аккуратный, прилизанный мальчик, челочка набок, в ослепительно белой рубашке. Прямо типичный ботаник. Да и ячмень еще... Не, в таком виде он показаться перед ребятами не мог. И он, набросив крутку, бросился бегом домой.

В школу он примчался минута в минуту ко времени встречи. Весь красный, потный, рубашка промокла, особенно на спине, прическа вернулась в свое обычное состояние. Прихорашиваться он уже не успевал — и понесся, прыгая через две ступеньки, в кабинет математики.

— Ирина Александровна, — ворвался он, — я готов!

Она посмотрела на него с удивлением, так, как будто не ожидала его увидеть. Потом спросила:

— Пришел?

— Да!

— Ну что же, иди сюда!

Тихонов подошел к ее столу и встал сбоку, вытянувшись. Она обернулась к нему, посмотрела в глаза и задала первый вопрос — про свойства геометрической прогрессии. Он сразу ответил, четко и ясно — наверное, он никогда так прежде не отвечал, даже на биологии. Следующие вопросы касались построения графиков функций и три-

гонометрических функций углового аргумента. Видя, что он отвечает без запинки и действительно знает теорию, она дала ему практические задачи. Он сел за парту перед ней и быстро их решил.

— Молодец! — вынуждена была признать Ирина Александровна.

У Тихонова от волнения чаще забилось сердце: кто бы мог подумать, что она когда-нибудь назовет его молодцом? Это было не более вероятно, чем интим с Юлией Федоровной! Но вот, пожалуйста — он молодец!

— Ты отлично подготовился! Ставлю тебе пять.

— Спасибо! — расплылся в улыбке Тихонов. — Спасибо, Ирина Александровна!

— Да не за что, Алексей. В году у тебя все равно будет три.

— Почему? Вы же сказали, что я могу исправить двойку.

— Ну ты и исправил, на тройку, поздравляю! Но так-то у тебя одни двойки и тройки в журнале. Ничего больше за год я тебе поставить не могу. Можешь идти.

Тихонову в лицо ударила кровь, и он снова покраснел, как после бега.

— Но я же знаю весь предмет, спросите еще!

— Алексей, верю. До свидания.

НЕ ПАРА

Тихонов и Денисов сидели на лавочке. Тихонов был мрачный. Вот так бывает, вроде наступает лето — мечта всякого человека, долгожданная свобода, или, если говорить совсем пафосно, возвращение в рай — а человеку все не в радость. Потому что в году у него почти одни тройки. Пока еще шла зима, казалось, что это не важно, пускай будут хоть двойки, лишь бы поскорее она закончилась и наступило лето. И вот оно приходит, и становится ясно, что рассуждал он неверно.

— Дэн, я всегда думал, что я не настолько плох, каким себя показываю. Может, это иллюзия? И о человеке надо судить не по тому, что он думает о себе, а по тому, что о нем думают другие?

— Ну, я считаю, все не так трагично. Ты просто дурака валял весь год. А так у тебя и пятерки были!

— Ты тоже валял... Но у тебя-то ни одной тройки.

— У меня мотивация — за тройку родители повесят. То есть все тут и закончится: ни карманных, ни гулять, ни играть...

— В этом, может, и дело? Моим, например, вообще все равно.

Денисов не знал, что ответить.

— Я тут в одной умной книжке по психологии прочитал такую тему, — сказал Тихонов, — что если родители в детстве обманывают ребенка, то он вырастает беспринципным. То есть легко тоже предает других. И больше — способен на любую подлость, потому что у него расстройство личности, совесть как бы не работает. Вот я и думаю — это же история с моим отцом. Я только и помню, как он нас обманывал и предавал, обманывал и предавал. Значит ли это, что я вырасту такой же мразью, как он? Где-то сказано: дети отвечают за грехи отцов.

Он покачал головой и добавил:

— Мне кажется, некоторые плохие признаки я в себе уже замечаю!

— Я как-то фильм смотрел, — начал Денисов, — не помню название, старый. Там, короче, один актер играл двух разных людей. Суть как бы в том, что есть один мужик, и у него двойник. Этот мужик очень хороший — правильный, четкий, благородный. А двойник его — конченый подонок. Ну то есть полная противоположность. И вот пути их постоянно переплетаются. В общем, типа, если я правильно помню, плохой все время подставляет хорошего. Ну, хороший в конце концов вызывает на дуэль этого плохого, потому что никак иначе уже нельзя. И убивает его. После этого он скоро умирает и сам. Потому что убил сам себя. Тут, я так понял, идея в том, что у каждого человека две стороны — хорошая и плохая. И задача не в том, чтобы уничтожить вторую, из этого все равно ничего не выйдет, только вред, а в том, чтобы принять себя таким, какой ты есть. А потом уже постараться стать лучше.

— Так это я где-то уже слышал! Уж не психологичка ли динамщица тебя просветила?

— Да, — тяжко вздохнул Денисов. — Кстати, представляешь, она рассказала все моему отцу.

— Да ну! Это про твое признание-то? Вот сука... И что отец?

— Да ничего. Сказал: молодец, сын, правильно сделал, раз все серьезно. Но что если бы она ответила согласием, то они с мамой были бы против — слишком большая разница в возрасте... Да и не пара она мне.

ПРОЩАЙ, ДЭН

Лето почему-то всегда проходит так быстро, что ничего не успеваешь. Осень, зима тянутся еле-еле, но со второй половины апреля время потихонечку начинает ускоряться и разгоняется до того, что летние месяцы пролетают с огромной скоростью. И в сентябре снова резко

стоп, как будто время врезалось во что-то железобетонное. Вроде бы ты планировал сделать то, это, строил грандиозные проекты, думая о лете как о целой жизни, но только оно началось, как вдруг видишь — скоро опять в школу. Это ужасно обидно, это несправедливо, это катастрофа. И радость от каникул отравлена, потому что в самом их начале уже содержится намек на конец. Тихонов понимал, что все в мире так устроено. Но он очень хотел бы, чтобы время иногда останавливалось, замерло в какой-нибудь яркий летний день на пару лет. Например, сегодня, накануне последнего звонка, когда учеба уже закончилась, и все лето еще впереди, и лучший друг не уехал.

Они с Денисовым сидели на подоконнике напротив кабинета директора. Школа выглядела теперь совсем по-другому, не как учебное заведение, а как пустой недорогой пансионат, куда еще не заехали отдыхающие: она вдруг стала уютной и милой. Странно, но понятно: так и поле кровопролитной битвы выглядит невинной лужайкой спустя годы. Инь и ян, хрен ли...

— Знаешь, Дэн, я вот думаю о том, что всякое начало уже содержит в себе конец. Ну вот как сейчас — конец мая, начало лета, а я уже ощущаю дыхание осени.

— Да, я тоже думал об этом. Но мне кажется, это означает и другое, что конец должен содержать в себе начало.

— Ну да, конец — это начало. Начало конца. Но конец начала — это опять начало.

Они задумались над сказанным, пытаясь понять. Тихонов тряхнул головой, отгоняя наваждение.

— Короче, Дэн, плохо, что тебя не будет на последнем звонке. С кем еще поговоришь о таких вещах!

— Да мне и самому чертовски жаль! — хмуро кивнул он. — Так всегда, родители решают за своих детей, как будто лучше знают, что им надо! А мне теперь ходить в школу с какими-то жирными американцами...

— Почему жирными? В кино американки очень даже симпатичные.

— В кино все симпатичные! А кто в кино не попал, тот от ожирения страдает...

— Да ладно, Дэн, чего ты... Привыкнешь, станешь встречаться с какой-нибудь булочкой. Главное ж душа...

Они засмеялись.

— А я хотел бы туда съездить, — мечтательно сказал Тихонов. — Нью-Йорк, круто. Куча

фильмов и книг об этом городе. Но только на месяц. Чтобы не все лето торчать где-нибудь в Гарлеме...

— И я о том же.

— Тяжко мне тут придется одному с этими остолопами...

— Да уж, ты не распускай училок, а то им волю дашь — и все, пиши пропало.

— Ага...

— Чем вообще планируешь заняться на последнем звонке?

— Да уж чем на нем займешься! Сексом, конечно.

Они заржали, и эхо ответило им, пробежавшись по пустым коридорам.

— А вообще, Дэн, займусь Гришиной. Что-то в последнее время я упустил ее из поля зрения. А она мне нравится. Пожалуй, она — это единственное, что мне нравится в этой школе.

— Что ж, правильно! Хотя я думал, что тоже тебе нравлюсь, — кивнул Денисов. — Но и Гришина ничего.

— А с Петровой ты как? Попрощался слезно? Или после романа с психологичкой она в пролете?

Денисов поморщился.

— Да ты сам знаешь, Петрова же такая, легкомысленная... Ей, помимо меня, еще вся школа нравится. Так что у нас с ней несерьезно.

— Это хорошо, когда можно сказать девушке: «У нас с тобой несерьезно!» Вот Серегин не может. Ему Дуня Субботина сразу нос сломает.

Они опять заржали. Открылась дверь кабинета директора, и выглянула Юлия Федоровна. Она была в легком полупрозрачном платье, загорелая, улыбчивая.

— Ну что вы тут устроили? — спросила она. — Вся школа трясется, так ржете.

— Извините, Юлия Федоровна, больше не будем.

Она одарила их ласково-строгим взглядом и закрыла дверь.

— Ох, какая женщина, — простонал Денисов, — на мою психологичку похожа.

— Только твоя психологичка раза в два старше, не раскатывай губу. Юлия Федоровна для тебя мелковата.

— А что такого, говорят, чем дольше выдержан коньяк, тем лучше.

— Ну ок, что ж ты тогда не идешь знакомиться в дом престарелых? — сказал Тихонов.

— Все, тихо, хорош ржать.

Но Тихонов не хотел тихо. Она надеялся, что она опять выйдет.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Утро последнего звонка. Солнце затопило город по самые крыши и тихо плескалось, заливая подоконники. По пустынным улицам ползли размоpенные пешеходы. Еще так рано, но уже жарко. Конец мая — это лето в разгаре, даже больше, чем в июне. Газоны горят одуванчиками, копиями солнца. Тихонов любил одуванчики: пока они есть, пока они не превратились в пушистые старушечьи головы — еще все впереди и осень нескоро.

Он шагал в школу уверенно. Он решил, что это будет особый день, который изменит его жизнь. С этого дня он возьмет все в свои руки, перестанет балбесничать, наладит отношения с Гришиной. Он бросит курить и пить. Ну, может, сегодня напоследок выкурит пару сигарет и выпьет запасенный портвейн. Да и как же не выпить — последний звонок все-таки!

Конечно, без Денисова все непривычно. Только сейчас, когда тот уехал, Тихонов понял, что других друзей у него нет. Так, были неплохие кандидаты. Серегин, Массажин, Титяев. Но не совсем то, это, что называется, приятели, а не друзья. Друг — тот, с кем ты можешь говорить о личном и важном и кто при этом тебя понимает. То есть у вас одинаковый примерно уровень развития. Допустим, ты любишь читать книги и увлекаешься видеоиграми. Но твой «друг» ничего не шарит ни в том ни в другом. Какой же он после этого друг? Вам и говорить-то вообще не о чем...

«С Гришиной будет непросто, — думал он, шагая по замершей, как спящая змея, улице. — Она не любит читать. Общаться нам не о чем. Вопросы о смысле жизни ее тоже не волнуют. Надо будет искать общие темы...»

Он тяжело вздохнул, чувствуя, что вместе с такими серьезными мыслями внутрь просачиваются принципы взрослой жизни. На всякий случай он помахал перед лицом руками, как бы отгоняя их. Не хотелось думать о трудном сейчас, когда мир такой юный и солнечный. Поднялся легкий ветерок, и улица вдруг потекла: песок, упавшие откуда-то прошлогодние листья, его заботы медленно поползли прочь в ее течении.

В школе было немноголюдно, до начала праздника оставалось еще два часа.

В коридоре он заметил Арсеньева, Ступакову и Громову. Это и понятно, у отличников всегда так, они должны быть первыми. Но вот что делает здесь Стаханов, совершенно не ясно.

— Тихон, — крикнул он, — помоги воду наверх отнести!

Он быстро шел по коридору с двумя пятилитровыми баллонами.

— Не могу поверить, что ты подписался на общественные работы... — удивился Тихонов.

— Да, — засмеялся тот, — историчка попросила. Не смог отказать!

Тихонов подхватил другие два баллона, стоявшие у стола охранника, и пошел за Стахановым. Когда они проходили мимо туалета на первом этаже, дверь открылась, и оттуда выскользнули смеющиеся, розовые Титяев с Гришиной. Они держались за руки. Но не так, как она с Тихоновым, робко и целомудренно, когда еще ничего не произошло, а дерзко и откровенно, как состоявшиеся любовники.

Увидев Тихонова, Гришина вырвала свою руку. Титяев улыбнулся широкой невинной улыбкой, взглянул на Гришину, потом на него и побежал к компании, что-то весело им крича. Раскрасневшаяся Гришина осталась. Наверное, она ждала, что он спросит, что она делала с Титяевым в туалете.

Но Тихонов не остановился и пошел дальше. Он медленно поднимался по лестнице, и с каждым шагом в его душе разрасталась пропасть. Тот факт, как быстро она выдернула свою руку из титяевской, говорил о многом. Ему нечего было у нее спрашивать, он и так все понял. Если бы не это, если бы она не смутилась так, увидев его, он бы еще засомневался, он бы убедил себя: они просто друзья, которые зашли зачем-то вместе в туалет!

Он остановился посреди лестничного пролета, поставил на пол баллоны и схватился на голову. Началось.

— Что там все-таки было? — спросил он сам себя.

В голове нарастал шум.

Раз-два, раз-два. Пять-три-семь-один. Пять-семь-четыре... Нет, неправильно, здесь должно было три. Заново. Одиннадцать-пять-девять-семь. Три-четыре губы, один-семь глаза. Голова влево, голова влево, одиннадцать глаза, семь рот, снова голова.

Тихонов, прикрывая лицо руками, побежал вниз по лестнице. Не глядя по сторонам, он быстрым шагом промчался мимо одноклассников. Краем глаза он заметил, что они смотрят на него.

— Что с тобой? — громко спросил Арсеньев.

Тихонов на ходу махнул рукой.

Зевс разгневался. Только что еще сияло солнце и дул ласковый ветерок, но вот стоило Тихонову выйти из школы, как разразилась гроза. Небо рухнуло на город, навалилось чернотой и громыхало, бия молниями куда попало. Шквал взметал с дороги все, что там лежало, и бросал в лица прохожим. Острый запах грозы разлился по улице, и первые, невидимые пока капли кололи кожу.

Тихонов брел наперекор мощным порывам по направлению к соседнему подъезду, обуреваемый тиками, размахивая руками и что-то бормоча. Голова его дергалась из стороны в сторону, губы извивались, как змеи, из глаз текли слезы.

Он зашел в подъезд, ногой отворив дверь. Поднялся на один лестничный пролет и встал у окна, лицом к лицу со стихией. Прямо над ним страшно грохнуло, и пространство разошлось белой в зигзагах трещиной. Казалось, из этого разлома сейчас полезут древние чудовища, тысячи лет ждавшие часа расплаты с человечеством.

Тихонов достал из рюкзака портвейн, ловко откупорил бутылку и приложился. Пять больших долгих глотков. Потом сигарета. Вспыхнула зажигалка, выхватив на мгновение из сумрака бледные стены подъезда. Струя дыма взметнулась к потолку.

— Ну что, Алексей, — сказал сам себе Тихонов, часто моргая, — забился под землю, убежал, спрятался? Молодец! А бороться?

Голова два раза дернулась в сторону.

— Да как же ты собрался бороться, с такими-то тиками? Вся школа будет ржать и пальцами показывать, — ответил он сам себе.

— Ну а что ты такой тиканутый? Подумаешь, Гришина с Титяевым, и что... Сразу сдался?

— Тебе легко говорить! А ты бы не сдался? Два-четыре, три-пять...

— Ну ладно. Теперь домой, в постельку, под одеялко, плакать и ждать, пока пройдет?

— Да пошел ты... Один-один, семь-пять, голова влево-влево.

— А в школе будет дискотека, всякое веселье, Гришина с Титяевым, а Юлия Федоровна, возможно, с кем-нибудь из преподов. А то и со Стахановым!

— Такое невозможно! Юлия Федоровна и Стаханов! Ты что несешь!

— Все возможно — для настоящего мужчины. Помнишь, что Дэн говорил? Надо бороться за то, что тебе нужно. Но это не про тебя, конечно, тебе бы затаиться и поплакать в уголке. Бедный, бедный Лешенька, как же жалко себя!

— Все, заткнись. Семь-одиннадцать, девять-пять, глаза, губы, голова...

Надо как-то это прекратить.

Он зажмурился и с размаху ударил лбом в стену.

— Все! — громко сказал он. — Я не буду больше считать!

Три-четыре, семь-пять, губы — три, глаза — один...

— Нет! — закричал Тихонов в полный голос и снова ударил. — Нет!!!

Он бил и бил, повторяя быстро, чтобы не сбиться на счет: «Нет! Нет! Нет!»

Открылась дверь квартиры пролетом выше, и оттуда выглянул крупный мужчина в халате.

— Что здесь происходит? — строго спросил он, держась за ручку двери, чтобы в случае чего побыстрее ее захлопнуть. — Мне полицию вызвать?

Тихонов поднял на него взгляд, и мужчина попятился.

— Все в порядке, — ответил он.

Запрокинув бутылку, он допил остатки портвейна, закурил и вышел на улицу, под ливень.

В холле первого этажа Бубнов, Батонов и Рыбенко приставали к Василькову. Они пытались повесить на его спину бумажку с надписью «Я люблю историчку». Он от них неуклюже уворачивался, но они наседали с двух сторон, выкручивали ему руки и пинали. Вся его форма, обычно такая чистая и выглаженная, покрылась коричневыми следами от подошв.

Ни слова не говоря, Тихонов с ходу влепил пендель Рыбенко. Тот отскочил в сторону, держась за зад и с удивлением озираясь.

— Оставьте Василькова, — сказал Тихонов.

— Ты че дерзкий такой, страх забыл? — нахмурился Бубнов, отойдя от Василькова. — Отскочим, побормочем?

— Гришина другому дала, так ты сразу на друзей? — добавил Батонов.

Тихонов ударил его кулаком в лицо и направился к Бубнову. Тот стал отступать, повторяя:

— Ты че, Тихон, ты че? Батон, Рыба, валим его втроем!

Но Рыбенко и Батонов не хотели драки, чувствуя, что сейчас с Тихоновым лучше не связываться. Тогда Бубнов развернулся и побежал по коридору, крича:

— Ладно, псих, мы еще поговорим!

Рыбенко и Батонов пошли за ним, что-то гневно шепча.

— Спасибо, — сказал Васильков и поправил съехавшие очки.

Он стоял перед Тихоновым грязный, потный, жалкий.

— Не за что. Увидимся позже.

Тихонов быстро и решительно поднялся на четвертый этаж. По пути он никого не встретил, видимо, все одноклассники готовили праздник. Вот он у кабинета директора. Он занес руку, чтобы постучать. Но передумал. Это не тот случай, чтобы стучать! Не по-мужски это. Разве должен стучать мужчина, который пришел за своей женщиной? Нет, он должен действовать твердо и уверенно, а стук выдает сомнения. У Тихонова же не было больше сомнений.

Он взялся за ручку и широко распахнул дверь. Юлия Федоровна была на месте. Она сидела за своим столом и что-то писала при свете настольной лампы, в смешных больших квадратных очках. Заметив его, она поспешно сняла очки и убрала их в карман пиджака.

— Что тебе, Тихонов? — строго спросила она. — Почему ты мокрый? И что с твоим лбом? Ты упал?

Над школой прокатился раскат трескучего грома. В старой оконной раме задрожали стекла. Юлия Федоровна с испугом посмотрела в окно.

Тихонов увидел свое отражение в зеркале у входа. В самом деле, он весь вымок, пока шел от подъезда к школе. Рубашка прилипла к телу, кровь на лице, волосы размазаны по щекам, как у женщины после истерики.

— Алексей! Тебе чего? — повторила Юлия Федоровна.

Тут он почувствовал, что весь хмель из него резко улетучился, уступив место сковывающему страху. Уверенности и решительности больше было. Он уже не понимал, с какой стати пришел сюда, как он вообще осмелился на такое. Совершенно ясно, что ничего из этого выйти не могло, кроме позора.

— Извините, — слабым голосом ответил он и вышел.

Осторожно затворив дверь за собой, он глубоко вдохнул, держась за сердце.

— Как ты осмелился, дурак! Да еще в таком виде! — прошептал он.

— Ну молодец, — возразил он себе, — поступил как всегда? Лишь бы пронесло, лишь бы закончилось побыстрее, а потом жалеть всю жизнь? Доволен теперь? А как же всё? Плакать теперь в постельку и считать? А Дэн со своей психологичкой? А любовь? А жизнь?

Он резко распахнул дверь кабинета и снова вошел. Юлия Федоровна вздрогнула и подняла голову, но очки не сняла. Комнату на миг осветила вспышка молнии, ветер взметнул бумаги и сбросил со стола. Тихонов быстро подошел к ней, наклонился и неумело прижался к ее губам своими. Это совсем не было похоже на поцелуй.

Казалось, Юлия Федоровна превратилась в утес. Тихонов выпрямился и на дрожащих ногах направился к выходу. У него было такое чувство, что сейчас он умрет от ужаса. Все получилось настолько нелепо и неромантично, что хуже не придумаешь.

— Тихонов, стой! — вдруг прозвенел ее голос, как очередной раскат, сразив его на полпути.

У него екнуло в груди. Он застыл спиной к ней. «Все, — подумал он, — конец!»

— Иди сюда, — повелительно сказала она.

Он развернулся и, глядя себе под ноги, сделал по направлению к ней два робких шага.

— Ты совершенно не умеешь целоваться, — она встала и сняла очки. — Сейчас я тебе покажу, как.

Наверху прояснилось. Там, где еще недавно чернели тучи, теперь сияло, играло и пело чистое голубое небо. Сырые улицы обогрело горячее солнце, и на мокрых тротуарах стремительно росли сухие проплешины.

Так и Тихонов совершенно высох. Но не от солнца.

— Леша, удивил ты меня. Ты как будто заглянул в мои мечты.

— Юлия Федоровна, я и не подозревал, что вам нравлюсь. Как-то вы со мной не очень дружелюбно обращались.

— Слушай, давай уж теперь без Юлии Федоровны... Зови меня просто Юля, в конце концов, у нас разница не такая уж, лет десять всего. Только не при всех, конечно!

Она звонко засмеялась. И добавила серьезно:

— Ну а как, скажи, я должна была себя вести? Пригласить тебя на свидание после урока?

— Я бы согласился!

— Не сомневаюсь. Ладно, давай шагай, а то ко мне прийти могут.

Она поправила блузку, юбку и села за стол.

— Юлия Федоровна, можно последний вопрос?

— Опять эта Федоровна... Чувствую себя старухой с тобой. Ну давай.

— А чем я вам нравлюсь?

— Ты умный. Необычный. Привлекательный... Да сам знаешь. Наверняка все девочки в школе от тебя без ума.

Тихонов покраснел от удовольствия.

— Мы еще увидимся? Ну, в смысле...

Он смутился.

Она улыбнулась, он тоже.

— Алексей, как там вас по отчеству, обязательно. Должна заметить, вам следует еще многому научиться. Пока же, не обижайся, но и этот предмет был на троечку.

— Эх, ну по всем предметам у меня в этом году тройбаны...

Тихонов вышел из кабинета, смеясь. На подоконнике напротив, как раз там, где было написано «Сука», сидела Гришина. Она смотрела на него круглыми от удивления глазами.

— Тихонов, ты это с кем в кабинете директора так сейчас ржал? С Юлией Федоровной?

— Ну а с кем еще?

— И давно у вас с ней такая дружба?

— К сожалению, недавно. Минут десять всего.

Она слезла с подоконника.

— Леш, я хотела с тобой поговорить...

Тихонов поднял руку, как бы призывая ее к молчанию.

— Катя, не надо ничего говорить. Да и не о чем нам разговаривать. Тебе Титяев больше подходит, он непосредственный и веселый. А я псих с тиками.

В актовом зале гремела музыка. Там танцевали. Кавалеры приглашали дам, и кружились пары в ослепительных огнях тысяч свечей, декольте сверкали бриллиантами, мелькали гордые осанки, напомаженные усы... Конечно, ничего это не было. Танцевали там в основном современные танцы — и в полутьме. Что хорошего в современных танцах — их умеет танцевать всякий, если есть хотя бы чувство ритма. Выходишь и дергаешься под музыку. У Тихонова чувства ритма (и музыкального слуха) не было. Тем не менее он все равно однажды удостоился похвалы от девочек:

— Леша, ты так классно танцуешь!

А все дело в том, что в тот раз он был в жопу пьяный.

В старые времена такое бы не прокатило. Танцы танцевали сложные. И или ты умеешь, или, как Белинский, сидишь в уголке и конфузишься.

Правда, если честно, современные танцы тоже не для дураков. Серегин, например, занимался ими профессионально, и сразу было видно, что не просто так под музыку трясется, а с умом.

— Тихон!

— Че?

Его толкал в локоть Стаханов. Они — он, Стаханов и Васильков — сидели в пустом классе истории на втором этаже.

— Ты о чем задумался-то? Я спрашиваю, портвейн будешь?

— Не, Стэхан. Я бросил.

— Ну ты даешь! Тогда сигаретой угости.

— Нет сигарет, Стэхан.

Стаханов подозрительно сощурился.

— Тоже, что ли, бросил?

— Да, так и есть. Больше не курю.

— Оно и правильно, — подумав, кивнул Стаханов. — Я тоже собираюсь бросать... Боксу мешает. Ладно, пойду поищу, с кем бутылку раздавить. Тебе, Васильков, я так понимаю, не предлагать?

Васильков солидно помотал головой.

Стаханов вышел, спрятав бутылку под пиджак.

— Слышь, Васильков... — позвал Тихонов.

— Чего?

— Давай, что ли, дружить? Ты парень-то на самом деле нормальный. Извини, что я с этими гопниками на тебя наезжал... Знаешь, как бывает, стадный инстинкт, как все...

— Понимаю, — серьезно кивнул Васильков.

— Ну так что, дружить будем? Я не настаиваю...

— Будем, — сказал Васильков.

— Ну отлично! — обрадовался Тихонов. — А то знаешь, Денисов уехал, и я теперь без друзей остался.

— Знаю. Денисов хороший. Кстати, у меня через неделю день рождения. Приходи. Бабушка с дедушкой стол накрывают.

— А почему не родители?

— Я с бабушкой и дедушкой живу, — хмуро сказал Васильков.

— Не вопрос! Спасибо за приглашение, приду. Я вообще, кстати, дружу с бабушками.

Тихонов посмотрел в окно. Наступил вечер, в домах зажигались окна.

— Васильков, а тебе какие книги нравятся?

— Разные. Фэнтези люблю. Но и классику тоже: Гоголя, Достоевского, Толстого... Из зарубежных Дефо, Свифта...

— Все, хватит, — прервал его Тихонов. — Вижу, ты свой человек! А Гомера любишь?

— Да, «Илиаду».

И вдруг он прочитал с выражением:

— Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид...

— Ладно, ладно, верю! А я больше «Одиссею» люблю... Помнишь, как там начинается каждое утро: «Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос». Круто. Не знаю, почему.

— Согласен, — кивнул Васильков. — Круто.

Последний звонок закончился, и все разошлись по домам. Васильков хотел остаться, но честно признался, что в таком случае за ним приедут бабушка с дедушкой. Долго держался Серегин, но в конце концов и ему пришлось уйти, чтобы успеть на метро. Остались только Тихонов и Стаханов.

В конце мая ночи уже теплые, можно сидеть на улице хоть до утра. И Тихонов со Стахановым устроились на лавочке во дворе напротив школы. Тихонов не шел домой, потому что не хотел, чтобы завершился сегодняшний день — день, полный свершений и побед. Ведь тогда наступит завтра, а вдруг оно будет таким же, как позавчера?

Стаханов остался просто за компанию. Он так и не нашел, с кем выпить портвейн, и выпил все один. И теперь ему хотелось говорить.

— Тихон, — громко сказал он, — вот скажи мне, зачем мы живем?

— Не знаю, Стэхан. Откуда мне знать?

— Ну думаешь ты хоть что об этом?

Тихонов в самом деле много об этом думал. И к чему пришел? Ни к чему.

— Знаешь, Стэхан, в Древней Греции были такие философы, Демокрит и Эпикур. Самые веселые и жизнерадостные из всех. Демокрита так и звали: ржущим. Он считал, что ничего из того, что мы считаем важным и ценным, на самом деле не существует. Есть только атомы и пустота. И больше ничего. Так и говорил: только атомы и пустота.

— А Эпи... Этот хрен, как его? Он что считал?

— Эпикур. Почти то же самое. Он утверждал, что смысл жизни — в получении удовольствий. Что все телесно, и даже душа состоит из атомов. И после смерти атомы разлетаются в пустоте. И ничего не остается.

— А какие удовольствия он предпочитал? Женщины, пивко, наркота, наверное?

— Нет. Для него удовольствие — это просто отсутствие страданий. Хотя некоторые подозревают, что не обходилось и без бухла...

— Я не понял, Тихон, и что же они были такие радостные при таких отстойных идеях?

— Да черт их знает, — вздохнул Тихонов.

И добавил:

— Может, смысл жизни просто в том, чтобы жить.

Тихонов возвращался домой перед рассветом. Было темно. Мир замер, ничто не двигалось и не дышало. Это не очень приятное время. Это время, когда ночь окончательно победила и утро еще не родилось. Это время конца — того самого, который тянется бесконечно, который неизменен, в котором ничего не происходит. Если прав тот математик, по истечении бесконечно долгого времени конец должен превратиться в начало. Но как же это долго — целая бесконечность! В силах ли хоть что-нибудь ее переждать?

Тихонов устало вздохнул и позвонил в дверь. Через пару секунд открыли — значит, несмотря на позднее время, дома не спали.

На пороге стоял отец, он был совершенно трезвый. Тихонов никогда не видел его таким взволнованным. От бессонной ночи он стал совсем белого цвета.

— Ты где был? — спросил отец тихо. — Мы с мамой всю ночь не спали.

Но он спрашивал не строго. Наверное, понимал, что давно уже лишил себя права на какую-либо строгость. Он говорил скорее радостно и с облегчением.

— Пап, так последний звонок же сегодня. С друзьями сидели, то да се.

— Пили? — спросил отец трагическим тоном.

— Еще как! Но я бросил. Что и всем советую.

Он прошел в свою комнату и закрыл дверь. Потом, передумав, открыл ее и выглянул. Отец уходил по коридору.

— Пап!

Тот обернулся и молча посмотрел на него.

— Спокойной ночи. Если что, я на тебя не обижаюсь.

Закрыв дверь, он быстро разделся и бросился в кровать. Боже, как же он устал. Едва сомкнулись веки, как сразу в голову полезли странные видения, предвестники сна — потерявшие связь с реальностью фантастические картинки.

Вырвавшись на секунду из сонного дурмана, он посмотрел в окно. Серая мгла растаяла, крыши домов порозовели, и над ними разливалась нежная голубизна. Тихонов улыбнулся и снова закрыл глаза — на этот раз окончательно.

Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос.

Любовь НОВИКОВА

Любовь Новикова — член Союза российских писателей (с 1993 года), член Союза журналистов РФ. Родилась в 1959 году в селе Надежда Ставропольского края. В 1979 году по окончании ставропольского строительного техникума приехала в Ярославль, в 1988 году окончила заочное отделение Литературного институт имени А. М. Горького, факультет поэзии (руководитель творческого семинара — критик, литературовед Валерий Дементьев).
С 1979 по 1992 год работала мастером, инженером по труду на ярославском заводе стройконструкций, с 1992 по 1999 год — в библиотеке педагогического университета имени К. Д. Ушинского, с 1999 по 2001 год — корреспондентом газеты «Городские новости», с 2001 по 2013 год — корреспондентом газеты «Золотое кольцо».

По словам Арсения Тарковского, Поэзия — это меньше всего литература

Все громче и громче раздаются голоса о том, что Поэзия умирает. А мне странно слышать эти речи. Потому что, по словам Арсения Тарковского, Поэзия — это меньше всего литература, Поэзия — это способ жизни. Я знаю много поэтов, которые не зарифмовали ни единой строки, и людей, рифмующих их километрами и не являющихся поэтами. Поэт — это человек с особым зрением и слухом, позволяющими ему видеть невидимое и слышать неслышимое. И далеко не всем поэтам дан дар облекать это в слова. Такие люди — каста избранных, орган речи мирового пространства. Поэзия не может умереть, ибо не может умереть Вселенная. Даже если человечество вымрет как вид, Поэзия будет жить и ждать своего певца.

Любовь Новикова

* * *

О, эти белые деревья,
Печалящие сумрак ночи.
О, эти черные деревни
Страны, что разорвали в клочья.

Меся ногами злую слякоть
И глядя в старческие лица,
Уже мне хочется не плакать,
Уже мне хочется — молиться.

И я по тропочке по узкой,
По забурьяненному полю
Иду землей своею русской,
Как странница на богомолье.

К ней, словно к сытому корыту,
Сбежались те, кто был мне — братья.
Мне хочется творить молитвы.
А получаются проклятья.

И я последней мукой сердца
Взываю к Богу: «Виждь и внемли!
Причисли к лику страстотерпцев
Мою поруганную землю —

И эти белые деревья,
Печалящие сумрак ночи.
И эти черные деревни
Страны, что разорвали в клочья.

И эту пасмурную слякоть.
И эти старческие лица.
Все то, о чем еще мне плакать.
И то, чему уже молиться».

* * *

Мне б ни ваших и ни наших.
Мне со всеми страшно тут.
Наши — плачут, ваши пляшут.
Все едино — водку пьют.

А как досыта напьются,
Что тут надвое гадать —
Непременно подерутся,
А подравшись, разойдутся,
Черной кровью отплюются.
Да помирятся опять.

И пойдет гульба без края,
Беспробудный разгуляй.
Лишь тогда и затихают,
Как всю душу прогуляют
До последнего рубля.

Будь ты справа, будь ты слева,
Будь хоть с Богом, будь хоть — нет.
Будь хоть в красном, будь хоть в белом,
Будь хоть вовсе не одет.

Все равно — одна потрава —
Слезы лей, гробы готовь.
Тем — бесславье, этим — слава.
Ах ты, русская забава —
Все под корень, все бы в кровь.

А потом всех ваших-наших
Этой кровью повязать.
Наши — плачут, ваши — пляшут.
Ваши — плачут, наши — пляшут.
До сих пор не разобрать
С кем мне плакать, с кем плясать.

* * *

Мои слова мне душу не облегчили.
Моя любовь уже почти прошла.
Мои следы, оставленные вечером,
Полуночная вьюга замела.

И тишина, тяжелая и грозная,
Раскинулась на дальнем берегу.
Ворона, как боярыня Морозова,
На белом запечалилась снегу

С каким-то злым, с каким-то тайным умыслом.
Господь ее помилуй и спаси
За то, о чем она теперь задумалась,
Великая печальница Руси.

Здесь что ни год, то смута да растление.
Здесь что ни храм, то Спаса на Крови.
Придавленные страхом унижения
Молчат, молчат соотчичи мои.

И тихо так, что слышу скрип обоза я.
Томятся на Москве колокола.
И черная боярыня Морозова
Летит, раскинув вещие крыла.

* * *

Не пойти ли мне за верою?
Мне без веры здесь — никак.
Были в небе птицы серые.
А теперь и вовсе — мрак.

Отпылали дым-пожарища,
Не видать теперь ни зги.
Были все друзья-товарищи,
А теперь одни враги.

Не с кем словом перемолвиться,
Чтоб не вспомнить сатану.
Неужель никто не молится
За родимую страну.

Так здесь души исковерканы,
Что не знаешь, чем и жить.
Неужели в этой церковке
Можно душу отмолить?

Неужели в этой маленькой,
В небо бьющейся крестом,
Можно все грехи замаливать,
Можно плакать обо всем.

Неужели здесь отмерится
Все, что надобно душе.
Ох, не верится, не верится.
Ох, не молится уже.

Все как будто пахнет серою
Возле храмовых оград.
Не пойти ли мне за верою
Мимо церкви наугад.

* * *

Когда полночный ветер воет
И небо звезды в тучах прячет,
Тебе не кажется порою,
Что кто-то плачет?

Тебе не кажется ночами,
Когда уснут дома и люди,
Что кто-то мучится печалью,
И ждет, и любит?

Кого-то Бог слепил из глины.
А из кого-то сделал свечи.
Конечно, лучше ветер в спину,
Чем ветер встречный.

Кто стороной, тот не увидит.
Кто обделен, тот непорочен.
И тот всего больней обидит,
Кто и не хочет.

Такой ты долей обозначен —
Тебя и буря не всколышет.
Я под окном твоим заплачу —
Ты не услышишь.

* * *

Кричи, кричи. Пока не скомкан рот.
Пока не передавлено дыханье.
Пока души великое страданье,
Как горлом кровь, в слова твои течет.

Не оставляй молитву на потом.
Спеши наполнить криком эти стены.
И насмерть перерезанные вены
Не торопись затягивать жгутом.

И может, ты разбудишь этот сон,
Людей сковавший, словно смертный морок.
И мир, как пьяный нищий под забором,
Очнется вдруг под твой последний стон.

Тебе ли, избранной, о том жалеть,
Что жизнь твою никто не пожалеет.
Что над душой растоптанной твоею
Проснувшиеся будут песни петь.

* * *

Вот и осень прошла. И, наверно, уже не успеть.
Моих слов не слыхать. Кончен бал мой и козыри биты.
Но пока еще есть во мне силы не тлеть, а гореть.
Но пока я жива, я беру этот мир под защиту.

Может, скажет мне кто, что мое ненадежно крыло.
И что я в одиночку всемирного зла не осилю.
Значит, вам все равно. Значит, вам ни тепло, ни светло.
Значит, вы никогда никого не любили.

Значит, вы никогда не склонялись над чьей-то бедой,
Обмирая душой — защитить, отогреть, успокоить.
О, как сердце болит. Как мне трудно сегодня одной.
И голодная боль как собака побитая воет.

И уже обступили, уже замолчали и ждут —
Поднимусь или нет. Подниму или нет свое знамя.
Но пока я жива. До последних до крайних минут,
Буду греть этот мир золотыми своими слезами.

Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ

Продолжение. Начало в № 7, 8 за 2017 год

Гамлеты в портянках

Роман

Рисунки Марины Медведевой

ГЛАВА 5

Заправка коек, которая на армейском сленге называлась заглушкой КамАЗов, являлась настоящим ритуалом.

Курсанты трепетно относились к скрипучим четвероногим подругам. Это были безотказные женщины: в 22:00 солдаты бесцеремонно срывали синие покровы одеял с казенных красавиц и ныряли в их распахнутые объятия. Некоторое время бойцы занимались выбором поз для ночи любви. Все курсанты без исключения предпочитали работать сверху, при этом положения они выбирали как классические, так и авангардистские.

Классиков, как обычно, было меньшинство; они ложились на живот.

Авангардисты шли кто во что горазд. Один укладывался на правый бок и сворачивался ярмарочным калачом. Другой распластывался на левом боку «бегущим за водкой человеком». Любовник из третьего разряда ложился на спину и раскидывал конечности во все стороны, как морская звезда.

От жарких копошений служивых остывшие за день койки принимались покрякивать, постанывать и повизгивать, но продолжалось это недолго.

— Играем в три скрипа! — кричал дежурный по батарее. — Кто сделает четвертый, ночует на очках!.. Раз!.. Третье отделение артвзвода — два!.. Прохоров — три!.. Четыре! Опять ты, Прохоров?! Сгорел на очки!.. Отбой!

Несмотря на то, что мало кого из курсантов могла удовлетворить короткая армейская ночь, они всегда расплачивались с койками качественной заправкой.

Герц подошел к своей подруге. Он взял простыню и раскинул ее на матраце, как праздничную скатерть. Потом подогнул простыню здесь, подвернул ее там, натянул здесь и там, разгладил там и здесь и, выпрямившись, критически склонил голову набок, чтобы дать объективную оценку проделанной работе. Герц остался доволен собой и подругой.

«Не койка — царский стол», — подумал Александр.

В том, что перед курсантом был царский стол, нет никаких сомнений. Налицо имелось четыре ножки, а матрац был не иначе как из лиственницы. Вижу, что читатель не верит. Раз так — дуем в Венецию за доказательствами. Видишь, на чем стоит это государство, читатель?! Нет, не на воде. На сваях из лиственницы, затвердевших в вечной мокроте до алмазного состояния, Венеция держится. Матрацы в батарее были явно из предложенной автором породы дерева, потому как, пропитавшись на своем веку таким количеством жидкости, что ее хватило бы для устройства основательного потопа в миниатюрном государстве Люксембург, они не только не сгнили, но и донельзя затвердели. Тут, читатель, и пот, и кровь, и слезы, и неспра-

ведливо презираемая людьми влага, на которой зиждется целое направление в медицине — уринотерапия.

Немного подгадила царскому столу лишь простыня, в защиту которой сразу скажем, что она, как и всякая армейская вещь, только маскировалась под пепел, а на самом деле была белой, как заяц-беляк в начале зимы. Простыня была удивительная, так как у нее имелись прорези для глаз, которые только человек без полета мысли принял бы за дыры. Зато всякому человеку с воображением, взглянувшему на эти дыры, сразу становилось понятно, что когда-то кто-то молодой играл для кого-то старого роль привидения. Может быть, даже внучок для деда, но настаивать не беремся. Точно одно: привидение было азиатского происхождения, потому что прорези для глаз напоминали щелки, а не то чтобы в них мог пролезть детский кулачок.

Дыры в середине простыни немного огорчили Герца, и он пошел на самообман. Александр склонился над койкой и как бы ненароком накрыл ладонью то место, которое портило царский стол. Он проделал все это с тем благоговением, с каким закрывают глаза усопшим. Достигнув желаемого результата, Герц позволил себе полюбоваться творением собственных рук (одну из них никак нельзя было отрывать от центра простыни) ровно столько времени, сколько требуется человеку, чтобы почувствовать на своей спине комара и сгоряча промазать по нему.

Пришел черед пододеяльника. С этим атрибутом постельного белья Герц особо не церемонился. Причина грубого обращения с пододеяльником крылась в штампах, но не в тех штампах, за которые редакторы любят гонять писателей, а в самых натуральных армейских штампах синего цвета со смазанными звездами, нечеткими контурами и плохо тиснутыми буквами. Этих скверных казенных меток не постеснялся бы разве что первопечатник Иван Федоров, живший при царе, носившем такое же кроткое имя, но более грозную фамилию.

Штампов было целых три. Объяснялось это тем, что прапорщика, занимавшегося штампованием постельного белья, за работой посетила корыстная мысль. В какую-то минуту он решил, что не будет большого греха, если начать метить только каждый второй пододеяльник, каждую третью простыню, каждую четвертую наволочку, так как только собаки метят все подряд, а в армии такой подход не нужен.

— Как я потом все это на сторону сдам? — задал себе вопрос прапорщик и ответил: — Короче, хрен вам, а не штампы на новых простынях, тоже мне выдумали дурость. Вам, что ли, потом клиентов искать?! Мне ж крутиться, а с метками кто ж возьмет?! Еще скажете спасибо, что краску экономлю, не всякий раз болванку промачиваю. — Тут прапорщик неожиданно рассердился неизвестно на кого и в сердцах поставил на пододеяльнике целых три штампа (это был тот самый пододеяльник, которым спустя шесть лет восемь месяцев и четыре дня будет укрываться Герц). — Довольны?! — заорал прапорщик. — Ни на что теперь негодная вещь, бойцам только пойдет. Три штампа! Ну ничего, ничего. Трижды четыре — к двенадцати пододеяльникам теперь пальцем не прикоснусь, на тринадцатом успокоюсь и только четырнадцатый проштампую.

Словом, три квадрата со звездами внутри покоробили эстетическое чувство Герца, и он заключил, что в пододеяльнике он не увидит ничего, кроме пододеяльника.

Темно-синие одеяла с незапамятных времен выполняли в армии роль покрывал и заправлялись не абы как, а так, чтобы всякий путешественник, зашедший в казарму с одноярусными кроватями, мог воскликнуть: «Вот она — легендарная гладь синего моря, которое пьяному по колено! Все сходится! Не выше и не ниже коленной чашечки! И хоть бы одна волна! Так нет же — полный штиль! Значит, все правда! И золотое руно — правда! И кисельные берега пить, то есть — есть! И былинных богатырей тоже следует искать здесь!»

Единственное украшение армейского одеяла — три параллельные друг другу коричневые или черные полосы, которые после заправки койки должны оказаться там, где во время сна находятся ноги солдата. По сравнению со стыковкой полос на соседних койках операция по стыковке шаттла с космической станцией выглядит присоединением обручального кольца к безымянному пальцу — то есть, безусловно, значимым, но примитивным по технологии процессом.

Взяв одеяло, Герц отметил, что в армии нет такого понятия, как дефицит. Казалось бы, уж наждачку-то днем с огнем не сыщешь. А вот и нет. Сейчас в руках Герца находилась вещь, шершавостью которой можно было легко и непринужденно уничтожать другую шершавость.

На этом достоинства одеяла не заканчивались. Начнем издалека. Когда во время сна пододеяльник сбивался в кучу в ногах курсанта, то боец, как правило, ленился лезть за ним через всю койку. Двухметровое расстояние представлялось разоспавшемуся солдату марафонской дистанцией. Эти два метра казались курсанту непреодолимыми еще и потому, что их надо было покрыть в стужу. Почему в стужу? Потому что ночью, как известно, из организма выветривается тепло, и человеку всегда кажется, что высуни он нос из-под одеяла — и тот затрещит, как дерево на морозе, если, конечно, в ноздрях имеется сок, по густоте близкий к березовому. Словом, курсанту было лень прокладывать сбившийся ночью пододеяльник между собой и одеялом. Это прямой дорогой приводило ко второму достоинству одеяла — иглоукалыванию. Оно кололось, как кактус, но кто вам сказал, что лечебные процедуры всегда приятны телу? Тем более никто никогда не говорил, что после применения нетрадиционных методов оздоровления организма не будет побочных эффектов типа кожного зуда, как в нашем конкретном случае. Однако правды ради надо отметить, что чесотку вызывало не только колючее одеяло, но и его соучастница — бельевая вошь, в защиту которой на суде (если таковой состоится) автор обязательно скажет, что она была честной служакой в русской армии с незапамятных времен и вместе с солдатом стойко переносила все тяготы и лишения. Ее даже травили за это. Не сомневаюсь, что вшивую преданность Родине непременно возьмут во внимание господа присяжные заседатели.

Герц бережно подвернул одеяло под матрац с дальней от себя стороны. Посмотрев по сторонам, он еще раз убедился в том, что товарищи находятся с ним на одной стадии заправки коек. Не глядя друг на друга, курсанты действовали почти одновременно. Все как бы равнялись на того несуществующего в списках батареи солдата, которого в мирное время называют среднестатистическим, в военное время — Неизвестным.

— Мистика, — поразился бы гражданский человек.

— Слаженность, — махнула бы рукой батарея на такое заявление.

А дальше то спокойное синее море, которому так удивлялся путешественник несколько абзацев тому назад, разом вздыбилось и пошло такими грозными волнами, которые легко могли накрыть собой кошку средней величины. И только трезвомыслящий человек без грамма соленой романтики в душе, по праву гордящийся каким-нибудь надежным именем Ипполит и не верящий в иронии судеб, назвал бы бушевавший в казарме шторм обычным натягиванием одеял на матрацы.

Герц взялся за свисавшую с койки часть одеяла и потащил ее на себя. Матрац, под который перед

этим была подвернута другая часть одеяла, поднялся вверх и перегнулся, грозясь похоронить под собой упомянутую нами кошку средней величины, которая любит сон на хозяйской кровати не меньше сметаны. Прижав основание волны коленями к сетке, Герц ловко подвернул натянутую часть одеяла под матрац и, слегка надавив на гребень волны, завалил принадлежавший ему клочок водной стихии на койку.

Из-за некоторых неумелых Посейдонов, руки которых были заточены не под трезубец, а под огородные вилы, разволновавшееся море успокоилось не сразу. Вновь и вновь вздымалась синяя гладь в разных местах казармы; это курсанты из числа неумех продолжали добиваться идеальной натяжки одеял на матрацы. За качеством работ всегда строго следили Зевсы с наплечными лычками на зеленых туниках (и не дай кому-то олимпийский бог, если после заправки койки теннисный шарик не будет отскакивать от одеяла, как стишок от зубов отличника).

Проверка качества не заставила себя долго ждать. Вернувшийся из туалета сержант Кузельцов бросил:

— Кончили?

— Так точно, — гордо ответил Семенов за всех.

— А мой когда заглушили?

Этот, казалось бы, простой вопрос привел духов в замешательство, словно сержант спросил у них, когда была битва при Гастингсе. Ответ «когда, когда — тогда» был сразу отвергнут курсантами, потому что явно отдавал грубостью. Фраза «не можем знать» также не подходила, так как за ней непременно последовал бы дополнительный вопрос-угроза: «А кто тогда должен знать?» Указывать точное время на всякий случай (а мало ли, да и не знали!) тоже никто не спешил. Курсанты выпрямились на своих местах. Их лица сделались решительно тупыми, и даже Герц стал сносным натурщиком для картины «Деградация».

Кузельцов повторил вопрос, и курсанты, глупо улыбаясь, развели руками, что могло означать только одно: вот загвоздка, а ведь заправили же когда-то, КамАЗ-то вон как заглушен.

У выспавшегося Кузельцова было отменное настроение, но духи этого не замечали. Они стали тугими на наблюдения, потому что военное утро высосало из них много физической и моральной энергии. Кузельцов непрестанно улыбался и делал это невпопад и даже как-то поэтически созерцательно. Несмотря на то, что он задал подчиненным предметный вопрос, ответ, по большому счету, его не интересовал. Ему просто хотелось наполнить воздух звуками своего голоса — так он выпускал из себя лишнюю беспричинную радость.

— Че вылупились, воины? — хитро улыбнувшись, произнес Кузельцов. — Сегодня натяжка будет проверяться новым способом.

Курсанты первого отделения выдохнули, так как сержант окрестил их воинами, а не причислил к животному миру. От нормального обращения у духов отлегло от сердца, и они совсем не обратили внимания на то, что в своей короткой речи сержант упомянул какой-то там новый способ. Парни даже, грешным делом, подумали, что Кузельцов не такой уж и плохой человек. Курсанты явно поторопились с оценкой командира. Сержант был не просто неплохим человеком. Он был святым, потому что спокойно взял и пошел по синему морю, как когда-то один из апостолов. Господи, прости нас, грешных, за такое смелое сравнение, но раз Ты наделил людей чувством юмора, значит, таковое есть и у Тебя, потому как все мы созданы по Твоему образу и подобию.

Конечно, Кузельцову было далеко до святости, но факт остается фактом: он свободно разгуливал по синему морю из одеял, проваливаясь только в проходах между койками. Предположим, что такие казусы преследовали командира первого отделения вследствие того, что на каждой третьей кровати сержант начинал сомневаться в существовании Бога.

Море, которое Кузельцов начал месить ногами, разволновалось не сразу, потому что одеяла были так хорошо натянуты на матрацы, что какая-нибудь постаревшая поп-звезда, лицо которой изобиловало бороздами несельскохозяйственного назначения, обязательно воскликнула бы: «Покажите мне шейки всех этих коек! Не может быть, чтобы у коек не было шеек, на которые натягиваются морщины с лица!» Одеяла действительно были натянуты на матрацы до предела. Что там — даже отношения коммунистов с демократами в нашем Отечестве не были так натянуты, как одеяла на матрацы в артиллерийской батарее мотострелкового батальона гвардейской бригады быстрого реагирования.

Кузельцов прошелся по койкам раз-другой, но к чести моря надо сказать, что на начальной стадии хозяйственной деятельности человека оно лишь частично поддалось на провокацию; кое-где образовались небольшие волны, и только. Однако сержант не успокоился на достигнутом результате. Он принялся бегать, и у моря начался припадок эпилепсии, о чем свидетельствовала обильно выступившая на нем грязно-белая пена, которую только человек без грамма фантазии принял бы за

куски простыней и пододеяльников, выбившихся из-под синих одеял. Но сержанту все было мало. Ему захотелось понизить уровень воды в море, и он стал прыгать по койкам — да так рьяно, что в воздухе его коленки чуть не учинили драку с подбородком. После скачков, заимствованных Кузельцовым у занесенных в Красную книгу козлов (словом, козлов редкостных, козлов, каких мало), уровень воды начал стремительно падать... прямо на пол.

Другие сержанты спокойно отнеслись к поведению Кузельцова. Они занимались просмотром клипов по музыкальному каналу и думали: «Вразнос пошел бродяга. Бывает». И только замкомвзвода Саркисян в какой-то момент не стерпел:

— Дуру не гони, зема. Эфир забиваешь.

Состояние духов из других отделений может показаться читателю небезынтересным. Они чувствовали то особенное возбуждение, которое бывает у солдат в нескольких километрах от идущего боя. Никто из них не радовался и не огорчался за первое отделение артвзвода. Они ощущали себя так, как во время военных действий чувствуют себя бойцы второй линии обороны и неглубокого тыла, когда первая линия еще не прорвана, но уже держится на волоске и вот-вот будет смята.

— Как бы до нас не докатилось, — переживали духи из других отделений.

Несмотря на то, что второму отделению артвзвода, находившемуся через проход от первого, вроде пока ничего не угрожало, оно выравнивало полосы на койках, убиралось в тумбочках, поправляло ручные и ножные полотенца на душках лихорадочно и бестолково — с тем чувством, что скоро сражение завяжется и на их участке.

Третье отделение артвзвода, до которого доносилось лишь эхо войны, действовало собранно, четко и быстро, словно хотело качественно подготовиться к приходу неприятеля в свои пределы и не пропустить его в ПТУР-взвод.

Территория ПТУР-взвода, безусловно, была тылом, который все более углублялся от третьего отделения к первому. Здесь курсанты работали чуть быстрее и производительнее, чем обычно; тревога появлялась на их лицах только тогда, когда они бросали взгляды в ту сторону, где, по сводкам информбюро, громыхала война.

Когда Кузельцов отбушевал, его подчиненные занялись восстановлением порядка в отделении. С воодушевлением закопошились они на руинах — да так, что какой-нибудь весельчак и балагур, которого мы рады видеть в батарее не меньше путешественника и поп-звезды, не удержался бы от восхищения: «С обладателями этих некислых мин можно смело идти в разведку! Мины что надо, не подорвешься!»

Лишь койки были заправлены, армейское товарищество в первом отделении артвзвода распалось. За то, кто чем будет заниматься дальше, курсанты в кровь разодрались взглядами, потому что ругань и рукоприкладство духам запрещались. Испепелив Попова, Семенова и Календарева, Герц пошел в конец отделения, чтобы присесть на правое колено, закрыть левый глаз и заняться произношением слов «правее» и «левее», которые, бесспорно, были придуманы человечеством только для того, чтобы корректировать руки Куулара Серен-Оола, когда тот займется выравниванием полос на одеялах.

В конце отделения Герца ждала крупная по телосложению неприятность по фамилии Фаненштиль. Этот истинный ариец с лицом, напоминавшим растрескавшуюся репу, стоял, расставив ноги на ширине плеч и держа руки на ремне. Фаненштиль смотрел на Герца исподлобья, словно бык перед броском на матадора. Александр представлял собой идентичную крупнорогатую скотину, только более хитроумную. Животные, в отличие от людей, нередко могут договориться, не прибегая к насилию.

— Свалил отсюда, — повелительным тоном произнес Фаненштиль.

— Ага, щас, — огрызнулся Герц.

— Я не понял, ты че-то хочешь предъявить?

— Не, я на полосы пришел просто.

— Я тут — всосал?

— Вообще-то я кое с кем уже добазарился... Глянь мне за спину.

— Ну, Куулар, и че?

— А ниче... Сам знаешь — Тува тебе не напарник.

— Сука.

— Я ему передам.

— Это я тебе, Герцеговина.

— Гнида, ублюдок, подонок, — быстро произнес Герц.

— Это ты ща кому?

— Фане, Нафане, Фаненштилю, у которого за спиной никого нет... Короче, разойдемся мирно, Босния. Ты подал, я отбил.

— Типа, бейсбола, что ли? — осклабился Фаненштиль.

— Вроде того, — улыбнулся Герц.

Обычно полосы на одеялах выравнивали по нитке, но Герц, целиком и полностью полагаясь на глаз, привык обходиться без дополнительных орудий труда. В паре с ним стоял гордый азиат с невозмутимым лицом средневекового воина-ко-

чевника — Куулар Серен-Оол. Как большинство представителей национальных меньшинств, тувинец Куулар обладал обостренным чувством собственного достоинства, поэтому командовать им мог только более сильный человек или же просто старший. Герц не относился ни к первому, ни ко второму разряду, но он командовал. Командовал на родном языке тувинца, чего уже было вполне достаточно для того, чтобы добиться расположения степняка.

Герц не считал тувинцев жестокими тупицами, как большинство курсантов батареи, и с самого первого дня службы стал изучать потомков легендарных скифов. Чтобы сойтись с ними, он сначала живо интересовался их обычаями и традициями, а потом стал много рассказывать им о славных подвигах кочевников всех времен и народов. И тувинцы потянулись к Герцу. То, о чем они догадывались на уровне генной памяти, вдруг подтвердилось через исторические экскурсы Александра.

Однако в беседах с тувинцами Герц часто увлекался. Ему так хотелось, чтобы тувинцы быстро его полюбили, что в рассказах он часто пересаливал правду. Последствия не заставили себя долго ждать. Однажды в наряде по столовой, где за чисткой картофеля Герц и предпочитал разговаривать с тувинцами, прозвучала реплика Куулара:

— Мы великий народ. Сам всегда говоришь. Значит, мы хорошо резали русаков и гнали их с нашей земли десять лет назад.

— Тогда давай и меня, — ответил Герц, и в его голосе было не меньше резких гортанных звуков, чем у тувинца. — Прямо сейчас. Нож у тебя под рукой.

— Других, я сказал.

— Меня режь, иначе я напомню, как вы гасились[1] от ОМОНа десять лет назад.

— Тише будь.

— Гасились, как крысы, — понял?! Именем Шойгу говорю вам — как последние крысы! Какая-то несчастная рота ОМОНа на место вас поставила! Всю вашу республику одной ротой!.. Не вышло из Тувы второго Кавказа. Даже мне стремно.

Тувинцы вскочили со своих мест и двинулись к Герцу.

— Сидеть, — спокойно произнес Куулар своим и обратился к Герцу: — Это вы бежали из Тувы, как крысы. Много бежали. Толпа. Тысячи. Вы трусы, а мы воины.

— Вы не воины. Убийцы вы!

— Замолкни, Герц.

[1] Прятаться, пережидать (арм. сленг).

— Че Герц?! Ну че Герц?! Я ваш язык учу. Я ваше горловое пение люблю, ваши песни... А сейчас я буду петь нашего «Ворона», и никто мне не запретит. Или режь, как вы там у себя овец режете!

— Зарежу ведь. Обида. Не начинай.

— Я еще не начинал.

Полети в мою сторонку,
Скажи маменьке моей,
Ты скажи моей любезной,
Что за Родину я пал.

— Падать не надо. Слова дай... А про Шойгу — да. Почти боишься еще помирать. Не совсем готов к смерти, понятно мне. Потому что сказал про него. Без обид.

С того памятного наряда отношения между Герцем и тувинцами изменились. Как и раньше, Александр продолжал восхищаться простотой степняков, их доверчивостью, открытостью, смелостью и верностью, но уже тайно. Он перестал кидать им леща, боясь выхода на свободу нацистского зверя, который был безобразен и дик в них, симпатичен и цивилизован в нем самом. Герц и тувинцы как бы признали, что в них живет чудовище, которое в силу многих причин пока нельзя уничтожить, но можно и нужно держать на цепи. Более того, этот враг неожиданно стал их общим союзником, как он может стать союзником для любого нормального человека. Это случилось как-то само по себе. Постоянное присутствие дьявола расовой нетерпимости при пересечениях по службе заставляло обе стороны встряхиваться и перенастраиваться на ярко выраженный осторожный, теплый и бережный тон. И здесь не было ничего искусственного, а только естественное желание объединения против могущественного неприятеля. Такие взаимоотношения были первым этапом в зарождении крепкого союза между большим и малым народами. Герц и тувинцы продолжали с радостью общаться, но в разговорах между собой они прекратили говорить первое, что приходило им в голову, как это делают близкие друзья. Не друзьями, а дорогими гостями в душах друг у друга стали солдаты. Уважение и радушие, которые парни неизменно выказывали друг другу на службе, в конечном итоге должны были сломать стену между ними и после более подробного обоюдного изучения привести как минимум к крепкому товариществу.

— Я ничего не знаю, — ужасался сам себе Герц. — Как же так, что я многое знаю, о многом имею общее представление, а о тувинцах, рядом с которыми, может быть, завтра придется сра-

жаться на поле боя, не могу сказать ничего, кроме того, что они кочуют в степи, пасут скот и любят мясо? Чему нас учат в университетах? Чему?! Завтра Куулар вынесет меня из-под огня, поделится последней коркой хлеба, как сейчас последней конфетой, и люди попросят меня: «Расскажи нам о Кууларе».

Ну что я им расскажу? Что Куулар — это славный тувинец, который любит мясо? Да вот, в принципе, и все. А потом мне станет стыдно, и я начну лихорадочно уточнять: «Говядину любит, баранину, конину, верблюжатину вот еще». «Какое еще мясо? — спросят люди. — В какой среде воспитывался человек, который вынес тебя из-под огня? Как на тувинском будет "любовь", "счастье", "седло", "звездное небо", "копыто", "самоотречение"? О чем он думал, когда сидел на коне в степи и наблюдал за своими стадами? Как звали его родителей, братишек, сестренок, собаку, друзей?» Что тут ответишь? Он плохо знал русский, но не умел говорить о своем прошлом даже на тувинском.

Кто же мог предположить, что человек, произносивший «доброе утро, Герц», «на мою иголку, подшейся», «есть курить?», «а в Туве сейчас праздник», вынесет меня с поля боя с тем же бесстрастным лицом, с каким во время обеда говорил: «Мяса бы сейчас»? Еще не вынес, а я уже уверен на сто процентов, что вынесет... вынесет даже такого невыносимого человека, как я. Это недопустимо, что мы проходим в школе математику, штудируем в университетах римское право, но нигде и никогда не касаемся тувинцев, с которыми завтра пойдем на смерть. Не с косинусами же пойдем! Не с валовым же внутренним продуктом!

Батарея ненавидит тувинцев, считает, что они в любую секунду могут убить, а это не так. Будь с Доржу или Кужугетом простым, прямым, честным — и ты заслужишь их уважение. Не знаешь особенностей какого-нибудь народа — вооружись этими качествами, и будешь жить спокойно. Не владеешь языком, на котором говорит человек рядом с тобой, — молча поступай с ним так, как хочешь, чтобы он поступал с тобой. Так заповедано. Нет ничего проще и одновременно нет ничего сложнее, чем вернуться к этим универсальным реликвиям человеческих взаимоотношений.

Боже, как сложно нащупать то, что называется тувинским менталитетом. Спрашиваю у Куулара: «Как вы относитесь к женщинам?» Он отвечает: «Как понять?» Я: «Вообще к женщинам». Он: «Нормально». Что тут выяснишь? Что поймешь? А ведь у него в голове «Война и мир» об отношениях полов, которые еще и не так-то просто озвучить, ведь там тонкость на тонкости сидит и тонкостью погоняет. Тувинцы — степные ветры, которые нельзя увидеть, а можно только научиться чувствовать кожей их температуру, силу и направление.

— Правее, Серен-Оол, — произнес Герц на тувинском языке.

«Хорошо уже говорит», — подумал Куулар, но на русском языке, однако, спросил:

— Как это называется, когда еще плохо на нашем говоришь?

— Акцент.

— Вот ты пока с акцент говоришь, постарайся без акцент.

— Постараюсь.

— Почему на своем отвечаешь? Я же тебе по-русски говорю, а ты должен отвечать по-тувински.

— Я не знаю слово «постараюсь».

— Я твое слово «постараюсь» знаю, а ты мое слово «постараюсь» не знаешь.

— Я ведь только учусь, Серен-Оол.

— Плохо пока учишься. Как в Туве говорить будешь?

— Так я к вам пока не собирался вроде.

— Как?! — удивился Куулар. — Я же тебя пригласил.

— Когда это?! — поразился Герц. — Я что-то не припомню.

— Сейчас. А ты опять не понял.

— Спасибо, — произнес Герц на тувинском и снова перешел на русский: — Я постараюсь.

— Пожалуйста, — ответил Куулар на русском и продолжил на тувинском: — Постарайся, постарайся.

— Что ты сейчас сказал? — спросил Герц.

— Подумай.

— Приезжай, приезжай?

— Нет.

— Давай, давай?

— Нет.

— Друг, друг?

— Правильно, Герц, только я сказал: «Постарайся, постарайся».

Несмотря на то, что Герц обещал быть старательным в изучении языка, он не только не работал над произношением, но и намеренно коверкал слова. Тут была военная хитрость. Александр как бы давал понять Серен-Оолу следующее: я командую тобой на выравнивании полос, а ты рулишь мной в освоении тувинского; мы равны и главного, как видишь, среди нас нет.

Когда полосы на одеялах и душки коек превратились из зигзагов в прямые линии, Герц подозвал Куулара и попросил его навести критику.

— На предпоследней и последней кровати пошло косо, — изрек Серен-Оол. — Ладно, сойдет. Поворот плавный, почти хорошо.

— Да, с пивом потянет, — согласился Александр. — Отклонение станет заметным за территорией части, где за плохое качество уже не получают по роже.

Герц подошел к тумбочке. Открыв верхний ящик, он вспомнил о друге Павлушкине, которого отправили на уборку снега.

А как не вспомнить, когда твой отдел отражается в отделе товарища, как в зеркале?! Армия тем и хороша, что она быстро делает незнакомых людей любящими или нелюбящими друг друга братьями помимо воли каждого отдельного человека. Казалось бы, какая глупость, что туалетные принадлежности Павлушкина и Герца лежали в одинаковом порядке и копировали друг друга до мелочей? Между тем в четком представлении о том, где, как, когда и в каком количестве должна храниться и использоваться каждая армейская вещь, сокрыта такая глубина, что, погрузившись в нее, автор боится, что может не всплыть.

В сложной системе армейских координат солдатам требовался прочный фундамент, который позволял бы им начинать день не с нуля, а хотя бы с нуля целой одной десятой. Курсанты иной раз такое переносили на службе, что им мнилось, что весь мир против них. Однако как бы раздавлен, запуган и измотан ни был, например, Герц, он твердо знал, что у него есть незыблемая основа, на которой все можно построить заново. Это приносило относительное спокойствие.

Что бы ни случилось, Александр не сомневался, что... Что при пробуждении первым увидит Илью. Что зубные щетки в их отделах лежат не только в строго определенном месте, но и обязательно ворсом к небу. Что на построении Павлушкин будет стоять слева и так далее.

— Чтобы завтра в окопах действовать слаженно и быстро, мы должны научиться думать ни о чем другом, как об одном и том же, — размышлял Герц. — Жесткий распорядок дня, армейские нормы и правила, от которых мы не можем отклониться ни вправо, ни влево, с первых дней службы направили наши мысли в одном направлении. Система научила нас думать об одних и тех же вещах, пусть даже ненужных и глупых, но об одних и тех же, чтобы не произошло выпадения из обоймы. И это правильно при всех издержках казенщины, рутины, однообразия и несвободы. Нас временно учат выживать и убивать, а не жить и созидать. Теперь я с львиной долей уверенности могу сказать, что в предполагаемом бою Павлушкин поведет себя так, а не иначе, потому что он приучен укладывать мыльно-рыльные принадлежности только так, а не иначе. Как и я. Как и все мы.

Наведение порядка в расположении продолжалось. Герц взял два деревянных табурета и занялся построением прямых углов на боковых сторонах матраца. Операция по ликвидации покатостей называлась отбивкой. Александр не дружил с геометрией, он имел с ней товарищеские отношения на рыхлую четверочку.

Учительнице по математике, которая сумела вдолбить Герцу, что прямые углы пригодятся в жизни, наверное, было бы приятно узнать, что благодаря ее радению сержантские кулаки в армии чешут Александру бока не каждый день, а по графику сутки через трое.

Подперев сидушкой одного табурета бок матраца с такой же силой, с какой оглоблями и бревнами защитники древних городов подпирали крепостные стены, Герц поставил второй табурет вверх ногами на середину матраца и медленно повел его к краю койки.

В это время до слуха Александра донеслись аплодисменты, которые парень с первых дней в армии окрестил рукоплесканиями солдат Урфина Джюса. Хлопки, раздавшиеся в казарме после столкновения полированных табуретов друг с другом под прямыми углами, возвестили сержантскому составу артиллерийской батареи, что матрацы с натянутыми на них одеялами начали принимать строгую форму сигаретных пачек. Заправка коек под аплодисменты вошла в стадию завершения.

Герц с подъема хотел пить. Эта была не та приятная жажда, которую гражданский человек иногда не прочь разжечь, чтобы подойти к водопроводному крану в момент пиковой сухости во рту и с двойным наслаждением влить в себя жидкость. Зная, что вода никуда не денется, многие люди, открыв кран с голубым кружочком на барашке, с мазохистским терпением даже дают воде пробежаться, дабы она из холодной превратилась в ледяную. Жажда солдата Герца не имела ничего общего с жаждой гражданского человека, так как ее нельзя было утолить легко и просто. Передряги, в которые батарея попадала с самого подъема, не давали Александру зациклиться на том, что он хочет пить. Утренние проблемы задвинули жажду на второй план, и она не причиняла страданий.

Но чем больше внешняя жизнь курсанта обретала спокойные очертания, тем больше внимания к себе начинал требовать его внутренний мир. Но

не тот внутренний мир, который зовут духовным, а мир организменных внутренностей, алчно жаждущий не правды, а воды.

«Ненавижу, — мысленно стал роптать Герц. — Пить! Во рту — Гоби. Черт! — Александр с трудом собрал слюну, проглотил ее, но, как ему показалось, она плюхнулась в желудок, даже не коснувшись стенок горла. — Боже, что делать? Ведь не отпустят же, гниды... Надо забыть о жажде. Как только? Как?.. Чертов Колпак! Зачем я твой чеснок из посылки ел?! Ненавижу тебя с твоим чесноком. Гад ты. Га-а-ад... Какая я все-таки тварь! За добро ненавижу. Повелся на чеснок. Да не на чеснок же! На хлеб вприкуску к чесноку повелся. Ненавижу, всех ненавижу». Герцу стало жаль себя, и это сразу отразилось на его лице.

Уголки рта Александра провисли, как линии электропередач после обильного снегопада, его ноздри стали сужаться к носовой перегородке, а в глазах начала набухать влага, явно доказывавшая, что в организме солдата не такая уж и Сахара, что есть еще внутри оазисы и до полного засыхания пока так же далеко, как до дембеля.

Для бойца российской армии это было непростительное выражение лица. Фаненштиль, находившийся рядом с Герцем, засек слабость товарища и не преминул ядовито заметить:

— Склеился, что ли? Громче реви, чтоб все слышали. Наша Таня громко плачет.

— Зашейся, — исподлобья посмотрев на Фаненштиля, бросил Герц.

— Тебе не в батарее, тебе в понтонной роте служить. Одни понты.

От такого заявления лицо Герца покорежило от злобы, словно оно попало в серьезную автокатастрофу, как автомобиль. Снопы сварочных искр, которые редко могут поджечь окружающие предметы, но почти всегда заставляют отворачиваться стоящих поблизости людей, посыпались из его глаз. Фаненштиль отвел взгляд, усмехнулся и, насвистывая, направился в конец отделения.

После того как Герц убедился в том, что на него никто не смотрит и все заняты своими делами, он осмотрелся. Кругом была вода, и Герц до крови закусил нижнюю губу, чтобы влага выступила где надо, а не на глазах, как недавно. Солдаты-уборщики, вооруженные швабрами, возили воду по полу; кое-кто из них уже по-пластунски ползал под койками на скорость за некачественное мытье. Герц зло порадовался про себя: «Это вам за меня. Шесть полных ведер в казарме, а у меня — ведро в горле».

Поймав себя на том, что за такие мысли по отношению к товарищам он является сволочью, Герц поспешил реабилитироваться в собственных глазах: «Честно же признался. Сам себе. Пока я только корень квадратный из гада. Гаденыш, в общем».

Чтобы вновь из гаденыша не превратиться в гада, Александр даже запретил себе мысленно просить прощения у товарищей. «Искусственно выйдет, — решил он. — Уж лучше вообще не извиняться и гаденышем остаться, чем без искренности».

Герц обратил внимание на Семенова, который рядом поливал цветы на подоконнике. Александр подавил зависть к пившим растениям, но на этом обессилел в работе над собой и не смог заглушить ненависть к товарищу.

— Ты как, блин, льешь?! — угрожающим шепотом ударил Герц в спину Семенову. — Че, тебе воды жалко? Лишний раз в умывальник в облом сбегать? Надо больше лить, понял?! По всей площади лить, чтобы каждому корню досталось!

— Сань, ты че? — обернувшись, испуганно произнес Семенов. — Я и так вон сколько лью.

— Ты не льешь. Ты заливаешь мне, что ты льешь.

— Через край уже бежит, Сань.

— Краснодарский?!

— Сань, если хочешь, я на полотенца пойду. Только успокойся.

Удача сама шла в руки Герца, но он не пожелал воспользоваться моментом, чтобы потом иметь возможность напиться исподтишка; это было бы слишком просто для его сложносочиненной души.

— Как у тебя все просто, — облизнув пересохшие губы, сказал Герц. — На, Саня, поливай, да? А то я сам не знаю, что надо тупо отнять у тебя лейку и заняться запущенной оранжереей. Ты вообще хоть раз опрыскивал листочки? Они же посмотри какие вялые, на концах сухие и ломкие, как волосы рекламные... Какие к черту приспособления?! — выкрутил Герц руль мысли до предела, как будто Семенов действительно что-то сказал о приспособлениях. — Просто набираешь в рот воды и распыляешь. Дай сюда лейку, последний раз показываю.

Читатель, склоним головы перед мужеством странного солдата. Набрав полный рот воды из лейки, измученный жаждой Герц не проглотил ни одной капли, даже не прополоскал ротовую полость. Он сразу выплеснул воду на комнатное растение. Жидкость вышла изо рта почти в виде пара, вероятно, из-за мартеновской температуры в атмосфере организма.

«Что за жизнь скотская? — подумал Герц, отойдя от Семенова. — Ни за что ни про что на человека напал, а прощения опять не попрошу ради него же самого. Нельзя ведь. Даже совесть сейчас говорит: "Не делай это ради Семенова". Ведь как слабость мой порыв расценит, почувствует себя сильным, возвысится и начнет меня же клевать, других клевать. Это как пить дать... Пи-и-ить... Сдохнуть, что ли? Если сдохну, это будет правильно, потому что впереди — тысячи проступков, которые я уже не совершу. Мир только лучше станет. Эпитафия на могиле: "Он мог бы еще миллион раз солгать, подставить, обокрасть, разложить, предать... Помочь, спасти, поддержать, уберечь... Как ни крути, в могиле покоится поддонок"».

Выругавшись про себя на себя, Герц твердо направился к командиру отделения нарваться на ранение. Ему кровь из носу нужна была кровь из носа. Рядовой вырос перед сержантом солдатом штрафного батальона времен Великой Отечественной войны, которому нечего терять. «Ударишь — будет кровь, — подумал Герц. — Будет кровь — отправишь в умывальник. А там воды навалом».

Кузельцов возлежал на койке пресыщенным римским патрицием, когда в его личное пространство вторгся Герц.

— Че хотел? — лениво спросил сержант.

— Сознаться в косяке![1] — бодро ответил Герц.

— Ну и...

— Бирки к противогазам на соплях прилепил. В одну нитку шил, не сегодня-завтра отвалятся.

— Не понял.

— Лень было, товарищ сержант.

— Ты охренел, что ли, обезьяна?!

— Никак нет.

— А как тебя тогда понимать?

— Не могу знать.

— Ну тогда сгорел отсюда. После отбоя готовься.

— А сейчас никак? — с заискиванием в голосе произнес Герц, и подобострастная улыбка в обход воли появилась на его лице.

— Ты че — мазохист?

— Ну пожалуйста, — взмолился Герц.

— Че тебе от меня надо, полудурок?!

— Ну пожалуйста, товарищ сержант, ну пожалуйста, — заклинило вконец расклеившегося Герц, он чуть не плакал.

Кузельцов, считавший Герца нормальным пацаном, поморщился. Сержант по-своему уважал рядового, как когда-то патриций Красс уважал раба Спартака. Кузельцова нисколько не напрягало искреннее холуйство других духов, и он с приветливой, чуть снисходительной улыбкой принимал такое угодливое отношение к себе с их стороны.

Другое дело — Герц, который только на первый взгляд не отличался от солдат своего призыва. Не выделялся Александр среди товарищей по батарее на второй и даже на пристальный третий взгляд. Только при четвертом рассмотрении рядового Герца становилось понятно, что он за фрукт. Даже не ананасом отдавало поведение Александра, а прямо грейпфрутом. Например, Герц всегда точно и в срок выполнял приказы командиров и начальников, но делал это с таким видом, как будто в банно-прачечный комбинат за свежим бельем или в столовую за хлебом его отправляли не сержанты или офицеры, а он сам, в крайнем случае — Верховный главнокомандующий. При всем этом в момент получения и выполнения приказов в нем не просматривалось и тени заносчивости. Когда ему говорили что-нибудь сделать, его лицо — как у старого евнуха в гареме — сразу становилось равнодушным, строгим и внимательным одновременно. Сержанты часто приходили во внутреннее бешенство от поведения Герца, потому что даже во время выполнения их личных просьб парень действовал так, что в батарее всем без исключения казалось, что он угождает не отдельному человеку, а ни дать ни взять — Вооруженным силам Российской Федерации (именно так, в четыре слова). Беситься — бесились, но придирались редко, потому что внешне все было чисто.

— Сопли утри, — тихо произнес Кузельцов, поднялся с кровати и встал так, чтобы Герца не было видно. — Не догоняю [2] я тебя. Опущу — будешь знать. Странностью своей на гражданке щеголяйте, а тут не фиг. — Кузельцов сделал едва заметное движение головой в сторону других духов. — Эти все видели. Ты лицо потерял. Че теперь с тобой делать?

— Потеря лица в прямом смысле, — прошептал Герц. — Вы меня — на очки, а я не пойду.

— Как вы меня все достали.

— Товарищ сержант.

— Нигде, блин, покоя нет.

— Ну товарищ сержант.

— Ладно. Но еще раз учудишь — молись.

— Спасибо.

— Сгорел на очки, обезьяна! — громко произнес Кузельцов, чтобы все слышали. — Мухой!

[1] Проступок (сленг).

[2] Не понимать (сленг).

— На очки не пойду, — решительно ответил Герц.

— Маму в последнем письме приготовил, что прилетишь к ней «двухсотым» в голубом вертолете и бесплатно тебя похоронят?

— Никак нет!

— Ничего. Про «бесплатно» Павлушкин, твой зема, черканет.

Солдаты перешли от слов к делу. Кузельцов начал качественно трудиться над восстановлением достоинства Герца. Курсант должен был не орать от боли, подниматься после ударов, не просить пощады. На самом деле не так уж и много, если не хочешь прослыть чмо. Работал сержант исключительно нижними частями ладоней, чтобы рядового, погибшего при исполнении, при встрече узнала родная мать. Потому что мать — это святое.

Как только хлебнет дух воинского лиха, так сразу без всякого согласия Русской православной церкви причислит мать к лику святых. Однако пройдет годик-полтора, и оперится боец. Все реже станет вспоминать он женщину, которая произвела его на свет, все чаще станут слетать с его уст твои матери, матери твои и матери твои так.

Но мы отвлеклись. Сержант избивал рядового. Оба были довольны друг другом. Шло очищение через кровь...

— Кровь должна быть только на мне, — переживал за чистоту казармы отупевший от боли Герц и перехватывал алые капли руками, ногами, всем корпусом.

Кампания по перехвату крови с какого-то момента пошла неудачно, и Герц плюнул на это дело. По причине легкого сотрясения мозга плевок получился не мысленным, как бы хотелось, а натуральным и таким смачным, что автор вынужден переименовать его в харчок. Слюна, насыщенная красным цветом, плюхнулась на белую подушку Кузельцова и образовала пятно, которое начало быстро расплываться во все стороны, как улыбка наисчастливейшего человека. Казалось бы, от такой наглости подчиненного кровь командира первого отделения должна была неминуемо свернуться. Однако сержант не вышел из себя. Кузельцов остался хладнокровным, как рептилия, так как по опыту знал, что в спокойном состоянии духа удары всегда выходят гораздо сильнее и точнее.

Герц падал и вставал, опять падал и снова вставал. Это чередование длилось так долго, что Александру показалось, что теперь вся его жизнь состоит только из этих подъемов и падений. Он даже умудрился полюбить падения, потому что здесь ему помогали со стороны и не надо было утруждаться самому.

— ПТУР-взвод — умываться! — донеслось до слуха Герца, как ему показалось, из тысячелетнего и тысячекилометрового далека.

Автоматные затворы не передергиваются с такой скоростью, с какой стали открываться и закрываться отделы в тумбочках, где хранились туалетные принадлежности. Движение на себя, молниеносное вынимание мыла, щетки, пасты и толчок от себя.

Началось соревнование по армейскому двоеборью: сначала — бег с препятствиями до умывальника, потом — бой без правил за право обладания раковинами. Олимпийским принципом fair play в батарее и не пахло. Пинкам, толчкам, подножкам, зуботычинам и ругательствам, запрещенным курсантам в другое время, включился зеленый свет.

Потасовки за место под краном всегда поощрялись сержантами. Подбитая боевая единица по фамилии Герц, пересекавшая сейчас казарму в гордом одиночестве, давно поняла, отчего все это. Впереди Александра десять курсантов не справились с поворотом на умывальник из-за напиравших сзади товарищей, размазались по решетке оружейной комнаты, стекли на пол и образовали курган. Герц медленно провел тыльной стороной ладони перед лицом. Кровавая пелена, застилавшая ему глаза, спала. На кургане из бритых черепов стоял великий завоеватель.

— Разделяй и властвуй, — с македонским акцентом произнес узурпатор на латинском языке, а потом, как и подобает всякой выдающейся личности, с величественной медлительностью, словно советский пломбир при комнатной температуре, растаял воздухе.

«Самое удивительное, — всегда думал Герц, — что сержанты не имеют ни малейшего представления о принципе "разделяй и властвуй", но пользуются им постоянно, стравливают нас между собой. Так люди не знают, кем и когда был изобретен телефон, зато все в курсе, как по нему надо звонить».

ГЛАВА 6

Десять курсантов с лопатами, ломами, скребками и метлами по приказу младшего сержанта Птицы построились на улице в колонну по двое. Крепкий сибирский мороз, ударивший ночью, разрядил воздух, и мириады ярких, словно вымытых с порошком звезд сияли на иссиня-черном

небе. Глянцевая луна, точно пресыщенная ночной жизнью светская львица, лениво наблюдала за тем, как сорит жемчугом баснословно богатый космос, который в пьяном олигархическом припадке устроил звездопад, чтобы оживить вселенскую тусовку, под утро сонную и равнодушную ко всему.

— Нехилый мороз, — шмыгнув носом по-никулински, весело изрек замыкавший колонну Павлушкин. — Живем, пацаны.

— Тишину поймали, — беззлобно, только для проформы произнес Птица и вяло бросил: — Шагом марш.

Десять курсантов, отправленных на уборку территории от снега, и без Павлушкина знали, что сегодня звезды не рассыпаны по небу в беспорядке по команде «разойдись!», а удачно сошлись над их головами еще до подъема в каком-нибудь Сатурне и составили им благоприятный гороскоп на утро. Ворошиловский стрелец сигарет по прозвищу Павлуха просто решил пальнуть своей радостью в воздух, чтобы дать понять львам, козерогам, скорпионам, словом, каждой твари, шагавшей, как ни странно, по паре, как того и требует колонна «по двое», что денек начался хорошо. Курсанты предвкушали впереди веселую работу под присмотром всего лишь одного сержанта и, чем черт не шутит, возможность покурить. Духи весело переглядывались и подмигивали друг другу. На собачий холод, отменивший зарядку в бригаде, никто из уборщиков не обращал никакого внимания. Мороз кусать-то кусал, но почему-то одного сержанта, покинувшего теплую казарму через силу. Курсантов же мороз не кусал и даже не пощипывал, а дружески трепал их по щекам, как добрый дядька любимых племянников, и терпимо хватал за нос, как друг-ловкач, перехитривший друзей-ротозеев. Бодро шагала колонна, четко печатала шаг.

— Уломай[1] сержика на перекур, — тихо обратился к Павлушкину добродушный несклепистый Бабанов.

— Так иди и уломай, — буркнул Павлушкин. — Че все время я да я?

— У тебя срастется[2].

— А сам че?

— У тебя лучше получится.

[1] Уговорить (сленг).

[2] Выйти, получиться (сленг).

— Не факт.

— Да ладно, не прибедняйся. Че, мы тебя не знаем? Выручай, Павлуха, слышь? У всех уши в трубочку свернулись. Позобать бы децл[1].

— Бамбуком-то[2] хоть затарились[3]? А то у меня голяк [4].

— Не первый день замужем.

— Не знаю... Попробую.

Курево было мощным рычагом воздействия. Сигарет вечно не хватало, их часто недодавали и редко позволяли курить. Для многих солдат запрет на курение был страшнее лишения пищи или сна. Фраза сержанта «из-за падения дисциплины батарея переходит на здоровый образ жизни» звучала как «именем Российской Федерации рядовой Иванов, рядовой Петров, рядовой Сидоров и т. д. по списку курильщиков приговариваются к расстрелу». Никотиновый крючок делал солдат податливее пластилина. Солдатам второго мотострелкового батальона не давали ни бросить курить, ни накуриться вдоволь; так младший командный состав повышал управляемость подчиненными.

С виду батальон казался обыкновенным, но на самом деле подразделение потенциально являлось и рассадником подонков, и пантеоном героев одновременно; все как бы зависело от той задачи, которые поставят сержанты за разрешение на перекур. Читателю может показаться, что автор преувеличивает. Однако если рассказать о том, к каким ухищрениям прибегали духи, чтобы покурить без разрешения, то читатель, возможно, изменит мнение.

Решившие подымить духи выставляли «охранение» по всей казарме и направлялись в курилку. «Часовые» договаривались между собой о системе условных знаков вроде почесывания в затылке, снимания нитки с плеча, хватания за бляху ремня, снимания сапога для перемотки портянки и слонялись на отведенных им участках, наблюдая за перемещением сержантов. Как только «лычки» выдвигались в опасную зону, духи из «охранения» по эстафете передавали сигнал об опасности в курилку. На этом игра не заканчивалась, потому что, помимо «охранения», выставлялись еще и так называемые застрельщики из наиболее умных и ловких курсантов, которые шли наперерез сержанту и останавливали его просьбой или вопросом; так выигрывались десятки секунд или даже минуты. Курильщики, предупрежденные об опасности, даром времени не теряли, они дымили в форточку так, что впалостью щек после затяжек напоминали узников Бухенвальда.

Свежевыпавший снег посверкивал, как будто даже подмигивал фейерверкерам, и они, обычно серьезные и сосредоточенные на своих проблемах, заулыбались. А Павлушкин и еще парочка человек прямо стали смеяться. Но не на лицах у артиллеристов показались смех и улыбки, а в руках и ногах за работой. Труд в армии даже для тунеядцев стал отдушиной, почти счастьем, потому что за делом духов не принято было трогать, и они могли на время забыться. Плюс ко всему с рабочими командами, как правило, посылался один сержант, а это почти свобода, если, например, этот сержант — Павел Птица.

Птица был добродушным слоном. Духи любили его, потому что он редко использовал их для личных нужд. Из-за такой нормальной для гражданки и ненормальной для армии человеческой позиции этому сержанту курсанты стремились угодить добровольно. У Птицы слегка косил правый глаз, поэтому он казался всем несколько рассеянным и погруженным в свои мысли. Сержант часто говорил, что ему плевать на курсантов, но все чувствовали, что он врал. Птица любил людей, но считал нужным это скрывать, потому как полагал, что за это его будут больше уважать. Сержант не ошибся. Проницательные духи уважали его и за то, что он всех и вся любит, и еще больше за то, что он тщательно прячет это. Сержант не считал нужным показывать свои чувства только по отношению к тувинцам, с ними он вошкался, как отец с детьми.

Птица был несчастным сейчас. Праздник труда разворачивался перед его глазами, а он был вынужден оставаться сторонним наблюдателем. Ему хотелось влиться в рабочий пир и разгуляться во всю силу молодости. Его чувство было сродни тому ощущению, которое испытывает человек, проходя мимо дома, где идет веселая пирушка. Птица завидовал подчиненным, но вынужден был оставаться в бездействии, потому что субординация — превыше всего. Ему было холодно, но он не мог позволить себе даже попрыгать на месте, потому что разгоряченные духи, иным из которых уже хотелось скинуть бушлаты, могли расценить это как слабость.

Павлушкин захмелел от работы, как будто и впрямь гулял с друзьями за праздничным столом. Дело спорилось, и он даже не зыркал по сторонам для того, чтобы убедиться в том, что

[1] Немного (сленг).

[2] «Прима» (арм. сленг).

[3] Запастись (сленг).

[4] Пусто (сленг).

никто из ребят не отлынивает. Так наш человек не сомневается, что его товарищи по выпивке безо всякого присмотра будут трудиться над опорожнением бутылки изо всех сил, отмеренных им Богом.

Павлушкин быстро пришел в ту стадию опьянения от труда, когда напарники становятся родными братьями, которых любишь всем сердцем, на которых от избытка энергии иногда даже с притворным недовольством покрикиваешь. В какой-то момент Илья действительно принялся отпускать делано строгие реплики в адрес товарищей, а они... Они стали смотреть на него как на человека, который сердится, когда кто-то пропускает стопку или не выпивает ее до дна.

Весна на территории, закрепленной за фейерверкерами. Курсанты, зеленая форма которых по расцветке напоминала березки и дубки в середине мая, выметали зиму метлами, выскребали ее лопатами, выдалбливали ее ломами. На голове у артиллеристов — синие шапки со звездами во лбу. Ни дать ни взять — весенние деревца под куполами небес с негасимыми светилами в пушистой синеве!

Задача, которую взял на себя Павлушкин, была простая, но важная. Он придавал прямоугольную форму снежным массам, которые его напарники валили за бордюр дороги. Несмотря на увлечение работой, Павлушкин ни на секунду не забывал об обещанном товарищам перекуре. За короткими фразами, которыми перебрасывались курсанты, Илья безошибочно слышал: «Ну когда уже? Когда?»

И вдруг Павлушкин понял, что время для просьбы о перекуре упущено. Он осознал это каким-то инстинктом, когда Птица закричал властно-заискивавшим голосом:

— Молодцом! Чем быстрее кончите, тем быстрее пойдем в располагу[1]! Дам вам даже умыться!

От этого «дам вам даже умыться» у Павлушкина все опустилось внутри. Несмотря на то, что между умыванием и перекуром, казалось бы, не было никакой связи, курсант сделал точный вывод: «В казарму рвется. Ни секунды лишней на улице не простоит, как закончим».

Чтобы переломить ситуацию, Павлушкин начал выделывать мертвые петли:

— Веселей, пацаны! Как каракатицы, блин! Ты вообще как черепаха, Рыжий! Ты меня, в натуре, накаляешь!

— Стараюсь! — откликнулся Павел Самойленко, веснушчатый курсант с васильковыми глазами. — Накалять стараюсь!

— Ну-ну, за базаром следи, бродяга!

— Свой фильтруй сначала! — весело огрызнулся Самойленко. — Сугробы вон косорылые у тебя!

— Моим сугробам геометрия обзавидовалась! — продолжал Павлушкин затейливую и длинную игру, эпилогом которой должен был стать перекур. — Мои сугробы на ярмарках выставлять можно! Кто-нибудь спросит: «Интересно, чья работа? Надо же, какой прямоугольный прямоугольник. Не квадрат и не круг, а то, что надо. Угол — девяносто градусов, ровно два пузыря водки по сорок пять». А я тут как тут: «Начало двадцать первого века, работа неизвестного мастера Павлушкина, ученика Птицы». — После этих слов с Павлушкина можно было смело рисовать серьезность и озабоченность делом. — Недоделки учту, Рыжий! Но и ты булками шевели!

От веселой перебранки духов воздух вокруг сержанта Птицы, стоявшего по американской стойке вольно, начал согреваться.

Павлушкин не унимался:

— Мультик!

Курсант, разом похожий на всех печальных мультипликационных персонажей, подгреб к Павлушкину.

— Мультяха, ты же у нас в чипке[2] Отечеству служишь? — Все курсанты засмеялись, но не очень громко, как бы с почтением к присутствовавшему рядом сержанту. — Сигареты зашарил[3]!

— Но.

— Марка?

— «Тройка».

— Не бзди[4].

— В натуре говорю.

— Слыхали, пацаны?! Служит в чипке, подъедает за шакалами[5] булочки с маком, а зашарил вонючую «Тройку». Ту же «Приму», только с фильтром. Хоть бы уж две «Тройки» зашарил. Взял бы хоть количеством — я не знаю... Раньше я хотел попросить у товарища сержанта перекур, а теперь не буду!

— Это почему? — не выдержал Птица.

— В знак протеста! — ответствовал Павлушкин и поблагодарил судьбу за то, что вопрос, которого он ждал, задан. — В знак протеста против

[1] Расположение (арм. сленг).

[2] Магазин в воинской части (арм. сленг).

[3] Украсть, достать (арм. сленг).

[4] Врать (сленг).

[5] Офицер (арм. сленг).

бесполезности Мультика, товарищ сержант! Сегодня он зашарил одну «Тройку», а завтра вообще ничего не зашарит! Завтра мы не покурим, даже если захотим! Даже если вы разрешите! При всем вашем и нашем желании не покурим! Никогда! Вы слышите, пацаны?! Никогда!!!

В каком-то беспомощном и страшном исступлении выкрикнул Павлушкин последнее «Никогда!» и сам себе поверил. И все вдруг поверили, что никогда, никогда они больше не покурят, хотя у некоторых в карманах лежали сигареты и посерьезней «Тройки», а «Прима» была так почти у всех.

Если что, у самого Павлушкина под бушлатом грелся сейчас непочатый «Петр I», о котором в начале своей игры курсант запамятовал самым искренним образом. Что там — Илья даже как будто и хотел помнить о черной пачке во внутреннем кармане кителя, очень хотел, но вот как-то начисто забыл о ней, как забывает о Петре I нерадивый студент истфака на экзамене. Тут надо даже усугубить, читатель. Павлушкин забыл о своей пачке, как тот студент истфака, который в случае завала экзамена должен угодить... в армию.

Гамлет в портянках явился миру ранним январским утром 2005 года. Гениально играл Павлушкин, но все-таки играл, а потому не забывал о перекуре. А другие курсанты даже как бы и забыли, что их легкие изнемогли от нехватки никотина, так как чувствовали приближение другой, более глобальной катастрофы. А то! Последняя «Тройка» в мире!

Два впечатлительных курсанта дошли в мыслях даже до того, что пачка у Мультика, скорей всего, уже пустая на три четверти. И Мультик даже как будто в этом и не виноват, потому что — судьба, рок, фатум.

Один курсант проявил редкостный фатализм перед концом света:

— А давайте, пацаны, мультяшную «Тройку» скурим?! — отчаянно предложил он. — А, пацаны?! Скурим — и пропадай все пропадом! — И почти не было в его душе желания покурить на халяву.

— А давайте! — рванув верхние пуговицы на бушлате, крикнул уже не Мультик, а какой-то рубаха-парень. — У меня три штучки осталось, на всех раскидаем! В следующий раз не зашарю ведь! Палево![1]

И даже как будто верил Мультик, что в следующий раз украсть у него не получится, хоть это и смерть для всех. Однако этим же вечером у него откуда-то взялись три пачки «Мальборо».

Третий курсант (хотелось бы описать его одежду и прическу, чтобы хоть как-то выделить из остальных, но он был бритый и зеленый, как все) привнес в Апокалипсис на уборке трогательную нотку:

— Мультик просто правильный! Он много не тырит, потому что ему стыдно! Он — человек!

— Не человек я! — в гневе парировал Мультик. — Это тебе стыдно, а мне — нет! Тем более для своих пацанов!

— Не трогать Мультика! — вмешался Павлушкин. — Порешу того, кто скажет, что ему стыдно, что он — человек! Быстрее сдохнем! Повара продукты у нас тащат, он сигареты не тащит — быстрее сдохнем!

— Да вы че, пацаны?! — закричал Мультик. — Теперь сдохну, но зашарю! Чипок грабану[2]! Я не я, если не грабану!

Скорость уборки не только не пострадала от всей этой трагикомедии, но и натурально увеличилась.

— Да и черт с ним, с куревом! — через некоторое время заявил Павлушкин. — Перебьемся.

Между тем все вдруг поняли, что сегодня точно удастся подымить всласть. Это уже даже не обсуждалось. Разрешение на перекур словно вылупилось из воздуха, как цыпленок, и вкусно пожарилось, как цыпленок табака. Запах незажженных еще сигарет уже дразнил, но дразнил приятно, как дразнит детей запах вкусного ужина, который никуда не денется; надо только отца с работы дождаться. И мама как бы говорит: «Не крутитесь возле меня. Через пять минут придет папа, и сядем за стол».

Птица и ассоциировался у курсантов с тем отцом, который вот-вот должен был подтянуться. Сержант чувствовал, что он попал в какие-то приятные сети.

— Огреть бы тебя лопатой вдоль хребта, Павлуха! — крикнул Птица, и из всех семи ноток, прозвучавших в его голосе, только две (до и фа) были нотками раздражения, остальные — нотками благодушия.

Павлушкин чутко уловил соотношение добра и зла в голосе Птицы и решил, что сейчас самое время малость подлизаться:

— Огрейте, товарищ сержант! От вас и получить не западло!

— Даже не сомневайся. А сигареты у вас по-любому есть, сказки мне только не рассказывайте.

[1] Опасно (сленг).

[2] Ограбить, обворовать (сленг).

— В том-то и дело, что нет, так что перебьемся. — Курсанты замерли на своих местах и уставились на Павлушкина. — Че смотрим?! — зло крикнул хитрец. — Работай давай! Не можете, что ли, без никотина?! Все не могут! Че сделаешь, если напряг[1] с куревом?! Скажите спасибо сержанту Птице, что хоть навстречу нам идет! Работой скажите, а не гнилым базаром! — Тут Павлушкин с каким-то остервенением начал выравнивать сугробы, хотя в таком деле всякое рвение прямо противопоказано.

— На нет и суда нет, а то я хотел добро вам дать, — произнес Птица голосом, в котором слышалась наивная лиса.

«Попался, тушканчик», — сказал Павлушкин про себя, и пошло-поехало-понеслось: «Товарищ сержант, "Прима", конечно, у нас есть, но пацаны ее за сигареты не считают! Потому что из-за вони ее запрещено курить!»

— Ну, на улице же курите иногда, — заметил Птица.

— Так иногда, что почти никогда.

— Тебе вообще че надо? — спросил Птица.

— Чтоб всегда на улице можно было, когда захочешь! — зло ответил курсант, потому что почувствовал чутьем профессионального разводчика, что только такой тон сейчас и уместен. — Мы уже до того замордованы, что бамбук в казарме нельзя, что и на улице уже как бы нельзя! Для красоты «Приму» в карманах носим! Че молчишь, Бабанов?!

— Так я это, — стушевался Бабанов. — Бамбук есть, конечно, но это самое...

— Нате вам, товарищ сержант! — сплюнув, перебил товарища Павлушкин и всадил лопату в сугроб. — «Прима» для него — не сигареты! Думаете, из-за того, что он такой крутой и гордый?! Нет, он просто привык, что бамбук нигде нельзя курить! Ну, на улице-то че нельзя? Почему казарменный запрет как-то сам по себе на улицу перекинулся? Да, температурой эти два места похожи, согласен, но ведь больше ничего общего! Как медаль бамбук носим! Для красоты! И даже не на груди, а прячем, как будто мы его не заслужили, как будто его нельзя курить даже на продувном ветру! Че припух, Бабанов?! Не так, что ли?! Твой ровесник, которого папаша от армии отмазал, титьку мамкину наяривает и «Парламент» с «Кентом» цибарит! А ты... ты по нарядам, по караулам мыкаешься, страну сторожишь, а бамбук!.. Зато он честный, бамбук наш! И бамбук — сигареты! И не какие-никакие, а еще какие!

«Вот ведь как извернулся, — подумал Птица. — А ведь прав».

— Бамбук, он мне вообще один в один Шотландию напоминает; есть такой город, в котором мужики носят юбки, как бабы, и на волынках дудят! — понесло Павлушкина за тридевять земель и наверняка унесло бы, но сержант не дал ходу повествованию, в котором — нет сомнений — была бы доказана абсолютная идентичность Шотландии и «Примы».

— Отставить заграницу! — произнес Птица и расхохотался. — Покурите потом свой бамбук! Может, и в казарме разок разрешу! Может, и время дам, чтоб удовольствие получили!.. Павлуха, а тебе... всыплю!

Между тем Павлушкин с ужасом и одновременно с каким-то мазохистским удовольствием почувствовал, что теперь ему плевать на перекур и что хочет он сейчас только одного: правды и справедливости.

— А ну доставай бамбук все! — захрипел Павлушкин, и глаза его заворочались в орбитах. — По десятке за пачку даю! Мать кровную сотку выслала с наказом: «Порадуй себя конфетками, сынок!» Прости меня, мама, но не ценят, суки, горб свой! Я оценю! Я им покажу, бамбук — не сигареты! Че медлим?! Мало?! По пятнадцать за пачку! — Увидев смятение на лицах товарищей, Павлушкин подошел к Бабанову, схватил его за грудки и выдохнул: — Че?! Я сказал — любую пачку! По фигу мне, сколько у тебя там штук осталось! Пустую даже гони!

— Отвали, — мягко отстранив руки Павлушкина, твердо произнес Бабанов.

— Да куда ты денешься?! Потому что двадцать даю!

— Якубович, что ли? Отвянь[2], Илья.

— Боб, ты че? — произнес Павлушкин, и его лицо страдальчески исказилось. — На двадцаху десять «Прим» можно купить. Родной, ты че? — Глаза Павлушкина заблестели, его подбородок задрожал часто-часто, как теленок, родившийся в голой степи в крещенский мороз. — Сотку на... Просто так... Думал, куплю... Не купил... Уйди от греха...

Скатов, наглый курсант медвежьего телосложения, угождавший сильным и унижавший слабых, ехидно улыбнулся и бросил:

— Давай, Павлуха! Кассу — вперед!

Вмешался курсант Леденев, худощавый невысокий парнишка, запомнившийся батарее тем, что однажды ни с того ни с сего взял вину другого на

[1] Сложно (сленг).

[2] Отстань (сленг).

себя. Не отрываясь от работы, он преспокойно заметил Скатову:

— Возьмешь у Павлухи кассу — здоровье отниму.

— Боюсь, аж в штаны наложил, — ухмыльнувшись, ответил Скатов. — Он сам предложил, его за язык никто не тянул.

— Без тебя вижу, что все по понятиям, но здоровье все равно отниму.

— Отнималка не выросла, прыщ норильский.

Леденев пропустил обидные слова товарища мимо ушей. Бесстрастный и справедливый, он увидел в потенциальной сделке что-то неясное, что-то не то: с одной стороны — несусветную глупость, с другой — запредельную подлость. Леденев не приветствовал ни то ни другое. Если бы в назревавшей сделке все было чисто, то он бы не вмешался и предоставил разрешение ситуации сержанту. Однако ситуация была неоднозначная, и Леденев решил влезть. Он не мог существовать в мути. Ему требовалась прозрачность, которая делала его умиротворенным, созерцательным и пассивным, почти философом. В армии он давал право добру и злу на спокойное существование. Ему надо было только четко знать, что вот это — белое, а вот это — черное; переходный серый цвет, в который вот-вот должна была окраситься сделка, он не выносил на дух.

По мысли Леденева, Павлушкин и Скатов творили на уборке что попало. Его не устраивало поведение обоих товарищей, поэтому он напал на того, кто был к нему ближе, — на Скатова. А могло бы достаться и Павлушкину.

— Че думаешь — воспользоваться Павлухой хочу? — спросил Скатов у Леденева. — Может, я просто его кассу на сохранность хочу взять, пока он не в себе.

— Мне вообще по фигу, для чего ты это делаешь. Я тебе уже все сказал.

— Эй, ты че, думаешь, я тебя боюсь, норникель хренов?

Леденев смерил Скатова арктическим взглядом, брезгливо отвернулся и пошел прочь. У Скатова от страха засосало под ложечкой.

Сержант внимательно наблюдал за всеми и ни во что не вмешивался. Ему было интересно следить за тем, что происходит на уборке.

— Оконешников, слышь, Оконешников, ну-ка подь сюда! — не отводя взгляд от спины отошедшего Леденева, крикнул Скатов. — Бамбук тебе дам! Знаю, у тебя нет!

Страх Скатова перед Леденевым после этого широкого жеста начал таять. И Скатов зарвался. Ему вдруг захотелось стать безрассудно смелым. Он теперь знал, как сделать это. Вдохнув морозный воздух полной грудью, он даже не расстегнул бушлат, нет, не расстегнул, а разворотил его своими узловатыми крупными пальцами до самого ремня и начал доставать из карманов кителя сигареты. Бесстрашие надо было срочно подпитать, и красные пачки под крик «Держи!» полетели в руки рассредоточенных по территории артиллеристов.

Завороженный собой Скатов даже не поразился невообразимой точности, с которой «Прима» начала попадать в руки сослуживцев. Иначе и быть не могло. Словно выдающийся баскетболист Майкл Джордан, он не мазал по кольцам-людям ни в пределах, ни за пределами мысленной трехочковой линии. Звездная болезнь посетила запасливого фейерверкера на шестой пачке, и он швырнул ее наугад. И о чудо! Какое-то баскетбольное кольцо в прыжке распласталось в воздухе футбольным вратарем и в двадцати сантиметрах от земли записало на счет армейского центрового еще три очка. Когда последняя девятая пачка отделилась от рук Скатова, он уже не только не боялся Леденева, но и забыл о нем.

Что-то непонятное творилось на уборке. Что-то родное, как гармошка, святое, как Русь, и гениальное, как простота, совершалось на расчистке снега. И уже нельзя было понять, почему Павлушкин вдруг подошел к Скатову, обнял его и выдал:

— Всеки[1] мне, брат, а то я тебе всеку!

Однако мы забыли упомянуть об одном обстоятельстве. С последней пачкой Скатов расстался довольно болезненно, в муках. Но это были по-своему радостные муки; так роженица со стонами отторгает плод, выталкивает его из своего чрева, чтобы он стал Человеком.

Птица растрогался, но о статусе сержанта, однако, не забыл. Он подумал, что разрешение на что-нибудь повредит ему в глазах курсантов, поэтому беспрекословным тоном стал запрещать все, что можно.

Первым долгом Птица запретил всем работать. Потом сержант объявил, что на перекуре, который он объявляет, «Приму» никто курить не будет. Третьим долгом Птица сказал, что четвертует всякого, кто станет дымить сигаретой не из его пачки; на этом пункте сержант даже занервничал:

— Похороню того, кто откажется от моего «Святого Георгия».

---

[1] Врезать, ударить (сленг).

Мультик по доброте душевной заметил:

— Может, сперва уборку закончим, товарищ сержант?

— Я тебя убью, Мультипликация, — ответил Птица, но это «убью» прозвучало как суровое отеческое «люблю».

Артиллеристы присели возле сугроба. В темноте зимнего утра вспыхнули светлячки зажженных сигарет.

— Мне надо к земе в соседний бат слетать[1], — произнес Птица. — Павлушкин за старшего. Как кончите — дуйте в казарму.

Артиллерийское счастье уборщиков территории длилось чуть дольше полета пушечного снаряда. Как только сержант скрылся за поворотом столовой, так сразу перед курсантами вырос помощник командира батальона по артиллерии старший лейтенант Коганов. Солдаты побросали бычки, поднялись, вытянулись.

— Курить полюбили, малыши? — спросил Коганов. — Где сержант?

Молчание...

— Язык проглотили?

Нет ответа...

— Знаете, что ждет сержантский состав через десять минут, а вас — после отбоя?

— Товарищ старший лейтенант, он на пять минут отошел, — ответил Павлушкин и поднес руку к козырьку, как пистолет к виску.

— Фамилия сержанта?

— Не могу знать!

— Два наряда.

— Есть два наряда!

— Фамилия сержанта? Я все равно узнаю в батарее.

— Не могу знать!

— Четыре наряда. Кстати, со своим сержантом в наряды ходить будешь. Уже вижу, как он тебя благодарит.

Бабанов попытался вызвать огонь на себя. Он подошел к офицеру, нелепо козырнул, словно почесал голову, и почтительно произнес:

— Столько нарядов ведь не по уставу, товарищ старший лейтенант.

— А врать офицеру по уставу? Четыре наряда на пару с партизаном.

— Есть четыре наряда! Только Павлушкин не виноват. Я за старшего. А Павлушкин не виноват. Я ему запретил говорить.

— Павлушкин тебя боится, что ли?

— Так точно!

Коганов обратился к Павлушкину:

— Ты его боишься?

— Никак нет!

— А почему он говорит, что боишься?

— Меня отмазывает, — с недовольством ответил Павлушкин.

— Похвально. За круговую поруку обоим еще по наряду накидываю... Фамилия сержанта?

— Без понятия, — развязно ответил Павлушкин, желая, чтобы поскорее все закончилось.

— Как надо отвечать офицеру, курсант?!

Леденеву во второй раз за утро стало не по себе. «Знает же наши законы, старлей чертов, — подумал он. — И ведь согласен же с ними. Сегодня Птицу сдадим, завтра его самого заложим. Все время просит, чтоб Саркисян его до дома проводил. Вечно ему гражданские рыло чистят».

— Товарищ старший лейтенант, — сухо произнес Леденев, — я назову вам фамилию сержанта.

— Слушаю.

— Вы мерзавец, фамилия сержанта — Птица. Это не все. Сержант ушел в соседний батальон, а вы... тварь. Это еще не все. Птица ушел проведать своего земляка, а вы даже хуже, потому что заставляете Павлушкина делать то, что здесь презирают все. Даже такие, как вы. Но и это еще не все. Тронете Павлуху или Боба — стукану комбату. Да-да, стукану, — что смотрите? Начну закладывать так, что об алкоголе будете только мечтать, тенью вашей стану.

— Что?! — заорал Коганов. — Сгниешь у меня! — Старший лейтенант ударил курсанта в глаз.

Леденев отпечатался в сугробе, но подниматься не спешил. Он приложил снег к рассечению, оперся на локоть и, как ни в чем не бывало, занялся снизу опросом товарищей:

— Кто-нибудь что-нибудь видел?.. Ты, Бабанов?

— Нет.

— Ты, Павлушкин?

— Что-то сегодня глушит и слепит.

— Мультик?

— Я убираюсь вообще.

— Скатов?

— Да вроде нет.

— А че ты тогда лыбишься, Скатов?

— Я — нет. Я вообще серьезный.

— Ты в душе лыбишься, Скатов. Я вижу. Ты, наверное, подумал, что я — красный[2], а товарищ старший лейтенант...

— Ничего я не думаю, — перебил Скатов. — У меня вообще пусто в голове.

— Я убью тебя, если у тебя полно в голове.

[1] Батальон (арм. сленг).

[2] Стукач (арм. сленг).

— Я знаю.

— А я знаю, что у нас нет красных в батарее. И не будет! А синяк — это я в умывальнике поскользнулся. Потому что скользко. Вечно дневальные воды пональют, и мы падаем... Какие будут приказания, товарищ старший лейтенант?

— Занимайтесь.

Леденев поднялся рывком и бросил:

— Глушит, что ли?! Занимаемся!

Взгляды Коганова и Леденева пересеклись и за три секунды наговорили друг другу с три короба.

— Остаешься за старшего, — приказал проигравший офицер победителю-курсанту и понес руку к козырьку.

Увидев движение Коганова, Леденев рванул ладонь к шапке с такой скоростью, с какой спринтеры уходят со старта. Рука курсанта взяла под козырек на долю секунды быстрее руки офицера. Это была еще одна маленькая победа, великодушно отданная побежденному на финише.

Спустя две минуты после ухода старшего лейтенанта Коганова на горизонте появился пехотный прямоугольник, площадь которого сразу стали вычислять артиллеристы. «Высота — три человека, — прикидывали они. — Ширина — десять человек. Площадь равна десятью три».

— Их тридцать, — обратился Павлушкин к Бабанову. — Рослые, сука. Гориллы. Гранатометный взвод на уборку кинули.

— Тридцать один, — поправил Бабанов. — Сержика забыл посчитать.

— Нас меньше.

— Как всегда.

— Слышишь, как шаг ломают?

— Ага, не к добру. Если бы нас в поле зрения не было, я бы сказал, что они попросили сержика ноги разогреть, но сам понимаешь.

— Встряли, короче, по полной.

— И не слиняешь ведь. Впереди — махра, позади — сержики наши. Хошь не хошь — полезай в герои.

— Тоже мне герои... Я вот, например, до сих пор не догоняю, храбрые мы или нет.

— А ты, Павлуха, крысу в углу зажми. Вот тебе ответ.

Тут Леденев подошел к Павлушкину и Бабанову и сказал:

— Делаем коридор, интервал друг от друга — пошире, как будто мы не дрейфим, но и не провоцируем.

— Ну ты и стратег, Кутузов отдыхает, — покачав головой, заметил Павлушкин и обратился к Бабанову: — Теперь точно — дураки России посмертно.

— Хоть не пожизненно, и то плюс, — кисло улыбнулся Бабанов.

Целенаправленная беззащитность, сконструированная артиллерией, озадачила старшего сержанта пехоты Толканова.

«Как будто не видят, кто идет», — подумал он и приказал своим:

— Четче шаг, обезьяны! Крошить асфальт, а то пожрете у меня сегодня!»

Никакого внимания со стороны артиллерии.

— Дорогу махре, пидоры! — сорвался на крик Толканов. — Че, не видите, кто идет?! Смерть ваша идет, пидоры!

Получив пощечину, артиллеристы ватно-вяло сообразили коридор для пехотинцев; мол, не боимся, а с численностью неприятеля только остолопы не считаются.

Проход, организованный фейерверками, получился узким. Каждый инстинктивно хотел быть ближе к товарищу напротив.

— Уважайте себя, сколько вам будет угодно, — как бы говорили равнодушные лица артиллеристов. — Хоть до посинения. Мы вам в этом не только не препятствуем, но и помогаем по возможности, хоть нам до вас никакого дела нет.

Двоякое чувство было у Толканова от поведения артиллеристов. Они вроде бы и не проигнорировали его приказ, несмотря на то, что курсантам строго запрещалось подчиняться чужим сержантам, и в то же самое время своими неторопливыми действиями дали ему понять, что он всего-навсего незваный гость, которому с холодной вежливостью угождают хозяева положения.

«Как для зэков проход, а эти, типа, охрана по бокам», — вспомнилась Толканову отсидка по малолетке, и он заорал:

— Шире, пидоры!!!

Он хотел крикнуть «шире коридор, пидоры!», но от бешенства забыл вставить слово «коридор». Приказ отдавался артиллеристам, но это поняли только умные пехотинцы, которых в колонне было ровным счетом восемь.

Остальные курсанты махры отнесли команду старшего сержанта на свой счет. Они решили, что Толканов хотел крикнуть «шире шаг, пидоры!», поэтому выбросили левые ноги вперед так, что чуть не сели на шпагат.

Неточная команда привела к сумятице в колонне пехоты. Шеренги смешались. Бравый прямоугольник за секунду превратился в жалкий овал, и какая-то овечья отара устремилась в артиллерийский даже не коридор, а прямо неосвещенный тоннель, потому что в глазах курсантов махры

потемнело от страха перед сержантом и опасной близости фейерверкеров.

— Овцы тупорылые, — в гневе закричал чабан на отару и пошел месить ее ногами. — Выровнять шеренги! — Вдоволь попинав паству, пастырь стал разоряться в адрес артиллеристов: — Че уставились?! Вам команда была, а не им! Шире коридор, обезьяны! — И он в сердцах зарядил пыром под зад какому-то комолому барану.

Артиллеристы, сочувственно вздохнув, покачали головами в адрес пехотинцев (мол, вишь, как у махры, всегда все через одно место) и сделали три шага назад.

В середине артиллерийского коридора пехотинцы остановились по приказу Толканова. Старший сержант стал мельничной работой рук стирать нелепый овал, который представляла собой колонна. Ластиком он был отменным. Под его ударами махра валилась на припорошенный снегом асфальт. Стерев овал, Толканов одним предложением «становись!» вновь нарисовал прямоугольник.

— Отряхнуться! — крикнул старший сержант, и уже через минуту колонна окрасилась в уставной цвет хаки.

«Снег притоптали, — наблюдая за пехотинцами, думали артиллеристы. — Ладно, че теперь, лишь бы поскорей свалили».

Толканов подошел к Павлушкину. Илье надо было опустить глаза и молчать, но он по деревенской наивности не выдержал и без задней мысли ляпнул:

— Мы вот вчера тоже шаг сбили, так гуськом потом по плацу наворачивали.

«Вот гнида-то, — подумали пехотинцы. — Намекает сержику, что и с нами так надо».

Однако Толканову показалось, что в словах Павлушкина все-таки присутствует задняя мысль-издевка.

— Ты че, душара, учить меня вздумал?! — взбеленился старший сержант. — Мне вообще до фени, как вас, уродов, наказывают! Я делаю так, как мне надо, всосал?!

— Так точно.

— Совсем вас, сучар, расслабили, — подвел итог Толканов и поставил Павлушкину подсечку.

«Что-то я, в натуре, не то сморозил», — подумал упавший на живот Павлушкин и грустно улыбнулся асфальту перед лицом.

И тут случилось страшное. Все пошло прахом для артиллерии.

— Вспышка слева! — ехидно улыбнувшись, крикнул Толканов.

Пехотинцы по команде бросились направо, в сугроб, и помяли геометрическую фигуру из снега, которую всю уборку лепил Павлушкин с товарищами.

— Суки-и-и! — взвыл Илья. — Батарея — к бою! — И он первым ринулся на пехотинцев.

Соотношение сил на территории изменилось в пользу артиллеристов. Пехотинцев было все так же — тридцать человек плюс сержант, внешне очень похожий на человека. Если бы не Павлушкин, в которого вселился легион бесов, то и численность артиллеристов осталась бы прежней. Однако вселился, и штат фейерверкеров сразу раздулся до бюрократических размеров. К сожалению, автор не знает, сколько солдат насчитывает такое воинское формирование, как бесовский легион. Черт знает, сколько, наверное; у него и надо спрашивать.

Вскоре разошедшийся в драке Павлушкин стал напоминать будду, потому как его руки были всюду и везде. Илья как истинный антифашист карал пехотинцев, не разделяя их по национальному, территориальному и конфессиональному признаку. От его активных действий досталось трем правоверным мусульманам из Татарстана, парочке православных пензяков и язычнику-якуту, свято верившему в то, что если обтянуть шаманский бубен кожей из артиллеристов и ударить в него сто раз, то на гражданке ему обеспечено расположение добрых духов.

Артиллеристы, в момент превратившись из защитников Родины в нападающих, ринулись в сугроб вслед за Павлушкиным и набросились на лежавших пехотинцев со страстью изголодавшихся любовников. И только не вооруженному ни гаубицей, ни хотя бы штык-ножом глазу гражданского человека могло показаться, что царице полей пришел конец. Наверняка так бы и случилось, если бы боги войны дрались в состоянии аффекта до конца. Однако в середине сражения в головах у артиллеристов возобладал антисуворовский здравый смысл, говоривший, что пехотинцев реально больше.

Мультик первым восстановился умом. От пинка одного гранатометчика он слетел с другого гранатометчика, но вместо того чтобы атаковать уже двух врагов, он свернулся на снегу в клубок, прикрыл голову руками и стал ждать расправы. Стимулируемые ударами пехотинцев, артиллеристы один за другим начали следовать благоразумному примеру Мультика, надеясь на то, что их немного побьют и оставят в покое.

Однако на всякий десяток адекватных людей всегда найдется три психа, которым все нипочем. Читателю, быть может, приятно будет узнать, что ненормальными оказались Павлушкин, Леденев и

Скатов. Они разыскали друг друга в свалке, вооружились ремнями и построились в треугольник, который быстро стал Бермудским, потому что все пехотинцы, соприкасавшиеся с ним, теряли от боли ориентиры в пространстве и куда-то пропадали. Когда очередной курсант царицы полей, ужаленный ядовито-зеленой бляхой Леденева, скуля, завертелся волчком, Толканов не выдержал:

— Все! Строиться!

Пехотинцы с недовольством строились в колонну. Артиллеристы, угрюмо посматривая на противников, поднимались с земли.

Толканов направился к Павлушкину, Леденеву и Скатову, чтобы лично засвидетельствовать им свое почтение. Ремни, извивавшиеся в руках троицы опасными кобрами во время драки, с приближением старшего сержанта стали безвредными червями. Павлушкин, Леденев и Скатов были настоящими мужчинами, которым было хорошо известно, что сержанты как женщины; их нельзя трогать даже пальцем. Гордые и невозмутимые, курсанты в ожидании расплаты играли в цветик-семицветик.

— Убьет, — произнес Леденев.

— Не убьет, — сказал Павлушкин.

— Убьет, — выдал Скатов.

— Не убьет, — передумал Леденев. — Уважает.

— Убьет, — изменил мнение Павлушкин. — Из мести.

— Не убьет, — раздумал Скатов. — Посадят.

— Убьет, — оторвал последний лепесток Павлушкин.

Толканов смело подошел к Бермудскому треугольнику и тремя хуками справа сделал его безопасным для судоходства. Сила сержантских ударов была довольно слабой, но курсанты вдруг сделались само благоразумие и, как злодеи в индийских фильмах, картинно полетели вверх тормашками.

«Неплохо приложился», — с гордостью подумал Толканов, но вдруг усомнившись в своих силовых качествах, посмотрел на пехотинцев.

— Мощно!.. Так им!.. Поубивали прямо!.. Знай наших!.. Вы Тайсон, товарищ старший сержант! — угодливо загомонила махра, а про себя подумала: «Фальшивки у тебя, а не руки, если в них табурета нет... Ноги у тебя — это да, а руки так — ручонки детские; да и ноги у тебя так себе, кирзачи любым ногам погоду сделают».

— Добивать, значит, не будем? — расплывшись в самодовольной улыбке, спросил Толканов.

— Так-то, конечно, сами теперь сдохнут, но лучше с контрольным, — тактично заметил один из пехотинцев, и товарищи наперебой стали поддерживать его: «Надо бы, товарищ старший сержант!.. Лишним не будет!.. Они, суки, живучие!.. А то мы сами можем, чтоб вам руки не марать!»

— Крови вам мало, что ли? — удивился Толканов, и голос его постепенно начал набухать злостью. — Или я че-то не понял?! Может, кто-то считает, что я их погладил?! Что я недостаточно приложился?! Может, кто-то думает, что я их пожалел?! Или даже боюсь их?! А вдруг меня бляхой, как вас, а?! Или напомнить, как три обезьяны вас как детей уделали?! Или че?!

— Никак нет!!! — рявкнула пехотная колонна, лаконично ответив на все вопросы разом.

Тем временем три артиллериста катались по земле, но не из-за того, что хотели дать Толканову окончательно утвердиться в роли супергероя. Просто они переиграли с показухой и действительно больно шлепнулись.

Леденев при падении сильно ушиб оба локтя, но грызть их было уже поздно, и он отыгрывался на снеге, хватая его как загнанный волк.

Скатов принимал страдания от копчика; парень непременно схватился бы за мягкое место обеими руками, но боялся насмешек в свой адрес. И смех и грех, читатель. Только тот, кто ронял мобильный телефон в сортир, сможет понять муки Скатова. Словом, и хочется, и колется.

Павлушкин упал удачно, но почувствовал себя виноватым, когда услышал рядом с собой приглушенные стоны Леденева:

— Павлуха-а-а, локти-и-и... Локти отбил — не могу-у-у.

Странен наш человек донельзя. Может, и поможет когда попавшему в сложную ситуацию, но чаще скажет, что, мол, не расстраивайся, мне сейчас хуже, чем тебе. Павлушкин был нашим человеком через край, поэтому не только сказал, что мне сейчас хуже, чем тебе, но и показал. Собравшись с духом, он незаметно нанес асфальту удар носом и обратился к Леденеву:

— Мне Толкан ваще нос сломал, кровь вон как хлыщет.

И обоим курсантам сразу стало легче.

Минут через пять на территории появился комбат.

— Сынок! — тихо-тихо позвал он Павлушкина, но под ногами у артиллеристов все равно заходила земля, как это бывает, когда где-то там, вдалеке, грохочет орудийная канонада. — Че за срач у вас тут? И почему звезда на твоей шапке не в шары мне светит, а вбок?

— Сбилась в работе, товарищ подполковник, — поправив шапку, ответил Павлуш-

кин. — А то, что сугробы разворочены, так это мы делали-делали и решили просто, что надо все порушить и заново переделать... Чтобы качественно.

Павлушкин любил и уважал комбата как родного отца, но все равно врал ему и не находил в этом ничего зазорного. А как иначе?! Отец ведь всякую сыновнюю пакость близко к сердцу принимает.

— Врешь, сынок. Скажи, что врешь, тогда причину спрашивать не стану.

— Вру, товарищ подполковник, — преданно посмотрев в глаза офицеру, признался Павлушкин и зачем-то добавил для убедительности: — Нагло вру.

— Ну, злодеи! — довольно усмехнулся комбат. — А сержант ваш где?

— Он, это... в туалет отлучился. По большой нужде. Живот, сказал, прихватило. Понос, видать.

— Неужто съел чего?

— Грибы, сказал, мать прислала. От грибов, видать.

— Да ну.

— Больше не от чего, товарищ подполковник. Оно всегда так: насобирают в лесах всякой дряни, а потом травятся... Сказал, что прямо днище отрывает.

— Это он, сынок, вам наврал. Отрывало бы днище — он бы в родной батальон побежал, дотуда ближе. А он рванул в соседний.

— Может, отпустило по дороге? — неподдельно удивился Павлушкин. — Оно так бывает. Сперва прихватит, а потом вроде ниче, терпеть можно... Он по-любому за таблетками в соседний батальон побежал, чтобы повторного приступа не случилось. Птица всегда на упреждение работает.

— Сыно-о-ок, — погрозив пальцем, сказал комбат.

— Вы же знаете, почему я так, — понурил голову Павлушкин. — Всю жизнь ведь с нами.

— На войне тоже меня дезинформацией кормить будешь?

— Никак нет!

Сказав это, Павлушкин поглядел в ту сторону, где, по его мнению, находилось родное село. Взгляд его подернулся патриотической дымкой. В мыслях он уже командовал гаубицей «Д-30», потому что командир орудия, сержант Кузельцов, был, конечно, убит, а наводчик Герц, который должен был первым замещать командира, неопасно для жизни ранен. Павлушкин и холм в Шушенском выбрал, с которого стрелять по неприятелю было наиболее удобно.

— Илюшенька, солдат ты наш родной, — как будто голосили женщины, старики и дети, — оборони нас, кроме тебя некому!

А Павлушкин как будто отвечал им со своей стратегической высоты:

— А ну разойдись по погребам, поубивает к чертям!

Между тем защищал Павлушкин не родное Шушенское, а Иваново, потому что из-за слабой географической подготовки глядел не туда, куда хотел. Невесты из этого города даже не подозревали, что кто-то мысленно кладет за них жизнь.

— Очнись! — похлопав Павлушкина по плечу, произнес Бабанов. — Комбат свалил.

— Как свалил? — встряхнув головой, спросил Павлушкин. — Куда?

— Куда, куда — туда! А мы, короче, забили[1] на работу. Достало все.

Павлушкин осмотрелся. Его товарищи сидели на земле, обняв колени, опустив головы. Только Леденев, оставленный за старшего, бестолково суетился с лопатой возле помятого сугроба.

— А че?! — сказал Павлушкин. — Не будем сугроб выправлять, хрен с ним! Как в располагу придем — огребемся конкретно, зато будем знать за что! А сугроб — хрен с ним! Все сегодня будут проходить мимо и базарить: «Смотрите, артиллерия залупилась[2]! Красавчики!.. О, а че это Павлушкин с Леденевым тут ошиваются?! На фига сугроб чинят?! Все ж залупились, а они че?! Наверно, жопу кому-нибудь лижут!» А мы с Леденевым будем отвечать: «Мы против всех восстали, а сугроб не виноват! Он, урод такой, нам глаз не радует! Он наше эстетическое чувство коробит, как Герц не скажет! Для сержантов делаем?! Нет! Для комбата?! Да пошел он в данном конкретном случае! Для Путина?! Пусть катится вслед за комбатом! А мы тут для себя! Чтобы, может, один раз за день тут пройти, мельком на сугроб взглянуть и... жрать от такой лепоты, слепленной самолично, перехотеть! А, Леденев?!»

— Ну, не знаю насчет «жрать».

— А я тебе говорю, что я уже перехотел! Бабанов, завтрак — твой! Мультик, обед разделишь со Скатовым!

— А ужин кому? — спросил Оконешников.

— Ужин отдай врагу! — понесло Павлушкина. — Махру какого-нибудь угощу! Вот охренеет-то! Я от его удивления еще больше жрать перехочу! Нет, курить перехочу! Все курево махре раздам, чтобы перехотеть спать!

---

[1] Не желать что-либо делать, игнорировать (сленг).

[2] Восстать (сленг).

Потоки курсантского смеха, выброшенные из легких, породили ветер. Солдаты поднялись, разобрали инвентарь, и под звездным небом закипела такая работа, что через некоторое время Павлушкин даже стал окорачивать товарищей:

— Без кипежа[1]! Уйми трудовой зуд! Не за тарелкой бигуса сидите!

Снежный параллелограмм поднялся за бордюром дороги быстро. Команду Леденева «строиться!» курсанты проигнорировали. Павлушкин, Бабанов и Мультик прохаживались вдоль сугроба, подтесывали шероховатости и совещались.

— Может, увеличим стену? — предложил Бабанов. — Я за дополнительным снегом к соседям сгоняю.

— А потом можно кирпичи на стене вырезать, — расширил идею Мультик. — Как будто из кирпичей стена будет.

— И снеговиков на стену, — углубил идею Павлушкин. — Как будто часовые. Только носы не из морковки надо. Пацанов нехватка долбит[2] — сожрут. Из сосулек надо. На крыше бани насшибаем.

В творческом экстазе мастера хоть и помнили о времени, отведенном им на уборку, но были готовы пожертвовать им ради искусства. После возвращения в казарму неуставной сугроб грозил артиллеристам неприятными последствиями, но этот факт никого из парней не пугал.

Однако пострадать за искусство не так-то легко, потому что этому постоянно мешают птицы низкого полета.

— Строиться! — крикнула вернувшаяся в родные края Птица, синяя в районе правого глаза. — От комбата огребся! В темпе!

Продолжение следует.

[1] Суета (сленг).

[2] Мучиться от голода (арм. сленг).

Анатолий ЮРКОВ

Анатолий Юрков, известный советский и российский журналист, публицист и писатель, публикуется в «Юности» не первый раз. Еще работая в «Комсомольской правде», он ввязался, с легкой руки Владимира Чивилихина, в длительную и, как оказалось, бесконечную тему охраны озера Байкал, сбережения великого озера от алчных рукастых чиновников. И от нас самих.

«Юность» (№ 8 за 2013 год) опубликовала его заметки (очерк) «Байкальские обманки на высшем уровне» — о продолжающихся пустых потугах правительства решить байкальскую проблему. Публикация оказалась «в руку», и на том уровне затрясло. А через месяц, 13 сентября того же 13-го года, вышло правительственное постановление: остановить и закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК). К тому году каждое уважающее себя издание, в том числе и правительственная «Российская газета», били в одну цель: Байкалу — быть. БЦБК — нет! Те публикации и полувековая борьба общественности за спасение Байкала вроде поставили последнюю точку...

Нынче А. Юрков — обозреватель «Российской газеты», активно пишет и печатается. Он лауреат премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России» — за книгу «Байкальская молитва».

...Пред именем твоим, или Застолье с Валентином Распутиным после книжной ярмарки

Эх, жизнь-самокатка, катится-то сама, да не барыней ты сидишь в ней, понукающей весело солнышко в небе, а по камням, по грязи и иному бездорожью тобою же продирается след, оставляя непоправимые раны.

Валентин Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана

Перед тем как сесть за стол писать эти заметки, несколько дней я отбивался от строф, всплывших в памяти и зудящих, как зубная боль. Так с памятью бывает.

Она на барском поле жала,
И тихо побрела к снопам.
Не отдохнуть, хоть и устала —

А покормить ребенка там.
В тени лежал и плакал он...

Чьи это строки? Помнил, что они из школьной программы более чем полувековой давности... Догадывался, что вызвало их в памяти и по какому поводу. Внук спросил, что означает слово «жать».

— Посмотри у Владимира Даля, том первый.

— А сам навскидку не помнишь?

— Ну что ж. Раньше *жали* пшеницу, рожь, когда они созревали. Жали вручную, серпом. Знаешь про серп?

У внука — рот до ушей:

— Серп и молот означали союз рабочих (молот) и крестьян (серп). Вместе с красной звездой они были на красных флагах СССР.

— Молодец.

— Не, дед. А как *жали* серпом-то?

— В войну, когда лошадей уже не было, рожь, пшеница поспевали — и вот-вот начнут осыпаться, терять из колосьев зерна, женщины вооружались серпами и шли в поле *жать* хлеба. Мама, скажем, левой раскрытой ладонью захватывала пучок стеблей, сжимала, а правой подрезала эти зажатые стебли серпом, внутренней его режущей (острой) частью. Срезав, клала пучок на землю и захватывала следующий. Потом, когда таких пучков набиралось штук десять-пятнадцать, из них вязали снопы. Сама эта работа и называлась «жатва», от слова «жать». Рожь и пшеницу надо было срезать под корень, женщина за рабочий день нагибалась и распрямлялась несколько сотен раз. Если не тысячу. «Я молода жинала по сту снопов в день», — приводит пример В. Даль.

— Ничего себе, — сказал внук. — Выходит, войне кланялись.

— Лучше сказать, своей земле-кормилице.

После этого нашего разговора и начали вылупляться из памяти, как птенчики из скорлупы, слово за словом, строчка за строчкой те стихи. Память их выправляла, укладывала по смыслу, по рифме...

Но чьи стихи — А. Некрасова? А. Кольцова? Никто из моего окружения не мог мне помочь — и с недавним университетским образованием, и гуманитарии широкого профиля. А мне нужно было почему-то знать, иначе не писалось. Мысль соскальзывала на это барское поле. Компьютер дал ответ за три минуты — «Жница» Тараса Григорьевича Шевченко, — извлек из бездонного чрева его памяти мой коллега Юрий Макарцев. И прочитал мне все пять четверостиший (по памяти, не заглядывая в шпаргалку), которые оставил нам для раздумий великий кобзарь украинского народа, много писавший на русском языке. И который был в школьной программе в Советском Союзе. По крайней мере с сороковых годов. Тогда к нам в начальную школу привезли учебник по новому предмету — «Родная речь» — в одном экземпляре. Там была и картинка к этому стихотворению — жница со снопом пшеницы на плече. Рисунок — тоже Тараса Григорьевича Шевченко.

И как же нам быть теперь со своей памятью — ждать, когда чернь за Днепром угомонится? Но вот ведь память наша что-то может и забыть, и выбросить за ненадобностью, но в тайниках своих укрыть, сберечь и сохранить дорогое, сердечное, вечное. И наградить тебя в один прекрасный день.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА, ЯБЛОЧКО НА БЛЮДЕЧКЕ

...Так счастливо совпало, что на невеликом стенде своего издательства нашел для нас местечко Георгий Пряхин — Валентин Распутин издал у него в «Воскресенье» свою последнюю книгу, а я — первую, байкальскую. Кто из нас больше радовался по этому поводу, мы не выясняли — радовались встрече. А сперва, оказавшись на пятачке — лишь бы не отдавить кому ноги, я больше чем удивился появлению Валентина Григорьевича собственной персоной в сопровождении Виктора Кожемяко, своего соавтора в «Диалогах о России», человека мудрого, пожившего и повидавшего журналиста и писателя.

— А это Юрков Ана... — стал представлять меня Пряхин.

— Кто ж на Байкале не знает Юркова, — весело перебил его Распутин. — Мне о нем еще Володя Чивилихин говорил.

Я был несказанно рад этой встрече. А Пряхин усмехался в усы: он-то знал, что Распутин придет на встречу с читателями. Не упустит.

— Ну да, — кивнул я на тесноту нашего пятачка, — а к кому это очередь за автографом выстроилась, бьет копытом...

Первым в этой очереди переминался с ноги на ногу журналист нашей «Российской газеты», прижимая к груди одной рукой, левой, книжку Распутина, а другой подавая мне знаки: ну не отвлекай ты его... И такое у него было выражение лица при этом: мол, пока он, классик, здесь, не исчез, не растворился без следа, не испарился как святой дух — ну не держи ты его, не отвлекай... Пусть подпишет мне эту книжку — и тогда бери, он твой.

Валентин Григорьевич, похоже, заинтересовался, с кем это я общаюсь через его голову, и обернулся: так он попал в полон к своим читателям и почитателям.

Мы занимались каждый своим, пока Пряхин не прекратил его заманчивым предложением:

— А не перейти ли нам к пище земной?

— Если путь туда недалек.

— Далек — не далек: был бы полон кошелек.

Так, балагуря на аппетитные темы, мы оказались за столом в предвкушении неизбежного тесного общения. Тем более что он уже ожидал нас салатами, закусками и заманчивым блеском бокалов.

ТОРГИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Нельзя перед человеком кривить душой. Особенно если она у него искренняя до слез. Про таких говорят: слезами омыта.

Тем более перед его памятью.

Валентин Распутин ушел от нас, так и не приняв новую российскую действительность, какая начала кучковаться в 90-х годах. Он не был к ней равнодушен и не был молчуном. В последнем своем крупном произведении «Дочь Ивана, мать Ивана» он напрочь отверг спекулятивный характер ценностей, нравственных ориентиров, подштукатуренных непривычным для русского уха словом «толерантность», которые нам навязывают, предав анафеме целомудренность и как явление русской глубинной жизни, и как признак высокой литературы. И культуры. Нет, он честно дожил в ней свои годы и дни — свой срок! — как врачеватель мудрый, тонкий, неторопливый и основательный, поставил ей диагноз, весьма отличный от тех, которые ставили ей придворные лекари и его, Распутина, давние коллеги-приятели. Жаждущие быть замеченными. Он даже осудил некоторых, когда узнавал, что они плясали на останках поверженных кумиров под неправые залпы перекрестного пушечно-ружейного огня, не прощая плясунам за их талант, который уж никак не должен был отдан добровольно в прислужники эмоциям...

Когда делят власть, чтобы властвовать над великой страной, попавшей в переплет со своим народом, а не помочь ему выжить в лихую годину; когда делят людей на «наших» и «ненаших», чтобы разобщить нас, воспитанных и привыкших жить гуртом и вместе искать ответ: а почему мы должны служить властям, которые делают народ нищим и душой, и кошельком? В конце концов, кто кому служит? Это несправедливо и не по-божески, когда несколько таких «слуг» контролируют экономику всего своего народа.

Оценку происходящему в России Валентин Григорьевич сделал для себя, размышляя над происходящим вокруг.

«Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основании человеческой жизни, что мир устроен *равновесно* (с чем никак не соглашался его единомышленник по Байкалу академик Михаил Грачев. — *А. Ю.*) и сколько в нем страдания, столько и утешения, сколько белого дня, столько и черной ночи. Да впереди всегда маячил плотный берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал, уплыл, как мираж, отодвинулся в бесконечные дали. И люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы...»

Кого винить в происшедшем? Тех, кто по групповому сговору пришли к власти, и теперь, когда стало всем очевидно, что новая власть беспомощна, глупа и плохо образована и натаскана для такого грандиозного дела, как управление великим тысячелетним государством, а советники из заморского обкома своекорыстны и вовсе не советники, а спецы по разноцветным революциям, цель которых — поработить народы, приторочить их к своему колониальному сапогу, — кто и зачем их звал к нам-то? Уж если новоделы так размашисто отказались от своих кумиров, выставив память о них на публичные торги, зовущиеся по-ихнему аукционами, то продать каждого из нас — что сдачу отдать нищему — не перехрянут.

БОДАЛСЯ БАЙКАЛ С НАЧАЛЬНИКАМИ

Разговор за нашим столом не мог проплыть мимо Байкала.

Чин чином, первый тост за Байкал, чтоб ему всегда чисто было.

За народ, который остается русским народом до конца, верным своему Отечеству, как бы его ни поносили наши недруги.

— А как вы, Валентин Григорьевич, относитесь к Солженицыну?

— Тут интересен один момент: Солженицын, отказавшийся от награды Ельцина, — патриот, а Распутин, принявший премию от Солженицына-патриота, — отступник и предатель. Это у одних, умеющих заблудиться в двух соснах.

— Бывает.

— Я не о том: бывает, что и кочерга летает. Не настолько мы сильны и богаты и не настолько умо-

помрачение, как партийная дисциплина, стеснило наши взгляды и вкусы, чтобы не признавать Солженицына-художника и Солженицына-мыслителя. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но помнить слова Достоевского: «Дьявол с Богом борются, и поле битвы — сердца людей». Это вечное.

— Вы, Валентин Григорьевич, принуждали Путина к Байкалу?

— Принуждал или не принуждал... — пожал плечами Распутин. — Но когда мы плыли по Ангаре и остановились в Кодинске, рядом с которым сооружается Богучанская ГЭС... Могучая Ангара здесь сплошь в чудо-островах, на которых не просто лес, а считай, тайга на километры и километры. Да леса, еще более могучие по берегам Ангары. И если в моих родных местах, когда строили Братскую и Усть-Илимскую ГЭС, леса ушли под воду наполовину и десятки лет после заполнения водохранилищ деревья торчали по берегам из воды... Потом их вымывало и таскало по нашим рукотворным морям... тоже годами... Все берега — не подойти и не подъехать — забаррикадировало мертвыми деревьями... Что же будет тут, у Богучанской ГЭС? Я позвонил из Кодинска Владимиру Владимировичу, попросил о встрече.

— Он не удивился звонку?

— Нет. И теме разговора не удивился. Путин, можно сказать, спас Байкал от грозящей ему беды, когда принял решение отодвинуть нефтяную трубу по берегу Байкала на безопасное расстояние. Почитайте в «Российской газете» тех дней хронику событий по Байкалу — все поднялись в его защиту, даже министры. Мы того решительного поступка с дальновидными последствиями не забыли и не забудем.

Он согласился встретиться со мной. Встретились на Байкале. Я начал с того, что припомнил слова Солженицына о главной задаче власти — сбережении народа. А сбережение народа — это не только обеспечение его работой и прожиточным минимумом, но и сохранение России в ее нравственном, духовном и культурном обликах, в сохранении природы — матери народа.

Путин не перебивал меня, но только до той поры, пока я не заговорил о Богучанской ГЭС, о том, нет ли возможности если не прекратить ее строительство вовсе, то хотя бы отказаться от отметки верхнего бьефа. Уже поздно, ответил Путин. А что касается следующей гидростанции на Ангаре, Нижнеангарской, по ней еще нет окончательного решения...

А буквально через неделю после этой нашей встречи грохнулась Саяно-Шушенская. Конечно, это случайность, что трагедия случилась после нашей встречи. Но какая-то назидательная, что ли, случайность...

Он повертел в руках мою книжицу. Прочитал вслух название: «Байкальская молитва». Сказал:

— Кто-то до нас помолился за Байкал. Чтоб мы не охальничали с ним. И его молитва дошла до Бога.

— Вы верите в Бога? — спросил Александр Иванович, не очень разговорчивый генерал под псевдонимом, который у одного на самом верху служил то ли советником, то ли консультантом по самым деликатным вопросам.

Распутин метнул по нему взглядом:

— Я верю в русскую душу. Сколько она перемогла, пока Байкал врачевал над своей водицей, а не сошла со своего русла, как ее ни мытарили. Говорят, вернулась к своей вере. А она ее и не те-

Фото Игоря Курашова

ряла, не расставалась с ней. Потерять веру — потерять все. Вера в народе оставалась всегда, как бы ее из него ни выжимали.

Мы выпили за русский народ, за его веру и будущее.

Подняли рюмки за Распутина, совесть русской литературы, но к предложенному тосту он попросил оговорку:

— Ничьей совестью я не хочу быть, дай бог со своей поладить. Но что пишу я для своего народа и всю жизнь служу ему своим словом — от этого не отказываюсь.

Мы выпили и за него.

Был тост и за нашего издателя — тут еще раз попросил алаверды Валентин Григорьевич.

— Вот эту свою последнюю книжку, которую мы делали вместе с Виктором Стефановичем Кожемяко, и которая увидела свет только благодаря «Воскресенью», я тоже пригублю.

— А что так?

— Никто не хотел печатать, — хмуро сказал Кожемяко.

— Да почему же?

— Нелицеприятная она для властей.

— Для того чтобы заработать лицеприятную, надо любой власти поработать в поте лица, извините за нечаянный каламбур.

Мне его простили.

— Я одного боюсь, — сказал Распутин без нажима, — перерождение в народе совершается быстрее, чем предполагалось.

Наступила тишина.

Я потом найду то место о перерождении в «Матери Ивана, дочери Ивана» и пойму, до каких глубин души беспокоила Валентина Григорьевича эта не теоретическая проблема.

БОЛОТЦЕ С ЛЯГУШКОЙ, ДА ЖИЗНЬ — ВЕКОВУШКА

У людей, обдумавших свое житье, все получается к ладу, как любовь с первого взгляда. У Распутина, в его густонаселенных произведениях, живет много разного люда, удачливого и не очень, но у него нет среднего. С кем он имеет дело на своих страницах, люди, отмеченные Богом. Не из колоды карт. И в жизнь они вкладываются, а не втискиваются, хозяевами на своей земле. И, повторюсь, у каждого своя метка.

«Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий, выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узенькой лентой, а утюгом, — было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матере близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой. Подмога — понятно: чего не хватало на своей земле, брали здесь, а почему Поднога — ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку известно, чем чудней, тем милей», — объясняет нам автор, какие сметливые люди положили свой глаз на здешние, природой вынянченные места. Бог послал людям райский уголок, а пришельцы со славянских дальних земель этот божий посыл приняли, уловив в совпадении этих встречных желаний свою благословенную судьбу. А если еще постучаться дальше в свое прошлое, то повеет байкальским баргузином, прожурчит ангарским потоком мимо Шаман-камня, тряхнет плоскодонку откатной волной.

И если б не цивилизация со своей электрификацией, жить Матере еще века да века: тайга, лес, зверь, рыба, тугой хрусткий воздух, как кусковой байкальский лед, — и все это твое исконное Отечество по рождению и наследству.

К ладу и к кладу ведет повествование Распутин: если где человеку живется хорошо во взаимоуважительном контакте с природой века и века, зачем же «улучшать» это состояние, не просчитав процесс улучшения хотя бы на половину срока вперед?

В произведениях Валентина Распутина люди живут по берегам рек, озер, чаще породненные Байкалом. Нет, Валентин Григорьевич — не таежный лесовичок, он и по заграницам ездит, за Байкал и там ратует, он и член Президентского совета первого и последнего президента СССР: пытался и там не просиживать то место, не протирать штаны, а воевать. Но однажды заметил, что патроны на ту войну выдают ему холостые, чтоб больше шума, дыма и вони...

Тихо ушел. Не мое это — сказал он себе. И нечего время терять. Никто и не услышал, не заметил, не спохватился за митинговым гвалтом, к а к о й человек, какой мыслитель разочаровался, разуверился в грядущих переменах, замечая, куда их клонит. Но за Байкал продолжало сердце щемить... Заступись ныне за обиженного пастуха — коровы мычать не станут. Не то что районный суд... Нет в лексиконе больших политиков слов «пахать», «токарь», «слесарь», «штукатур», «ткачиха»... Да и с чего им быть. В дележке нажитого народом, ставшего вдруг «ничьим», хапнули «по потребности», вдоль Рублевки вы-

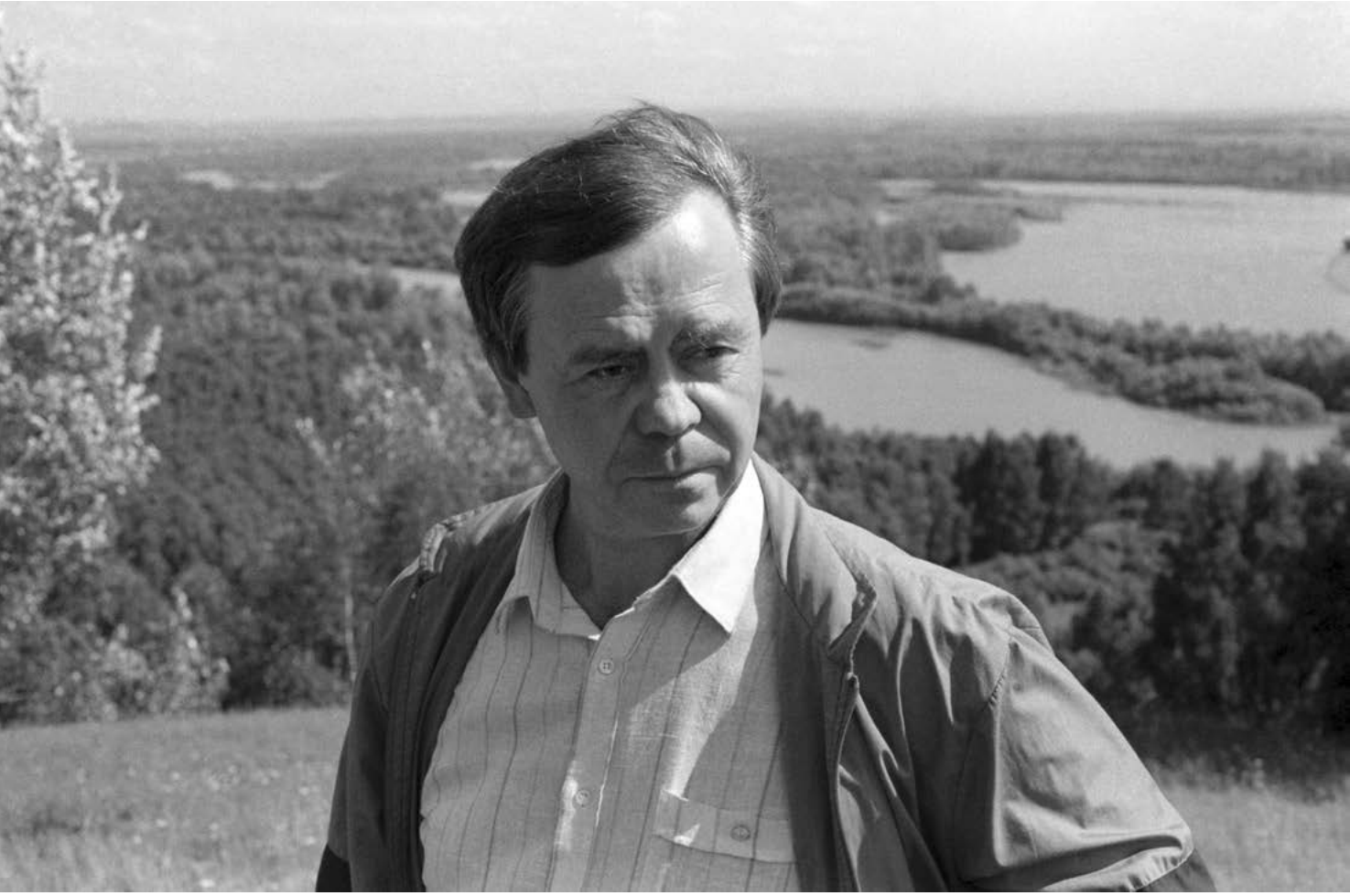


Фото Игоря Курашова

росли дворцовые резервации... Те «рублевки», как в свое время «черемушки», обособились во всех весях — отгородились от распутинского народа, его подчас и за людей не считают. Подумаешь, полгода, год зарплату, пенсии не получают — но ведь живут же. До чего дошло: пенсии работающим пенсионерам — ветеранам, детям опустошительной войны лишили индексаций, как проштрафившимся, что ли... что до сих пор... Ох, и не нравилось все это нашему Распутину Валентину свет Григорьевичу. Да один в стылом глухом поле, разве что волк по ночам воет.

«ДОЧЬ ИВАНА, МАТЬ ИВАНА»

Сюжет повести прост, как будний день. Девочка-подросток в поисках заработка на городском рынке попадает в расставленные сети понаехавших. Ее волокут в мужское общежитие, где кучкуется этот народец в толчее и вони, и что с ней там происходит в течение двух суток, одному сатане известно. А в просторечии «пускают по кругу». Под угрозой «лублу — и точка, нэ дашь — зарэжу» она теряет все — и невинность, и свободу, и здоровье. Через два дня, когда ее находят родители, она уже никто: избитая, с синяками в пол-лица, с парализованной волей, запуганная до смерти. Она на все вопросы отвечает одним ответом: я боялась... они грозились убить. Милиция и прокуратура готовятся оправдать и отпустить насильника: земляки поднялись за него горой, крупно сбросились, а следователю Цоколю того и надо.

Тогда мать, пережившая самые страшные в своей жизни дни, подкарауливает в коридоре прокуратуры задержанного джигита и стреляет его в упор из двуствольного обреза. Который сделала сама, всю ночь сидела на кухне и пилила ножовкой ствол охотничьего ружья, пока муж, как параличом разбитый, спал. Эта самая дочь Ивана, мать Ивана совершает самосуд над изувером и нелюдью, когда убеждается, что власть готовит

над насильником суд неправый. И идет в тюрьму. Правосудие довольно, прокуратура торжествует: дело можно закрывать. А как же насильники? Какие насильники? А может, их и вообще не было, может, все было по согласию... А убийца — вот она, не отпирается.

Вот и весь сюжет: зло наказано, справедливость восторжествовала. Но для Валентина Распутина это повод разобраться в проблеме века: страна сменила не просто власть, а политический строй, что стало с людьми, с их жизнями, с укладом их житья-бытья. Защищены ли они от разноликого нашествия? Хозяевами остались на своей земле, в своей стране, в своем доме?! Да и в своей судьбе?

Он исследует тщательно, как говорится, до пятого колена все обстоятельства жизни каждого из действующих лиц этой трагедии, кладет на чашу весов людского самосудия, казалось бы, незначительные и даже никчемные аргументы, чтобы вынести свой приговор... Вот этот приговор и будоражит общественное мнение, критики рвут его, как холстину, — с треском, хоть и осторожным, а иные — изворачиваясь в топорном замахе.

Давая последнему своему крупному произведению имя «Дочь Ивана, мать Ивана», Распутин как бы кольцует арену, на которой разворачиваются события: три поколения семьи — как три эпохи: советской власти, перестройки и постперестроечной барахолки, в которую превращается великая держава. И почему-то не очень-то хочет возвращаться в нормальное русское состояние, которое выпестовало все и всех.

Старший в этом кругу — Иван Савельевич, стало быть, отец Тамары, прошел войну счастливчиком: два ранения, и оба легких. Вернулся на Ангару — взял в жены девушку «чичкастую» из соседней деревни. Они кормились лесом и Ангарой. Бывший солдат «умел все — и плотничать, и слесарить, и выгнуть лодку, и управляться с любыми машинами, и брать зверя, и прийти ему на помощь в тяжелые снежные зимы, и почивать в снегу в клящие морозы, и сложить печку, и затянуть песню. Сын такого же многорукого отца, он перенял от него умелость и сметку с той же наследственной легкостью, как черты лица. Был несуетлив, приглядист, учил дочь: "Ты сначала нарисуй себе в голове, что надо сделать, до всякой загогулины нарисуй, а уж после берись без оглядки"».

Распутин не скрывает, что это его идеал мужика, на котором семья держалась при советской власти. И сама власть. Ибо уже «в двенадцать лет дочь хорошо стреляла из тозовки и из берданки, в пятнадцать села за руль лесхозовского "уазика", через год осилила трактор, сначала колхозный "Беларусь", затем гусеничный "ДТ-54"»... Такой уклад жизни поддерживала вся страна. Такой ладила и на будущее.

А какие шоу-колядки нам подсовывают вместо этого?!

Нет, и предыдущая жизнь была не без дырявого мешка — от этого никуда не денешься. Младший сын — тихий, мирный, любил уплывать с ружьем за Ангару на целый день, а то и с ночевкой. Но жизнь у него не сложилась... Однажды наложил на себя руки...

Старший, Василий, вышел в люди, стал дипломированным инженером, начальником на производстве.

Кажется, все для всех открыто и доступно — живи, чтоб все у тебя было гладко и в меру сладко.

* * *

Распутин скупыми словами характеризует каждого героя в своей трагедии «Дочь Ивана, мать Ивана» в самом начале повествования, помогая нам сосредоточить внимание не на подсобном для понимания материале, а на философии жизни.

«...Заводилой был Демин, более решительный и опытный в жизни. Он сразу же, как только покатилась старая жизнь с высокой горки, грохоча, кувыркаясь и разбрасывая обломки, ушел с автобазы, где они с Анатолием сошлись до дружбы, поработал где-то снабженцем, а теперь имел свой киоск на центральном рынке и торговал всяким шурум-бурумом от электролампочек и краски до запчастей к автомашинам. Анатолий же застрял на базе, которой отдал двадцать лет, все реже и реже выезжал в рейсы, да и то пустяковые, возвращался обратно — стыд сказать! — то с дровами, то с навозом, а то и совсем порожняком. Терпел, терпел и дотерпелся до того, что выставляли его теперь на улицу. Отрубалась безжалостно за ненадобностью не только часть жизни, но и часть души: там, на автобазе, и встретил он Тамару, три года она рядом с мужем крутила баранку».

Та самая, которая дочь Ивана, мать Ивана. Тамара Ивановна, стало быть.

Вот они-то и оказались втянуты в тенеты трижды клятой и проклятой политкорректности на бытовом уровне, хотя автор на всех ста пятидесяти трех страницах своего произведения ни разу не употребит этого слова.

Может быть, это даже и не политкорректность в ее классическом виде, а всего лишь ее ошметок. Но и не случайный ошметок, про который в народе говорят: в сахаре хоть ошметок свари, и то сладко! Но опять же: на вкус, на цвет и приятеля нет. Кому сладко, а кому полынь горькая.

Тамаре Ивановне пришлось испить полной мерой этой бурды, называемой политкорректностью по-российски, и она с ней рассчиталась по полной. По-своему. По-матерински, если муж оказался слабаком.

Но ведь в той-то жизни, вчерашней, он слабаком не был, слыл отличным работником. А?.. Выходит, не мы жизнь принимаем — не принимаем, а она нас? Путем ли это?

МОЛИТЕСЬ ЖЕНЩИНЕ

Слово и внутреннее состояние существа женщины в одной связке у Распутина, одно другого продолжение, которое, соединившись, образует душу. Познание этого тончайшего процесса требует столько деликатности, замирания дыхания, чтоб не спугнуть, не оставить «чужой» след в столь интимном и стерильном мире, что не всякому дано туда соваться. Распутину дано.

Еще в девичью пору, «перед сном, закрывшись на крючок, Тамара поднимала перед мерклым зеркалом ночную рубашку и всматривалась в себя с той удесятеренной пристальностью, с какой почти всякая девочка-подросток чуть ли не в таинственной обмороке следит в себе за всеми переменами, возвещающими приближение женщины...

Так хорошо было в этом томительном и чутком ожидании. Медленной волной, осторожно наплескивающей по бокам, проходила сверху вниз истома, пробуждала глубины и низы, сладко закручивалась в каких-то теснинах, снова распускалась и ответной волной, уже уверенней наглаживая, шла вверх. Там все натягивалось, замирало, струило, дыхание слабо колыхало его откуда-то со стороны, и, разбуженные, растворенные, наперебой пульсировали токи, — открывает нам удивительный мир В. Распутин. — Она вся точно наэлектризовывалась, телесный цвет податливо переходил в мягкое свечение — и точно изнутри доносилась притаенного голоса почти беззвучная, баюкающая песня...»

«Ее волновала женская тайна, в ней же заключенная, но не то физиологическое, тоже непонятное, жуткое, но и одинаковое для всех, а то невидимое, нутряное, более чувственное, чем физиология, запаленное особым духом: или тихое, сонное, едва шевелящееся, нежно перебирающее грудь, поднимающее от волнения на цыпочки. Словно что-то, не смеющее открыться, жило в ней, что-то счастливое уже тем, что его чувствуют и ищут... Она терялась от мысли, что совершенно себя не знает...»

Тише, струны, тише, не сорвите ноту, не расплескайте таинство самопознания, падайте ниц перед Вселенной, заключенной в женщине.

А теперь в такой же мир Светки вломилась тварь, грязная мразь, угрожающая все превратить в немыслимую похоть?!.

«...Бывало, Тамара Ивановна стыдилась себя перед этой сокрытой в ней частью, где она возгорается не огнем желания, а огнем чистого вдохновения и вся-вся порывисто и неудержимо приготавливается для счастливого подвига...»

Отец, Иван Савельевич, провожал ее, повзрослевшую, в город, прикинулся пьяным больше, чем был, чтобы предупредить: до мужа, дочь, блюди себя как зеницу ока. Она даже обиделась на отца, что заставил себя эти слова говорить.

Но наступило время, когда и Тамаре Ивановной понадобилось говорить их своей Светке. Светка выслушала мать, пряча от стыда и неловкости глаза, но это-то так и должно было быть: в таких понятиях они все оставались недотрогами...

И вот теперь Тамара Ивановна сидит вместе с дочерью, попавшей в беду, у следователя, и он ведет допрос «под протокол».

* * *

«Светка стояла по одну сторону стола, который занимал почти всю вытянутую от двери к двери комнату, оставив только проходы по бокам, стояла в оцепенении, вздрагивая и отшатываясь от совсем уж диких криков, а по другую сторону, напротив нее через стол, извивался, визжал и кричал что-то неразборчивое кавказец в джинсовой куртке, черный, безростый, с бешеным лицом и кипящими большими глазами. Такими и увидела их Тамара Ивановна в милиции, куда они прибежали с Анатолием и участковым... Она вонзилась в нее (Светку) глазами и высмотрела ее всю...»

ПОД ПЫТКОЙ

Не допрос это, а пытка. Пытка двоих — дочери, она должна рассказывать все подробности, кто, как и сколько раз ее насиловал, и матери — она должна слушать, как истязали ради садистского удовольствия ее беззащитную кровинку, девочку,

девственницу ватага сексуально распаленных кобелей, скотов, считающих, что русские девушки по своему рождению предназначены к этому, как и века назад малолетние рабыни на турецком невольничьем базаре в Крыму.

Но Распутину нужна не история, он ее знает, проходили в школе и в университете по советским учебникам, он сидит здесь, в кабинете у следователя Цоколя нынешней российской прокуратуры, и власть у нас новая, демократическая, и свобода слова и вероисповедания, и права человека... И европейские нравственные ценности.

«Ты сказала ему, что ты несовершеннолетняя?

Светка мелконько, дрожью, затрясла головой.

— Не сказала?

— Я еще раньше сказала, что я девочка. А там я не могла говорить. У нас уж там не разговор был.

— А что у вас было? — Цоколь покосился на Тамару Ивановну и добавил: — Я понимаю, тебе тяжело говорить. Но у нас здесь тоже не дружеская беседа. У нас допрос...

Светка тяжело подняла голову из наклона, лицо ее еще больше и гуще усеялось настолько мелким потом, что он не срывался и неподвижно лежал сплошной крапчатой сеткой.

— Пусть мама выйдет, — медленно растягивая слова и произнося каждое слово с разной интонацией, как это бывает у маленьких детей, выходящих из истерики, сказала она, ни на кого не глядя.

— Мама не может выйти. Она здесь не для своего удовольствия сидит.

...Когда Светка поняла, что спасения не будет и здесь, она как через порог в себе переступила и отвечала бесстрастным, выжженным голосом, которого хватало лишь на короткие фразы».

И самое главное, мать, ее родившая мать, сидит напротив и слушает, что вытворяли эти нелюди над ней. Мать, которая и зачала, и выходила, и выпестовала ее в такой нежной любви, все-все отдавала ей, Светке, и вот теперь узнает такое, о чем и подумать не могла, что оно существует. И обрушится на ее Светку...

...И от этого голоса, от выдираемых из глубока слов Тамару Ивановну проняла жуть, она и слыхом не слыхала, прожив на свете сорок лет, что в мире, под которым ходит солнце и просушивает-проветривает все-таки человеческую грязь, могут существовать такие немереные бесстыдство и гадость.

Вся, натянувшись, обмерев, она уставилась на Светку как на что-то ужасное, как из-под смерти, из-под ада выбравшееся и принявшее образ ее дочери, и все сглатывала застрявший в горле воздушный комок и никак не могла протолкнуть его внутрь. Следователь раз за разом спрашивал: "Но почему?" Светка неживым голосом отвечала: "Я боялась, он грозился убить..." После одного из ответов, совсем уж неслыханного, молния сверкнула в голове Тамары Ивановны, возвещая конец ее терпению, — она стукнула кулаком по столу, вскочила и для себя же, для себя, не для кого другого крикнула в нестерпимой муке:

— Да как же можно?! — и выскочила в коридор».

Распутин сам вынес приговор давно. Но он старается, чтобы мы не сомневались в его справедливости и неотвратимости. Более того, чтобы мы, читающие его трагедию, стали и народными заседателями на этом процессе, почувствовали и для себя угрозу от «этих, которые понаехали», приглашенные новыми хозяевами жизни: подешевле заплатить — покруче нажиться. Писатель не против, чтобы у нас родились мысли и подлиннее...

— Эка, хватил, — скажет резонер, — может, Адама и Еву вспомнишь?

Хорошо бы, конечно, их вспоминать каждому джигиту, теряющему разум под напором взбесившихся половых желез самца.

Но вернемся к нашему Распутину.

ПРИНЦИП ДЕМИНА

Это неправда, что Распутин отвергает людей новой волны. Нет. Он только ставит условие: на хозяйстве — хозяйствуй, но душу не трожь. Ан не получается, так-то. Не скелеты же мы заводные. И он видит, что не получается... (Вообще, говорить о Распутине что-то чохом — это дилетантизм. В творчестве писателя и, смею утверждать, в его душе все светится своим особым хрусталиком, своей бриллиантовой огранкой, своей божьей меткой. И до такой глубины он доходит в поисках человеческой особости, что кажется: он знает о своих героях, списанных с натуры, больше, чем они сами о себе. И это наваждение тебя не оставляет и после того, как ты начинаешь понимать, зачем это ему понадобилось как писателю, а идешь вместе с автором дальше и дальше, и только молишь бога в душе, чтоб отодвинул последнюю точку.) Демин — один из них, он, можно сказать, укоренившийся росток новой жизни. Распутин его щедро поливает, как опытный садовник, на протяжении всего повествования, чтобы рос, рос и рос. И укоренялся на том навозе, который теперь не убирают из-под ног. Особенно узаконенную безудержную спекуляцию, когда пару выращенных тобой клубней картофеля перепродают че-

рез десяток колен и на каждой продаже отрезают себе от клубня по глазку...

Излишне говорить, что Распутин любит своих героев. Он их выхаживает, вразумляет, выворачивает наизнанку и наблюдает: годится — не годится, прежде чем выпустить к людям. Но и кого — к каким. Старика бомжа «золотоискателя», философствующего по поводу устройства жизни. А сам безо всякой философии превращает приютивший его уголок с туалетом в мужском общежитии в бордель из неоперившихся девчонок для «понаехавших». Неприкаянные, неопытные и тоскующие от ненужности в этой раскрошившейся жизни девчонки как мотыльки на желтый огонек свечи слетаются сюда, еще не понимая, как паленым пахнет...

И Демина, мужика сметливого, умного, умеющего в жизни устроиться и при ельцинской растащиловке, и при путинском порядке. Но и не молчуна, больше склонного к путинскому порядку, нежели к ухватистой житухи кавалеристов с Буденовской горки в пяти кэмэ за МКАД. Которые сами себе присвоили кликуху «младореформаторы», с благородным запахом, исторически перспективную. Примечательно, что их вожака прельстила госдача именно на Буденовской горке, а не на Рублевском шоссе или в соседнем Заречье. Но это так, к слову.

Демин же, стараниями Распутина, в любой жизни не пропадет, не струсит, не сподличает. Ни по женской части, ни перед властью за копеечную выгоду. Но вот за тысячную, миллионную — авто не идет на такие иезуитские иссушения, оставляет нам решать: обед сытный для человека нужнее чистой совести?

Вот послушайте сами Демина, когда уже раздался выстрел Тамары Ивановны и она сидит в кутузке. Молва уже объявила ее героиней, кто-то уже хочет и фонд ее имени сколотить, призывают скинуться... А они ночью за столом все терзают себе душу, что не смогли...

«Вот ты говоришь, что струсил и сам заметил, что струсил, — говорит Демин Анатолию, мужу Тамары Ивановны, убийцы и матери Светки, оказавшейся жертвой насильников. — Себя, значит, заклеймил и душу свою на лоскуты рвешь. И собираешься рвать до победного конца, пока от нее живого места не останется. Да ведь мы все, разобраться, струсили. Струсили и не поняли, что струсили. Когда налетели эти... коршуны... коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплей перешибить можно было... Но хищные, жадные, наглые, крикливые... И подняли гвалт несусветный, что все у нас не так, все у нас по-дурному, а надо вот так... А мы вместо того, чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили. И хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас, как липку, растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, вот тебе, ничтожество и дикарь, знай свое место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул — не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсили и даже гордиться принялись: мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочем, мы снова наживем. Дураки? Нет, не то: дураки, да не последние же... В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?..

Где-то должны быть, и нигде нету. И кажется мне, что мы какую-то штуковину в себе обронили. Какую-то детальку... она с момента выпуска, видать, плохо была закреплена, а по нашим дорогам еще больше расслабла. И вот где-то на хорошем ухабе ее окончательно скинуло. А деталька такая, что без нее все ходовое хозяйство теряет натяг. Хлябает, трясется...

...В себе-то мы остались, а штуковину потеряли. Где, когда потеряли — никто не скажет. А без нее... то ли трусость, то ли безразличие. То ли жилы надорвали, то ли трын-трава».

Люди Распутина не простые. Он и сам не простой. Он знает и рассказывает нам, что в душе человека, на самом ее донышке, лежит и дышит некий закон непреодолимой силы — вот он и есть самый главный в его жизни, с ним не справится никакая ни власть, ни другая напасть, а только лишь плаха, которая само небытие, если он сам, без понуканий, на нее пойдет. Да и оно не одолеет эту непреодолимую силу, а может лишь порушить само существование жертвенника.

Меня люди с такой душой, которые населяют Вселенную Распутина, мало сказать, восхищают. Ибо носители такого глубинного чувства — и есть наша путеводная вера, которая провела через века наших предков и построила наше Отечество. Распутин раскрывает нам этот глубинный мир, чтобы мы в лихой час не оказались незащищенными изнутри, не оказались пустотельными оболочками. С пустозвонным пузырем вместо души.

СЕМЬЯ ПРОТИВ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ

Распутин и не скрывает своих убеждений: власть недооценивает опасности, грозящей перевернуть уклад русской жизни, которую несут в себе «понаехавшие», не желающие учить наш язык и считаться с нашими нравственными ценно-

стями. Не видит она, что ли, этого? Россия ушла из Советского Союза в новую жизнь, а очутилась на бытовом уровне в старой замшелой забегаловке. Конец двадцатого века был и концом государства, в котором на первое место претендовал человек грамотный, образованный, культурный, уважающий все народы-братья, свое Отечество и пекущийся о его благополучии.

Распутин видит, что ныне печение о благополучии страны заменено соревнованием иного рода: у кого мошна туже — тот и пан. Феноменальный опыт московского «Черкизона» их убедил: они — могут. Карман губернатора, конгрессмена, министра и капиталиста одинаково вхож для взятки. Сама корпоративная юридическая система алчно клюнула на «новый вид обогащения».

Распутин на этом моменте и принялся за «Дочь Ивана, мать Ивана», своим жизненным опытом и гениальной прозорливостью «творца человеческих душ» осознал: семья выстоит против этого невообразимого обвала грязи — еще не все потеряно для России. Не выстоит, подрежут ей коленки — не дадут распрямиться.

Любая революция, любой переворот в государстве чреваты массовым ростом инвалидов. И на голову, на ноги и руки, и на сердечную недостаточность. Совесть и несокрушимое казнокрадство внутри власти — вещи несовместимые: они порождают массовую нищету и унизительное сознание в народе собственной никчемности.

В ход пущено все, чтобы замарать человека, и перво-наперво его нравственные устои. Распутин по себе может судить об этом. Он тут же на себе почувствовал, что в человеке помечено объектом атаки.

«Почему Солженицын, отвергнувший награду Ельцина, — патриот, а Распутин, принявший премию от Солженицына-патриота, — отступник и предатель»?

Мы давно знаем ответ на этот вопрос, но собачимся только на балаганном уровне: а у вас негров линчуют.

О РАВНОВЕСИИ И СИММЕТРИИ

...Но и с другой стороны. Распутин не то чтобы сторонник симметрии, а и не одноногий: по жизни идет на своих двоих. Вот его герои разговор разговаривают: «И с начала, и с конца одно выходит... Иссякли. Были, шумели и все вышли. Хоть Сталина зови, хоть Петра. Не поможет. Человек старится, и народ старится. Слабнет, переливается в другой народ. Закон природы», — утверждает один, старик. Поживший и нахлебавший, не стремящийся скрестить лапки. (Кстати, во всю помогавший «понаехавшим» в истории со Светкой.)

Другой, из деловых, средних лет, зовет в качестве исторического секунданта Ивана, сына Тамары Ивановны, собирающегося в дорогу — строить церковь в деревне, на родине своих родителей, человека ищущего, не потерявшегося в этих исканиях, а приобретающего опыт.

«Слушай, Иван, тут вот говорят, очень даже убедительно говорят, что наша песенка спета. Русская, значит, песенка спета. Что мы уж ни на что не годимся, только свет впустую коптим. Ты у нас молодое поколение, как ты считаешь?

— Попоем еще, — улыбаясь, отвечал Иван.

— По-по-ем! — подхватил, зычно пропев, Демин. — Но ты это, — он опять обернулся к Ивану, — ты это так, к слову, сказал или вы там это обсуждаете? Сказать по-разному можно.

— Обсуждаем.

— И много вас, кто обсуждает?

— Нет, не много. Но много и не надо.

— Почему? Отвечай!

— Остальные — кисель. Под телевизором угорели. Им все равно. С ними еще работать да работать.

(Значит, телевизор — супостат, он народ дурит, сбивает с панталыку. Дочь Ивана и грохнула его об асфальт, чтоб не глупил людей, не смутьянничал. Так прямо из окна и вышвырнула.

Уберегло это вашу Светку? То-то и оно.)

...И, продолжая улыбаться, рассказал.

— Недавно... выступал ученый из Новосибирска. По теме: "Есть ли у России будущее?" Он хорошо говорил, нам понравилось. Его спрашивают: "Почему вы всех русских хотите сделать русскими?" — «А почему я всех русских должен делать нерусскими? Они ведь рождены русскими!" — говорит...

— Ему дальше. "Дело не в имени, не в национальности, — говорят. — Каждый человек должен меняться, как хочет, как его душа желает, способом свободной эволюции". Он отвечает: "Это будет не эволюция, а мутация, атмосфера создана такая, что он будет перерождаться в чужое. А когда переродится, он будет ненавидеть всякого, кто не переродился. Это, — говорит, — закон потери лица, закон предательства"».

* * *

Позвонил академику Михаилу Александровичу Грачеву в Лимнологический институт, что на Бай-

кале. Они с Распутиным были как два богатыря, отстаивая интересы светлого Ока Сибири. Мне было не очень корректно спрашивать, но я все-таки спросил ученого, сыгравшего выдающуюся роль в изучении Байкала.

— Мы с вами не договорили о Распутине.

— Да... Распутин... — отозвался он.

— Что-нибудь не так, Михаил Александрович?

Он молчал.

— Год Распутина в России... — Мне бы помолчать, а я: — Наша память и совесть...

— Поехал я помолиться в церкви Знаменского монастыря, где похоронен Валентин Григорьевич... Поставил свечку...

Он говорил увесисто... Словами не сорил. Как всегда.

— ...На могиле писателя цветы, цветы...

Михаил Александрович ходить не может. После автокатастрофы в конце прошлого века, которая изломала его на части, он остался жив и руководил институтом до 2016-го. Замечательная жена Елена Валентиновна его вынянчила и вернула к творчеству. И ни на день академик не оставлял научную работу и контакт с окружающим миром.

Встречи и беседы с Валентином Григорьевичем были для него наполненными жизнью, которая редко бывает ласковой со слабаками. Да что там кокетничать, совсем не бывает.

— При своих мы остались с Валентином Григорьевичем. Он все уповает на равновесие — в жизни, в мире, во всем.

— А разве не так?

— Ну вот... На равновесие надеются мечтатели, а реалисты знают: ни во Вселенной, ни в нашей жизни равновесия нет и быть не может.

— Но почему же?!

— При равновесии все замрет. Остолбенеет. Кончится.

Ах, как он меня разочаровал.

— И что Распутин?

— Он считает, что равновесие — это гармония.

* * *

Мы все живем в своих измерениях и потому такие разные. Природа не оставила нам ни полшанса стать клонами друг друга. В этом глобальное спасение человечества от самого себя.

...И НАША ПАМЯТЬ

Валентин Распутин ушел от нас, так и не поклонившись в пояс власти, которая одаривала его по таланту щедро, видимо, понимала: душа и совесть русской литературы дорогого стоит, а служение ей не совместимо с лицемерием. Распутин, вслед за Пушкиным, мог бы представить все свое творчество одной строкой великого поэта: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Но не былинно-сказочной, а реально озабоченной собственным выживанием, рвущей в себе становые жилы, идущей на невосполнимые жертвы, прощающей своим вождям человеческие слабости и государственную немощь. И даже преступления перед народом. Не пляски на его костях. Кому бы то ни было.

За день до своего пятидесятилетия В. Г. Распутин стал Героем Социалистического Труда, получив от советской власти высшие знаки отличия: второй Орден Ленина и Золотую Звезду Героя.

Власть не обходила его по околице — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Александра Невского, лауреат двух Государственных премий СССР, премии Президента Российской Федерации (2003 год) и Правительства РФ (2010 год); народный депутат СССР, член Президентского совета при М. С. Горбачеве, с июля 2010 года — член Патриаршего совета по культуре (Русская православная церковь), премии уникальные: имени Александра Солженицына под номером 1, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Невского, «Лучший зарубежный роман года. XXI век» (Китай) и множество других... И все-таки...

* * *

— Ну, на посошок, — сказал директор издательства, автор «Интерната», «Хазарских снов» и «Звезды плакучей», и предложил: — Давайте за любимое произведение Распутина. Какое оно у вас, Валентин Григорьевич?

— Все как дети. Но самое любимое... Я как-то не думал об этом.

— Но написано?

— Да кто ж его знает.

— Тогда за «Прощание с Матерой».

Выходит, мы уже тогда с ним попрощались. В нашем веке такой баланс нам достался: мы больше прощались, чем встречались с дорогими людьми.

Но нас еще ждала встреча с «Дочерью Ивана, матерью Ивана», очень непростым произведением Распутина про наши непутевые будни: в такое зеркало поглядеться, как на причастие в церковь сходить. Оно заканчивается символически.

Дочь Ивана, мать Ивана — сорокапятилетняя Тамара Ивановна, досрочно освобожденная, возвращается из мест заключения домой. И по дороге «жадно всматривается в людей, остававшихся здесь, ничем не стесненных, безоговорочно себе принадлежащих, она вдруг поразилась: да ведь это лица тех, за кем она наблюдала там. Те же самые стылость, неполнота, следы существования только одной, далеко не лучшей частью... Это что же? Почему так? И там, где нет свободы, и здесь, где свобода навалена такими ворохами, что хоть из шкуры вон, результат одинаковый?

Но уже догадывалась Тамара Ивановна, что на подобные вопросы здесь больше не отвечают. Не четыре с половиной года не было ее на этих улицах, а все сорок пять. И за эту эпоху жизнь закалилась и уплотнилась настолько, что она не признает никаких сомнений, ничего хлябающего, перетаптывающегося, и уверенно делает главное свое дело — чеканит из человека монету.

Тамара Ивановна и себе не смогла бы признаться в этом: не хотелось ей торопиться домой. Словно только в таком положении, как теперь, вне времени и жизни, на какой-то короткой переправе с берега на берег, и дышалось ей вольно».

Гений писателя Валентина Распутина добился своего: он оставляет нас на распутье с вопросами: в тюрьме ей было легче, чем дома? Так перевернула нас жизнь, что мы теперь вышагивай не вышагивай, а все получается коленками назад?

Вопрос отсылает человека к раздумью. Раздумье находит ответ. Ответ — предпосылка к действию.

Но вот что это будет за действие?

P. S. В конце концов, при чем тут черные или белые, пьяные или угорелые, носатые или волосатые, с одним ухом или двумя?! Совершилось величайшее глумление над девочкой, будущей матерью наших детей, наших потомков. И осталось безнаказанным со стороны закона. Об этом стучится в наши души память Валентина Григорьевича Распутина.

* В своей последней работе, имею в виду «Диалоги о России», в которых собеседником Валентина Распутина выступает известный публицист — правдист Виктор Кожемяко, соавторы анализируют постперестроечные перемены и дают им неоднозначные оценки. Я это учитывал, работая над своими заметками о Распутине.

** Сокращенный вариант этих заметок своего обозревателя А. Юркова опубликовала «Российская газета» в июне 2017 года.

Владимир КАЧАН

Владимир Качан — народный артист Российской Федерации. Родился в 1947 году в г. Уссурийске Приморского края. В 1953 году отца-военного перевели на полгода в Москву, а затем, когда Владимиру было шесть лет, — в Ригу. Учился в 10-й рижской средней школе с производственным обучением. Занимался легкой атлетикой. В 1969 году окончил Щукинское театральное училище (курс Львовой). В фильме «Звезда пленительного счастья» Владимир Качан исполняет песню на стихи Булата Окуджавы. После этого Леонид Утесов приглашает его в свой театр. Качан работает там, но не оставляет выступления на бардовской сцене. С 1991 года — артист Московского театра «Школа современной пьесы», до этого работал в других театрах: в ТЮЗе (1969—1980), в театре на Малой Бронной (1980—1984). Член Союза писателей Москвы. Написал пять книг. Выпустил тринадцать CD со своими песнями. Один из них — «Оранжевый кот» — только на стихи Леонида Филатова.

Похищение и наказание

Комедийный детектив с приятным финалом

Рисунок Марины Медведевой

ЧАСТЬ 1. УНИЖЕННЫЕ И ОТОМСТИВШИЕ

ГЛАВА 1. ТАКИЕ РАЗНЫЕ МИРЫ

Начнем эту историю как сказку. Со слов «жила-была». Впрочем, предвосхищая события, можем сказать, что сказкой она и кончится. Итак, в одной очень богатой семье жила-была и стремительно подрастала красивая девочка. Источником больших денег главы семьи было своевременное, как и у многих других, внедрение в нефтяной бизнес. Источник в нашей истории роли не играет, тем более что он слишком уж банален. Могло быть и что-то другое, но необходимо все же объяснить, откуда деньги, на которые он мог позволить себе то, о чем вы узнаете несколько позднее. А главное в этой истории — любовь с ее немыслимыми маршрутами и фокусами.

Единственная и любимая дочь, как водится, капризна и избалованна. С самого детства она получает все что пожелает. Таких игрушек, привезенных со всех уголков планеты, не было ни у кого, кроме нее. Отчасти поэтому ее никогда не видели ни ясли, ни детские сады. Исключительно домашнее воспитание с няньками и теми, кого прежде называли гувернантками. Учителя, преподаватели английского, французского и испанского языка. Особенные поварихи и повара и прочее.

И вот в семье случилось несчастье: она — школьница, влюбляется без памяти в артиста молодежного театра, который в спектакле «Фанфан-тюльпан» исполнял главную роль. Однажды она отважилась попросить у своего кумира автограф после спектакля. А он отнесся к ней как к одной из опостылевших поклонниц, которые всегда глупо отождествляют человека с изображаемым персонажем. То есть отнесся небрежно и на машину сопровождения глянул мельком и презрительно после того, как шофер окликнул девушку по имени, а она повелительным, хозяйским тоном приказала ему подождать.

Артист, в которого она влюблена, воспитан совсем по-другому. Он рос в малообеспеченной, скорее даже — бедной семье, и родители воспитали его в классовой ненависти к олигархам и чиновникам. Поэтому артист Максим с не очень сценичной фамилией Зябкин с детства ненавидел богачей с такими машинами, как у этой девушки. Он и сейчас не понимает, почему он — талантливый человек с высшим образованием — получает пятнадцать тысяч в месяц, на которые в Москве возможно только с трудом выжить, и еще помогает родителям-пенсионерам. А у этой телки (он уверен, что иначе ее и не назовешь) с рождения есть все, хотя она (и в этом он тоже уверен) из себя ничего не представляет. Он без всякой протекции всего добивался сам, приехав в Москву из Ульяновска, где жил все свое бедное детство вместе с родителями. Только недавно родители, чтобы быть ближе к сыну, обменяли свою довольно большую квартиру в Ульяновске на комнату в коммуналке, да еще и в спальном районе Москвы. Социальному неравенству Максим мог противопоставить только гордость. Вот потому-то он и посмотрел на машину поклонницы как на мусорный контейнер, что, безусловно, ее задело.

Итак, она росла в такой среде, где принято считать, что сила там, где деньги. И правота — тоже. А он — в совсем иной среде, в которой система ценностей радикально отличалась от критериев большинства жителей Рублевки. Как говорится, «два мира — два детства». У двух главных действующих лиц. А у их родителей, может, детство и было общим, но теперь — два мира совершенно определенно. Родители юноши всей душой остались в Советском Союзе. Они и теперь активно участвуют в социально-политической жизни, не упускают возможности побороться за справедливость и уверены, что в этой борьбе можно победить. Поэтому — митинги, демонстрации, плакаты, сбор подписей в защиту чего-то или кого-то — это смысл и содержание их жизни. И сопутствующая бедность на грани с нищетой, экономия во всем и даже на лекарствах, которые сильно подорожали, что, кстати, тоже является причиной митингов и гневных писем. Но зато — торжество принципов и идеалов, внушаемых с колыбели и их единственному сыну. Более того, принятых им доверчиво и безоговорочно.

У противоположной стороны все иначе, на то она и противоположна. Настолько, что временами выглядит пародией. «Гламур — это представление плебеев о прекрасном». Так выразился один остряк о вчерашних плебеях со всем их сегодняшним шальным богатством. Эти трехъярусные дачи с колоннами; эти люстры, уместные лишь в театрах; эти мраморные львы и хрустальные леопарды; эти портреты любимых кошек, написанных знаменитым художником по заказам раскрашенных теток с искусственными губами, зубами и грудями; эти килограммы золота и многокаратные драгоценные камни, и прочее и прочее. Словом, все с перебором, с богатством, которое должно бросаться в глаза.

А у юноши, естественно, — стихи, песни, литература, музыка, живопись, его роли в театре и т. д., то есть вся эта гуманитарная бесполезность, которую другой доминирующий в обществе лагерь считает свалкой или в лучшем случае — вторсырьем.

У нее же — компьютеры, айфоны, смартфоны, отдых на своей вилле-даче на Лазурном берегу или в Майами, шмотки, шопинг, дурацкие караоке, телохранители и бессмысленные ночные клубы с коктейлями, кальянами и травкой, а местами и с «коксом».

Таким образом, они соединиться и даже встретиться — никак не могли: им, людям из разных миров, просто негде было пересечься. Судьба, однако, распорядилась иначе, и девушку однажды занесла нелегкая — в театр. И там она увидела ЕГО, играющего, поющего, танцующего и фехтующего в одном из мюзиклов, наводнивших к этому времени всю страну и особенно Москву. Увидела и погибла в тот же миг. Беспамятно и бесповоротно. И дальше все уговоры родителей, воззвания к разуму старшеклассницы — что это несерьезно, что, мол, он, этот актеришка, марионетка, балаганный шут ей совсем не пара, — в результате не привели ни к чему и, скорее, оказали на нее совершенно обратное действие. Родители подсовывали ей для знакомства разных красавцев из респектабельных семей, из их круга, их, как они сами полагали, — светского общества — ничего не помогало. Пробовали даже колдунью для приворота. И все мимо!

Они часто слышали, как их любимое чадо плачет, запершись у себя в спальне, и были в отчаянии, не зная, что предпринять. Послали дочь доучиваться в Англию, чтобы она там забыла предмет своего обожания. Но она не просто не забыла, болезнь любви только набирала силу. Отец-олигарх, нефтяной, можно сказать, магнат, прилетевший в Англию навестить дочь, застал ее рыдающей над потрепанной уже и закапанной горючими девичьими слезами фотографией актеришки, которого папа уже заочно ненавидел. Такая упертость и верность своему никчемному идеалу, эта мощная влюбленность, сопровождаемая постоянными истериками, грозила привести к психическому расстройству. Об этом и задумался заботливый отец, когда они с дочерью вернулись по окончании учебы из Англии — в Россию, где в опасной близости жил и работал тот, по которому его дочь, как говорится в народе, сохла. Ну что делать?.. И тут предприимчивому и любящему папе приходит в голову дерзкая, но спасительная, как ему кажется, мысль: дать дочери то, о чем она грезит ночами, пусть она им натешится, как любимой игрушкой, и тогда любовь ее, глупая и несуразная, сама отомрет. Устанет и умрет. Вот как у практикующих ведьм в их рекламе: «Ваш любимый приползет к вам на коленях и будет просить пощады». И тогда он быстро надоест, даже осточертеет, однако все будет ползать и ползать рядом, и избавиться от него — никаких шансов!

Вот точно так, полагал папа, который был, безусловно, богат, но в список «Форбс» не входил, по этой схеме и надо действовать. Только не к колдунье идти (во всем этом мракобесии папа уже разочаровался), а поступить практичнее и радикальнее — то есть выкрасть паренька, попросту похитить и запереть в одном из их загородных домов. Что это уголовное преступление, папу никак не заботило и нимало не пугало: он уже давно привык к тому, что деньги здесь решают все. А денег у него было достаточно даже для того, чтобы при желании убить актеришку (или, как иногда говорили в их кругах, — «погасить»), затем вывезти труп из страны и похоронить подальше, где угодно, хоть на территории сопредельной, допустим, Молдавии или в болотах Белоруссии. Но убить, хоть и хотелось, да нельзя было: дочь потом сильно обидится, не простит, если узнает. А она узнает, он в дочери своей уверен на все сто. Она девочка пытливая и смышленая.

Значит, надо украсть парубка, лицедея недобитого, запереть так, чтобы абонент был совершенно недоступен, и пусть дочь насладится сполна этим «деликатесом». Только, конечно, никакого насилия, постепенно, вкрадчиво, ласково приручить — вот как Печорин — Бэлу в романе классика М. Ю. Лермонтова. (Папа на уровне средней школы был вполне образован.) И этот тоже привыкнет к свежему воздуху, вкусной еде и скромному обаянию его единственной дочери, к ненавязчивой ее красоте, что в условиях строгой изоляции и дефицита женского общества несомненно пробудит естественную потребность молодого мужского организма и принесет нужный дочери результат. Ну а потом, когда она перебесится, а он, уже выпотрошенный и безвольный, будет отпущен на свободу, — пусть жалуется кому хочет, пусть судится, если захочет, — только как докажет, что его украли с целью успокоить какую-то девчонку, почти школьницу. Да над ним не то что весь театр будет смеяться, а весь город! К тому же девчонка и ее влиятельный родитель могут заявить, что это он сам сгорал от любви и домогался ее так, что пришлось ему уступить и изолировать от общества, как он сам и просил, потеряв голову от всепоглощающего чувства. Короче, шансов у него — ноль, и все козыри у него, магната, и его любимой, но взбалмошной наследницы.

Вот так решение было принято, и подготовка к похищению началась. Еще необходимо было как-то уладить вопрос с родителями артиста. С театром проще — там у них начинался летний отпуск. Но родители могли поднять шум и начать разыскные мероприятия. Это надо было пресечь на корню. Папа знал только два способа. Первый — физическое устранение препятствия и второй — деньги. Тут он тоже решил пойти привычным путем — дать родителям юноши хорошие отступные, чтобы они просто помолчали несколько недель, чтобы вели себя разумно и тихо. За пару миллионов.

ГЛАВА 2. ПОХИЩЕНИЕ

Итак, сценарий в голове всесильного папы сложился, а осуществить первый акт этого любовного детектива, то есть похищение артиста, не составляло никакого труда. Все было намного проще и скучнее, чем показывают в кинобоевиках. Ну поехал парень после традиционного перед отпуском сбора труппы домой, в свой невеселый спальный район. Ну брел не спеша по довольно пустой улице в непозднее еще время, бормотал про себя, а иногда и вслух сцены из своей новой, только что полученной роли; ну тормознул возле него этот черный сарай — джип «Лендровер»; ну вышли из него степенно двое ничем не примечательных

мужчин, никаких даже не качков; ну попытался он сопротивляться, в своей обманчивой уверенности, что лихо умеет драться... Но ведь так называемая сценическая драка только зрелищно эффектна, но никак не эффективна, поэтому его двумя простыми движениями успокоили, затолкали в джип, усыпили каким-то уколом, и очнулся он только через несколько часов в красивом загородном доме, красоту которого и пейзаж вокруг оценить никак не мог, так как оказался в небольшой комнате с мягкой мебелью, кондиционером и без окон. Так началось его двухнедельное заточение, причину которого он выяснил уже на следующий день.

Он действительно не понимал, за что и почему с ним обошлись таким образом, и девчонку, зашедшую в его «камеру» на следующий день, он не узнал. Да и с какой стати он должен был ее узнать, если она когда-то попросила у него автограф, а он глянул на нее как на предмет далеко не первой необходимости. Хотя, соответственно спектаклю «Фанфан-тюльпан», она и пришла тогда с красивым букетом отборных тюльпанов. Таких поклонниц после спектакля у него было уже полно — десятки, если не сотни. Она попыталась ему напомнить о себе и о том эпизоде. Он, не вспомнив, но сделав вид, что вспомнил, презрительно процедил в ее сторону: «Отомстила, значит».

— Нет, нет, — заторопилась влюбленная девочка с большими возможностями. — Я не мстить, я познакомиться...

— Вот таким бредовым путем? — осведомился герой.

— Да не я это! Это папа так решил, — заплакала она.

— Значит, твой папа — просто урод, — подытожил Максим их первый диалог.

— Он не такой, нет! Он просто очень меня любит, готов на все, чтобы облегчить мои страдания, — перешла она вдруг на высокий стиль старинных женских любовных романов, и голос ее возвысился и патетически зазвенел под сводами тюремной пещеры несчастного узника, жертвы собственного искрометного таланта и нездешней своей красоты.

Далее место заточения, как полагается, огласилось ее глухими, довольно театральными и все же — искренними рыданиями, которые должны были пробудить в узнике если не сострадание, то хотя бы любопытство. Любопытство было проявлено. Он решил поинтересоваться, что за горе такое овладело юной девушкой, дочерью, судя по

всему, весьма богатого и могущественного папы, который решился даже на такую уголовщину, как похищение человека.

— Вернемся к страданиям, — сказал он, приблизившись к вздрагивающему от рыданий корпусу девушки. — Что случилось, в чем причина?

— В тебе! В тебе! — внезапно взвыла девчушка и бросилась на шею неосторожно подошедшему кумиру своих специфических грез и идеалу — в ее представлении — мужской привлекательности.

С трудом оторвав от себя возбужденное тело этой (как он уже решил про себя) фанатки и психопатки, он терпеливо ждал, пока она успокоится. Потом она рассказала, по-детски всхлипывая, что вот уже три года сходит по нему с ума и ничего не может с собой поделать. Пробовала, мол, его забыть разными способами и с помощью папы, но ничего не вышло: горе ее росло и стало всепоглощающим. И тогда отец решил...

— Дальше ты знаешь...

— И что теперь-то? — резонно поинтересовался Максим. — Так мне и сидеть тут, пока я тебе... — Тут он помолчал, но все-таки сказал: — ...пока я тебе не отдамся? — Он хмыкнул и посмотрел на нее, надеясь, что она сейчас правильно оценит весь этот театр абсурда, в который он неожиданно угодил.

— Не нужно, нет, ты что! — заверещала она. — Никто тебя тут насиловать не собирается!

Тут Максим опять ухмыльнулся от навязанной ему роли, которую обычно исполняют девушки, попавшие в лапы сексуального маньяка.

— Вот спасибо, — с глубоким сарказмом в голосе, который прямо-таки убивал всех его фанаток, промолвил он. — Значит, насиловать не будешь?..

— Не буду, — серьезно ответила она. Смутилась и опустила голову.

— А что будешь?

— Ходить к тебе... понемногу. Один раз в день. А если позволишь — два. Просто приходить, сидеть и смотреть на тебя. Больше мне, правда, ничего не надо.

— Ну хорошо. А потом что? Когда меня выпустят? Когда... ты меня выпустишь?

— Две недели, не больше, — утешила она, — потом тебя отвезут с завязанными глазами в центр города и отпустят.

— Да ты что? Правда? А как же все мои знакомые, родители, наконец? Они же волноваться начнут. Уже сегодня. Кто и как их-то успокоит?

— Не беспокойся, мой хороший, — с максимально возможной для себя нежностью произнесла она. — Все уже продумано. Вот как раз сейчас папа едет к твоим все улаживать.

— А театр? Что с театром? Дикость какая-то, ей-богу!

— Перестань, зайка, — с ласковой и фамильярной укоризной произнесла соискательница его внимания, и Максима передернуло от этого обращения, которое, как он напрасно надеялся, никогда его не коснется, так же как и сокращенное «зая». Она заметила гримасу отвращения на его лице и, правильно ее оценив, сказала: — Все, больше не буду. «Зайку» не услышишь никогда. Но все равно, перестань, не говори про театр, не выдумывай ничего, я знаю, что у тебя там отпуск, а съемки твоей следующей картины начнутся только через месяц.

И тут она, повзрослев разом года на три, кокетливо улыбнулась Максиму и вышла. Ключ дважды повернулся в замке.

ГЛАВА 3. ВИЗИТ НЕДООЛИГАРХА К НЕИМУЩИМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ

А тем временем папа разговаривал с родителями похищенного сына.

Естественно, что Платон Сергеевич — отец и Агриппина Васильевна — мать уже начинали сильно нервничать по поводу отсутствия сына и даже звонка от него. Еще немного — и последовало бы обращение в милицию (в описываемое время именно так, а не «полиция») и соответствующее заявление.

Но... Следующим утром после суточной паники на пороге их скромной квартиры возник шикарный господин в блестящем костюме, с букетом длинноствольных роз в одной руке, бутылкой итальянского игристого шампанского — в другой и самой лучезарной улыбкой на нежно-загорелом лице, улыбкой, лучезарнее которой родители похищенного парня не видели даже в телевизоре. Реклама отбеливающей зубной пасты «Лаколут» была жалким подобием улыбки олигарха класса «б». Улыбка стоимостью в автомобиль представительского класса могла пленить кого угодно, но не родителей пропавшего Максима. И она постепенно сползла с лица ее озадаченного хозяина. Погасла. И первый контакт таким образом оказался провален. Платон Сергеевич и его жена держались настороже и совсем негостеприимно. Понятное дело, им сейчас было не до гостей. Беспокойство за пропавшего сына сейчас было главным в их настроении и поведении. Только эта тема

могла бы их сейчас заинтересовать. Она вскоре и возникла как главная причина визита.

— Я пришел по поводу Максима, сына вашего, — почти застенчиво и виновато промолвил магнат. — Могу войти?

Вмиг оживившихся родителей пронзило острое чувство вины за собственную невежливость и осознание того, что держат нежданного, но все-таки гостя на пороге.

— Да-да, конечно, — заторопились они, — проходите, пожалуйста.

— Могу присесть? — продолжал магнат настаивать на соблюдении протокола. И опять встретил извинительное.

— Да-да, конечно! Может, чаю или кофе? Только у нас растворимый, другого нет.

Гость отказался. Кофе он попьет в другом месте, более приличном, соответствующем его статусу VIP-персоны. В глазах родителей артиста он видел плохо скрываемое нетерпение.

— Что с сыном? Где он? Что вы знаете? С чем пришли?

— Давайте познакомимся. — Мини-олигарх вновь включил в общение козырь — свою лучезарную улыбку, свет своего неотразимого обаяния. Он собирался представиться, назваться, первым произнести свое имя-отчество — Спартак Миронович, но не успел: родители артиста быстро протянули вперед свои сухонькие лапки и поспешно назвались: Платон Сергеевич, Агриппина Васильевна, и ей бизнесмен, с трудом подавляя буржуазную брезгливость, даже поцеловал лапку с огрубевшей от домашних трудов кожей. При всем этом коротком ритуале Спартак Миронович, обладая феноменальной реакцией и интуицией, которые помогали ему одерживать в бизнесе сокрушительные победы, по ходу перестроился и решил назваться каким-нибудь типично славянским именем — ведь если родителей парня зовут Платон и Агриппина, значит, это персонажи старой закалки и, тем не менее, модного нынче славянофильства, и надо с ними искать общие национальные черты, общую почву малого Нечерноземья. И, поглаживая несуществующую окладистую бороду и стараясь употреблять слова и выражения, которые он смог припомнить, но смысл которых не совсем понимал, Спартак произнес:

— Исполать вам, добрые люди! — И отвесил поясной поклон.

Но по тому, с каким легким недоумением переглянулись братья-славяне, понял, что чуток перебрал и вернулся к современной речи, не забывая все-таки иногда сохранять лингвистический колорит русских деревень и опуская при этом матерные слова.

— Зовут меня Савелий Игнатьевич, — протяжно сказал он и, привстав со стула, опять изобразил поясной поклон.

Те тоже привстали, но от поклонов воздержались и только наклонили свои седые головенки. Они все же с нетерпением ожидали, когда гость перейдет к делу.

А Спартак уже увлекся игрой с меняющейся стилистикой поведения. Он ведь легко адаптировался к любой среде: был депутатом среди депутатов, меценатом среди артистов, спонсором среди спортсменов, а тут — новая роль — закоренелый почвенник среди людей, не устававших негодовать: «Во что превратили страну? Как ее разворовали? И куда мы катимся?» Такая игра давалась Спартаку без труда; он всецело разделял доминирующие настроения в государстве и согласен был с тем, что пора наконец распрямить плечи, вернуть оплеванные и растоптанные идеалы, вспомнить славянские корни, возродить былую мощь и патриотическую удаль русских богатырей. Поэтому он, например, с удовольствием спонсировал инсценировки древнерусских побоищ на свежем воздухе в Подмосковье и сам принимал в них участие, нарядившись в шлем, кольчугу и взяв в руки меч-кладенец. Наверное, справедливо и правильно, для общей гармонии и равновесия в природе, имея виллы в разных концах света — на популярных морских пляжах, а также три яхты и личный самолет, — время от времени бить себя в грудь, обдирая пальцы о специально и по размеру сделанную кольчугу, и кричать рожденный в недрах русской финансовой элиты лозунг: «Не дадим в обиду Русь-матушку!» или «Постоим за землю русскую!». Еще бы не постоять за собственные сто пятьдесят гектаров в Псковской губернии! Спартак и дочь свою назвал не как-нибудь, а Авдотьей, а по-простому, по-нашему, по-русски, — Дуней. И ее, Дунина, показная, западно-гламурная жизнь совершенно не входила в противоречие ни с именем, ни с хороводами, в которых папа заставлял ее принимать участие.

Дуня, с заспанным, опухшим от вчерашней пьянки и тусовки в ночном клубе «Сохо» лицом, классно смотрелась в сарафане, лаптях и кокошнике, когда подносила хлеб-соль какому-нибудь депутату, папиному дружбану, а затем вовлекала того в ненавистный хоровод с визгливым песнопением псевдонародной группы. Сарафан был велик, лапти скользили по траве, кокошник сбивался набок. Но что делать! Папа утром поднимал чуть

ли не пинками и гнал на очередное свое народное гулянье. Но после нагрянувшей на Дуню беды — любви вся ее жизнь поломалась, переменилась. Да и папино влияние ослабло, а потом и вовсе почти исчезло. И папа это со своей хваленой интуицией почувствовал и тактику поменял. Теперь многое стало только для дочери.

И вот Спартак Миронович Дервоед сидел теперь на шатком стуле перед встревоженными родителями Максима и думал, как приступить к цели визита, чтобы не обидеть и не травмировать.

ГЛАВА 4. МОСКОВСКИЙ ПЛЕННИК

Ну а теперь пора вновь вернуться в место заточения Максима, в его вполне комфортабельную тюрьму. В ней было все, что необходимо интеллигентному человеку. Максиму даже принесли все книги по списку, который он предоставил охранникам. Папа распорядился заранее, чтобы пленник не нуждался ни в чем. Он не имел только двух вещей — свободы и компьютера, так как тюремщики справедливо полагали, что при наличии ноутбука он сможет сообщить на волю о себе и обстоятельствах похищения. А так — все, буквально все. Особенно следует коснуться его ежедневного меню, еды, которую и едой-то назвать язык не поворачивается: назвать это можно было только яствами. Или, чуть попроще, — деликатесами. Такие яства подавались, вероятно, только к царскому столу или входили в банкетное меню членов Политбюро в Советском Союзе. Максим с упертой принципиальностью узника совести ежедневно отвергал черную икру и прочее, то, что он считал проявлением буржуазного снобизма, или, по-другому, — омерзительным русским барством. Последние несколько дней Максим с большой долей черной самоиронии называл себя наложницей. Мысленно, разумеется, ибо произносить это вслух при Дуне — единственном человеке, который его посещал в заточении, — было совершенно бесполезно. Судя по всему, Дуне было незнакомо даже само слово «наложница» и его значение. А если ей объяснить, она юмора все равно не поймет. Поэтому пленник смеялся про себя. Но однажды он все-таки не удержался и объяснил. Литературные ассоциации постоянно клубились в голове образованного юноши. Так, Дуню он постоянно называл небедной Лизой, чем приводил ее в состояние розовощекого смущения. Она не понимала, почему он ее так постоянно называет, добавляя в голос немалую долю ехидства и криво усмехаясь. Обижает он ее или что? Всякий раз она, краснея, поправляла любимого, говоря, что ее зовут иначе — Дуней, но он с маниакальным упорством всякий раз при ее появлении произносил: «А-а, небедная Лиза явилась. Ну, что нового на воле?» — «Кто такая бедная Лиза?» — допытывалась она, и когда ему надоело, пришлось объяснить, что бедная Лиза — героиня одноименного романа Карамзина, но тут же заодно понадобилось поведать плохо образованной девице большую для нее тайну, а именно кто такой Карамзин. После чего Дуня захотела прочесть произведение Карамзина, и ей это удалось. Вот так библиотека внеклассного чтения для Дуни начала формироваться, а потом и расширяться. От бульварных, любовных романов и дачной жвачки женских детективов, а также гламурных журналов, повествующих о том, кто с кем живет, что носить и что есть, чтобы похудеть, — до (сразу!) Карамзина! Представляете, какой невообразимый скачок, без постепенно перехода. Непосильно, согласитесь, для слаборазвитого ума. Поэтому «Бедная Лиза» далась с трудом, и только благодаря любви, безответной, но подогреваемой тем не менее призрачной надеждой на перемену его отношения. Максим, непонятно почему, вероятнее всего от скуки, решил хоть чем-нибудь восполнить пропасть между Карамзиным и описанием гардероба какой-нибудь поп-звезды. А кроме того, тема наложницы для хоть какого-то веселья в заточении будет продолжена. Поэтому Максим предложил Дуне достать и принести ему «Героя нашего времени» писателя и поэта М. Лермонтова. К счастью, эту фамилию Дуня где-то слышала, и просвещать ее не пришлось. Книга была доставлена, и Максим решил прочесть ей часть под названием «Бэла». Дуня была счастлива: любимый артист начал с ней общаться — а от скуки или от чего-то еще — неважно и, более того, САМ вызвался ей читать книгу. Вслух! Любимый! Да еще артист! Да еще, наверное, с выражением будет читать! Она, раскрыв рот, внимала художественному чтению Максима, не очень вникая в смысл. Сам процесс был куда важнее — как он перелистывает страницы своими красивыми руками, как завораживающе звучит его красивый голос, как изредка он отрывает глаза от книги и взглядывает на нее своими ярко-синими глазами из-под длинных и наверняка пушистых ресниц! О! Как она хотела их целовать! Ах, как она любила эти сеансы чтения! При этом ничего не понимая, про что там было написано, и каким образом это переносится в сегодняшний день, и почему касается непосредственно их самих и создавшейся ситуации. Мак-

сим наконец все увидел и решил от своего гипноза вернуться к смыслу. И тогда объяснил балдеющей от его чтения Дуне, что он тут сам в роли Бэлы, а она — в роли Печорина. Ситуация в романе, мол, ничего ей не напоминает? Когда она вникла наконец в суть этой аналогии, ею овладел такой приступ смеха, что она заразила им и исполнителя роли Бэлы. Оба смеялись несколько минут, и в тот день между ними впервые протянулась тонкая, очень тонкая паутинка взаимопонимания. Потом Дуня захотела все же повнимательнее ознакомиться с романом М. Ю. Лермонтова и прочла историю про Бэлу до конца. А там, между прочим, было написано о том, что непокорная черкешенка сначала смирилась, а вслед за тем и влюбилась безоглядно в пленившего ее Печорина. А это обнадеживало и внушало некое подобие оптимизма: может, и ее ненаглядная «Бэла», то есть Максим, сначала привыкнет, а потом и полюбит... Однако пленник, зная продолжение истории, не пожелал дальше читать, чтобы Дуня особо не обольщалась. Сеансы чтения временно прекратились, но он же не знал, что пытливая девушка ознакомилась с финалом истории про Бэлу самостоятельно, и никак не догадывался, отчего это у его тюремщицы глаза начинают светиться таким неестественным блеском, как только она входит в его одиночную камеру. А Дуня умоляла его почитать что-нибудь еще. Ну не хочет «Героя нашего времени» — пусть почитает что хочет, по своему вкусу. «Еще чего!» — грубо возразил Максим, но потом подумал, что тут есть по крайней мере два аргумента «за»: первый — борьба с невежеством хотя бы одной отдельно взятой избалованной богачки, то есть просветительская, если угодно, функция, и второй — хоть какая-то практика в своей профессиональной актерской деятельности, поддержание рабочей формы. Вот так в «камере-одиночке» Максима, а следовательно, и в домашней библиотеке Дуни появились Ремарк, Хемингуэй, а затем Бунин, и Тынянов, и Набоков, и Паустовский, и Довлатов, и многие другие. Однако прочесть ей вслух удалось только любимый роман его юности «Фиеста» Хемингуэя. Только его, потому что вскоре произошло освобождение. А произошло это избавление из плена довольно-таки неожиданно и по очень оригинальной причине.

ГЛАВА 5. ИМПРОВИЗАЦИИ СПАРТАКА

Теперь, я полагаю, вас гложет любопытство — каким образом папа нашей героини вышел из положения, как он приступил после прелюдии знакомства с родителями пленника к главному, к цели визита. Мы же оставили его как раз в тот момент, когда он обдумывал стратегию своего дальнейшего поведения. Времени на обдумывание у него практически не было, тем более что Платон Сергеевич и Агриппина Васильевна смотрели ему в глаза с нарастающим, тревожным ожиданием. Спартак Миронович (которого нам и проще, и правильнее называть просто Спартаком, в силу его героической наглости и бесшабашного, атакующего поведения в бизнесе, всегда почему-то приносившего ему удачу) в это время подумал, что надо действовать и сейчас так, как всегда — яростный штурм, шок у противника и безоговорочная победа. Вызвать шок, по мнению отважного предпринимателя, должна была внушительная пачка долларов в банковской упаковке, которую он выхватил из кармана так, как ковбои из американских вестернов выхватывают кольт. И то и другое в данном случае объединяло одно — они были оружием, способным побудить оппонента к капитуляции. Итак, пачка долларов была выхвачена и брошена на разделяющий их стол с глухим, но убедительным стуком. То есть ее вес был — что надо! Лежащая посреди стола пачка вызвала у стариков ожидаемый шок, но только своеобразный: они отшатнулись от стола, в немом ужасе глядя на доллары как на гремучую змею, которую взбесившийся серпентолог зачем-то принес им, выхватил из кармана — и швырнул на стол. И сейчас, мол, ядовитая тварь их укусит и умертвит. Спартак такой реакции, конечно, не ожидал. Нет, он, конечно, ждал всяких там «ах!» и «что это?», однако — радостных «ах», восторженного изумления жаждал он, а тут — к такой всемирно уважаемой валюте отношение, как к змее или другой какой-нибудь ползучей твари. Спартак почувствовал даже некоторую обиду за доллары и желание хоть как-то вступиться за них. Он начал с не совсем уместной в сложившихся обстоятельствах барственной интонации: «Это вам».

— Зачем нам, нам не надо, что это вы? — отталкивая воздух перед собой, залепетали бедные члены КПРФ.

Благоприятной завязки разговора опять не получилось. Так же, как не удалась и прелюдия знакомства. Все пошло не так, и надо было на ходу перестраиваться. Однако Спартак был не только наглым и удачливым, он был еще и невероятно хитрым и изворотливым. Ему была свойственна мгновенная реакция на обстановку, реплики и даже мимику любых собеседников, то, что отличает, кстати, самых удачливых и остроумных теле-

ведущих. Заметив и оценив реакцию пенсионеров на пачку свободно конвертируемой валюты, реакцию, прямо скажем, неуважительную, Спартак (он же на данный момент Савелий Игнатьевич) быстро сориентировался и, стараясь не потерять исконно-русского стиля, попытался соединить его с новыми на святой Руси товарно-денежными отношениями.

— Не пугайтесь, товарищи, — правильно начал Спартак, — деньги эти — всего лишь материальная помощь от государства... Родины нашей многострадальной, — добавил он, едва не прослезившись, но в последний момент решил все же слезу придержать, посчитав, что это будет выглядеть несколько театрально. — Сам я тружусь на, так сказать, строительной ниве, — ну, в смысле, строю дома городские и подалее, в Подмосковье. И вот государство обязало недавно нас, бизнесменов, фу ты, пропасть! Опять это проклятое слово! Не люблю все эти словеса из Америки, но, уж извините, товарищи, замены у нас этому слову нет пока, иногда лишь обидно обзывают нуворишами. Так что нас, деловых людей, всех, президент и правительство попросили помогать бедно живущим, нуждающимся людям. «Деловые люди» — товарищи, тоже, конечно, коряво. И не по понятиям, — сбился вдруг Спартак на специфические обороты своего же, почти забытого прошлого. — Президент попросил — это значит обязал, и никак иначе! И вот мы с пацанами, то бишь коллегами с этого района, раскидали, кому в какую неделю и сколько приносить. Это легко. Через собес, паспортный стол и прочее. И мне выпало идти к вам, — широко улыбнулся Спартак. — Так что не пугайтесь. Безвозмездная матпомощь — и все. Вспомоществование, — припомнил он еще одно слово, относящееся к старославянскому, как он полагал, гуманизму.

— Так, подождите, — после некоторого молчания и переглядок с супругой растерянно произнес Платон Сергеевич, — но, Савелий Игнатьевич, вы же вроде по поводу сына пришли, как вначале сказали. При чем тут ваша материальная помощь? Где наш сын? Что с ним? Вы что-нибудь знаете?!

— Не тревожьтесь, товарищи, — с максимально возможным для себя добродушием промолвил Спартак — Савелий Игнатьевич. — Материальная помощь от моей фирмы случайно пришлась на вас и вашу квартиру. Ну, совпало так, срослось, понимаете... А вот то, что вы родители Максима, вот это уже совсем не случайно. И когда я узнал, кому несу деньги, что родителям Максима несу, то сильно обрадовался... — продолжал он вдохновенно врать. И тут же добавил: — Шибко рад был. — Спартак временами забывал, что он — Савелий и сбивался на светскую манеру общения, но потом вспоминал, спохватывался и возвращался в народное, посконное, так сказать, лексическое русло. — Так что примите, сограждане мои дорогие, скромное мое подношение вам. Уж не побрезгуйте, товарищи. А касательно Максима я вам немедля расскажу, почему я с ним знаком и где он сейчас. Тревожиться не надо. Он у меня живет теперь. На даче моей. А вот как он попал туда, сейчас расскажу.

Спартак помолчал, обдумывая более или менее правдоподобную версию исчезновения Максима, и вроде бы нашел самый верный путь, путь полуправды. Насильственное похищение — то есть уголовная сторона вопроса — исключалось вовсе, дабы не напугать до смерти «божьих одуванчиков», родителей, и без того сидевших в напряженных позах со сцепленными судорожно руками и с предчувствием ужаса в глазах. Они ждали от сидящего напротив улыбчивого магната какой-нибудь новости, типа автомобильной аварии, в которую угодил их сын, но, мол, выжил, и теперь в больнице, но главное — жив, вот только позвонить не может. Они ждали в любом случае чего-то скверного, но только, не дай бог, не смертельного. Старички эти все годы и не ждали от судьбы ничего другого, только исключительно чего-то гадкого. Они привыкли, менялась в их жизни только степень или объем вот этого гадкого, а так ничего — терпели и еще потерпим.

Насчет больницы Спартак тоже успел прикинуть за несколько секунд, но сразу отмел этот ни к чему не пригодный вариант. Ведь тут же возникает сопутствующее никчемной версии недоумение: а он-то откуда знает? Он что, санитар из этой больницы, врач, спонсор, на худой конец? Спартак всегда придерживался одного незыблемого правила: не врать, когда можно не врать, когда сказать правду даже выгоднее. Но когда всю правду сказать нельзя (как в данном случае), то можно полуправду. Похищение Максима, содержание его взаперти — все это несущественные, как полагал магнат, детали. А вот причина похищения, кому и зачем их сын оказался нужен, — это чистая правда, тут ничего и выдумывать не надо. И Спартак, нарисовав перед родителями Максима беглый портрет своей несчастной влюбленной дочери и надеясь при этом на родительское понимание и солидарность, рассказал, как бедная девочка чахла и сохла от любви к их сыну и таяла буквально на глазах, а родительское сердце прямо разрывалось от этого; и чего только не предпринималось

для спасения дочери — мол, и в Лондон этот клятый учиться отправляли, и красавцев-парней с Рублевки подсовывали, и пытались опорочить и принизить предмет ее девичьих грез. Соблазнить его очень большими деньгами за корпоративный концерт, на котором ему заказывали прочесть стихи Мандельштама, но... голым... ну, не совсем голым, в плавках, конечно, но все-таки... И поверьте, очень большие деньги!.. Можно было бы ему с вами, родителями, целый год безбедно жить, ничего не делая. Заодно, понимаете, хотелось посмотреть, за какую сумму молодой человек в наше время может поступиться принципами, забыть о так называемой чести... Тут магнат криво усмехнулся и посмотрел на старичков в расчете на понимание, но понимания на их застывших лицах он не обнаружил и продолжал гнать свою историю как ни в чем не бывало.

— Мы с матерью думали, что, ежели он согласится, у дочери глазки-то откроются, и любовь ее накроется... медным тазом, как это часто бывает. Ан нет! Не вышло! А когда анадысь встретился я с ним, с Максимом-то вашим, и сделал ему это предложение, и сумму назвал, и даже аванс вынул из кармана, он, сынок ваш принципиальный, посмотрел на меня как на козявку вонючую, на меня, владельца трех предприятий, одной авиакомпании и двух газет. Обидно, знаете, но принципы я все ж таки уважаю, и людей, которые без колебаний отказываются от таких денег, — тоже уважаю.

Спартак говорил, не останавливаясь, его несло на всех парусах по полноводной реке вдохновенной импровизации, когда, искусственно и профессионально возбуждаясь, он доводил почти до экстаза и себя, и своих избирателей, когда толкал перед ними речи во время предыдущей кампании. И, уже не замечая ни омутов, ни мелководья, не контролируя речь, теряя взятый на себя образ народовольца и почвенника и смешивая таким образом «девичьи грезы» с «анадысь», — он гнал и гнал свою ладью все быстрее к мелодраматическому финалу, сентиментальному берегу сострадания и надежды на, все-таки, — взаимопонимание.

— И тогда я решил сыну вашему, Максимке принципиальному, все честно рассказать о дочери. Она, ить, пригожая у меня, даже ненаглядная, — всхлипнул Спартак и, желая смахнуть несуществующую слезу, полез в карман за белым платком с золотым вензелем, со своими инициалами, но по пути его рука вспомнила, что он из народа; и глубина национального подсознания подсказала иной способ утереть слезу, поэтому вернулась к лицу и тыльной стороной ладони протерла оба глаза. — Дочурка наша, красавица, — продолжил он тоскливо, — извелась ведь вся, исстрадалася, иссохла, короче — закручинилась. Красота-то какая пропадает всуе, испаряется. И вот я Максимке-то и поведал все про дочурку. А он спрашивает: «А от меня-то вы чего хотите?»

Тут впервые за время монолога подал голос Платон Сергеевич:

— Да-да, чего вы, правда, от него хотели и что дальше?

— Где он, где, скажите, — вступила в разговор и Агриппина Васильевна.

— Подождите, сейчас дойдем и до этого. Сейчас все узнаете, — успокоил Спартак. — Ну так вот, рассказал я Максимке, как страдает дочь наша, и говорю: «Пожалел бы ты ее, парень». — «Как?» — спрашивает. «Да ничего особо от тебя и не надо, — отвечаю. — Поговори с ней хоть разок, объясни, что молодые девчонки часто любят не человека, а персонаж. Это как скарлатина, быстро проходит. Объясни, поговори, тебя-то она точно послушает, призадумается». Я его так слезно просил, что вижу — он колеблется. Хороший, жалостливый у вас паренек. Редкость в наши дни.

— Ну, дальше, дальше-то что? — поторопил рассказчика Платон Сергеевич.

— Ну, я и стал его дожимать. Поехали, говорю, со мной к нам на дачу — тут Максим так отрицательно головой помотал, но я все долблю в правильном направлении: «Она, дочка моя, там сейчас, плачет, как всегда, сил на это смотреть никаких нет, плачет каждый день, закроется в комнате своей, фотографию твою, Максим, перед собой поставит и плачет».

Тут Спартак чуть было взаправду не прослезился, тем более что это было совсем недалеко от реальности.

— Поехали, а?.. Ну поехали, пожалуйста. Короче, умолил я его, эта штука с фотопортретом и слезами его добила.

— А это правда? — опять вступили родители.

— Да еще какая! — убедительно сказал магнат. — И сейчас Максим у меня на даче, — он помолчал, — и она, дочка, больше не плачет... Пока он там, во всяком случае, — добавил Спартак, опустив голову.

Эта исповедь его опустошила и повергла в естественное уныние, так как он и вправду не видел выхода из создавшегося положения. Держать Максима в настоящем плену у себя на даче он больше не мог, ведь это, как ни крути, настоящая

уголовщина, статья, и он, как олигарх и депутат, сильно рискует. И что-то надо будет делать. Из всех способов Спартак возлагал надежды лишь на один — откупиться и при этом еще уговорить Максима и родителей не подавать в суд. И вот именно сейчас идет первый этап распутывания этого идиотского узла, ситуации, в которую он ну никак не предполагал попасть.

— Ох ты, доля ты моя, долюшка, — тяжело вздохнул Спартак в образе Савелия Игнатьевича и вдруг услышал:

— Да прекратите вы наконец эти ваши фальшивые славянизмы! Что вы тут этакую псевдонародную клоунаду затеяли!

Он с изумлением посмотрел в сторону источника звука и с не меньшим изумлением увидел не хилых каких-то там старичков, не жертв пенсионных реформ, не инвалидов перестройки, а напротив — суровые, жесткие лица неутомимых борцов, закаленных в безуспешных боях с социальной несправедливостью.

— Что вы нам тут пургу гоните! — Платон Сергеевич вдруг перешел с оппонентом на энергичный сленг современной молодежи. Вероятно, для того, чтобы его вопросы звучали твердо и требовали незамедлительного ответа. — Вы сказали — где сын, вы сказали — почему, но мы с женой ни слова пока не слышали о том, по какой это причине его нет уже несколько дней и он ни разу не позвонил и не дал о себе знать.

— Наш сын, — поддержала выступление мужа Агриппина Васильевна, — ни за что не заставил бы меня волноваться и вызывать скорую. А вы тут плетете нам про любовь вашей доченьки.

— Вы, конечно, удерживаете Максима силой, — продолжил Платон Сергеевич, — что мы, не понимаем?..

— Да и позвонить ему тоже не даете, — вторила Агриппина Васильевна. Он бы сам никогда... — Она заплакала и вышла из комнаты.

— Мы немедленно напишем новое заявление в милицию, — послышалось из кухни. — Платон, выгони его из нашего дома, прошу тебя!

— Успокойтесь, — Спартак встал, — он в полном порядке и превосходно себя чувствует. И сегодня же вам позвонит, я обещаю. На днях вернется домой. И никакого заявления не надо. Вы очень помогли моей дочери. Вы и ваш сын. Он, можно даже сказать, мою Авдотью почти спас. Думаю, даже от суицида...

— От суици-и-ида! Авдотью! — передразнил возмущенный Платон Сергеевич. — Несовместимые слова. Я же просил, перестаньте ерничать!

— Дуня — моя дочь, — обиделся Спартак, — ее действительно так зовут.

— Я в последний раз спрашиваю — когда Максим вернется домой? — гневно допытывался Платон Сергеевич. — Что? Он у вас там будет в заложниках, пока ваша дочь, видите ли, не перестанет плакать?

«Ну, в принципе так оно и есть», — подумал Спартак, а вслух сказал:

— Слушайте! Давайте попробуем договориться. — Он взял в руки пачку долларов, так с самого начала их разговора и лежащую на столе. — Я буду платить вот столько же за каждый день пребывания Максима в моем доме. За каждый! Столько же! А это много, заметьте! Будет обеспеченная старость.

Агриппина Васильевна вновь вошла в комнату и, стоя гордо и прямо перед ненавистным представителем отечественного капитала, сказала:

— Подавитесь вы вашими деньгами! Думаете, вам все можно! Что купить можете всех и все?! Так вот, не всех и не все! И пошли вы вон из моего дома с вашими грязными деньгами и вашими грязными предложениями!

Низенькая старушка гордо стояла перед довольно высоким мужчиной и смотрела на него свысока! И Спартак почему-то это почувствовал и даже слегка пригнулся. Стол разделял противоборствующие стороны, но то был не стол, а идеологическая пропасть, преодолеть которую не может никто и никогда. Но тут подошедший к столу Платон Сергеевич вдруг неожиданно сказал жене:

— Груня, постой! Подожди, — он взял в руки пачку денег, — мы подумаем...

Агриппина Васильевна округлившимися глазами уставилась на мужа и произнесла только невнятный звук: «К-ка-ак?!»

Платон Сергеевич резко взглянул на нее в упор и членораздельно произнес: «По-ду-маем! Понятно?!», вкладывая в эти два слова и интонацию что-то такое, чего пока его жена, а тем более этот нувориш не понимали. Однако жена должна была догадаться, что, видимо, Платон Сергеевич что-то задумал и лучше ему не возражать. Небрежно крутя в руке пачку свободно конвертируемой валюты, Платон Сергеевич язвительно произнес:

— Гуманитарная помощь, говорите. Ну-ну... Так вот, гуманитарную помощь мы возьмем, — сказал он, особо выделив слово «гуманитарную», — а об остальном подумаем. Подумаем, — вновь повторил он, обернувшись к своей бескомпромиссной супруге. — Мы вам по-

звоним, — сказал он магнату почти высокомерно. — Оставьте телефон или там визитку вашу, что у вас есть? А шампанское заберите.

Визитка у Спартака, разумеется, была. Она была оставлена на столе рядом с деньгами.

— До свиданья, — сказал Спартак родителям похищенного, улыбнувшись напоследок одной из своих самых располагающих улыбок. Он, как бы забыв забрать шампанское, вышел с твердым убеждением, что победил и проблему решил, а садясь в свой «порше», подумал: «Ай да я! Ай да молодец! Как я старичков-то уделал!»

Он и не подозревал, что все было не совсем так... или, точнее, совсем-совсем не так.

Продолжение следует.

Марианна ДУДАРЕВА

Марианна Дударева — литературовед, фольклорист, кандидат филологических наук. Окончила Ивановский государственный университет, филологическое отделение (выпускница кафедры русской словесности и культурологии, ученица фольклориста В. А. Смирнова), и аспирантуру филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (досрочно). В настоящее время — преподаватель кафедры русского языка № 2 ФРЯ и ОДРУДН, заведующая отделом литератур народов России и СНГ журнала «Юность». Автор более 100 научных статей о русской литературе и фольклоре и монографий «"В один голос": фольклорная традиция в поэтике С. А. Есенина и В. В. Маяковского», Mortality in Russian literature.

Русь, степь и заезжий татарский язык

Хроленко А. Т. Введение в экофилологию : учеб. пособие. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. — 264 с.

Этот год объявлен Годом экологии в России. В плане мероприятий видим: развитие системы работы с отходами, ликвидация свалок; охрана природных ресурсов; ликвидация накопленного экологического ущерба и т. д. Все это, конечно, замечательно, но Волга вряд ли потечет вспять и свалок станет меньше (переместят с одного место на другое — вспомним, как недавно периодически загораживали мусорными кучами памятник С. Есенину на Тверском бульваре). Не кажется ли уж очень прямым восприятие понятия «экология»? Здесь я хочу обратить ваше внимание, мой читатель, на другое событие (и не по плану!) этого года: вышла книга известного русского ученого, профессора, д. ф. н. Александра Тимофеевича Хроленко «Введение в экофилологию». Из названия уже можно понять, что речь пойдет о сбережении слова, Логоса. Ученый уже в предисловии, рассуждая о термине «эколингвистика», ставит перед читателем насущные вопросы: зачем народу надо беречь родной язык, и почему нам надо заботиться именно о русском языке, и что делает этот язык «великим и могучим»? Я не открою, дорогой читатель, всех ответов уважаемого ученого на эти непростые вопросы, потому что настоятельно рекомендую вам прочитать эту книгу самостоятельно. Однако на кое-что обращу внимание сейчас.

Александр Тимофеевич в своем исследовании очень тонко и аккуратно размышляет о значении татарского языка для русских, называя его заезжим, потому что «русский язык и русская культура складывались в условиях постоянных иноэтнических контактов». И удачно подкрепляет свою мысль отрывком из стихотворения Я. В. Смелякова:

Вы, прадеды наши, в неволе,
Мукою запудривши лик,
На мельнице русской смололи
Заезжий татарский язык.

И все это так — «результатом этого "помола" стали две тысячи тюркских слов, вошедших в русский язык».

Но здесь мне еще думается (как бы в противовес этому) о строчках из «Памятника» А. С. Пушкина:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Вадим Кожинов так прокомментировал этот отрывок: «...из всего-навсего двадцати строк своего Завещания поэт счел необходимым четыре строки посвятить утверждению, что он творил не для одного русского народа, но в явной, одинаковой мере для всех народов "Руси великой"!», и отсюда вытекает, что русская литература, язык и культура — для всех народов России. Ориентализмы, слова арабские, персидские, армянские и т. д. обогащают русский язык. Может, не каждый здесь со мною согласится, но, по крайней мере, русская литература в лице Пушкина, Лермонтова, Толстого, Бунина, Хлебникова воссоздала восточный колорит, для которого нужна и своя «восточная» составляющая лексики. И здесь мы переходим с уровня языкового на уровень национальной аксиологии и взаимодействия национальных образов мира в пределах одной культуры. Не распространяясь больше о литературе, скажу лишь, что в книге Хроленко обозначено еще много интересных проблем, связанных и с риторикой в русской культуре, и с соотношением идеологии и языка, и со своеобразием русского мышления.

Так что, мой читатель, в плане мероприятий этого года обязательно должно быть каждодневное блюдение языка, забота о нем, хоть Год литературы вроде и миновал.

ОТ РЕДАКЦИИ

Имя Нади Рушевой навсегда связано с «Юностью». В нашем журнале гениальный график публиковалась в то время, когда государство заботилось о талантах... Книга Зои Донгак еще раз подтверждает эту истину, а приведенные ниже отрывки говорят сами за себя.

Таланты такого рода являются достоянием всего народа

Донгак З. Мама Нади Рушевой: Воспоминания, фотографии, письма, графика Нади Рушевой. — Кызыл: Тываполиграф, 2014. — 164 с. 16 илл.

* * *

Однажды Наталья Дойдаловна с сожалением сказала:

— Как жаль, что я не вижу. Там видишь подшивки старых газет и журналов с пометами. Среди них, может быть, найдешь рецензии. Я нашла рецензию «Воображение Нади Рушевой («Юность», № 6, 1964 год), где Лев Кассиль писал: «Я увидел множество чрезвычайно выразительных и удивительных по точности художнического зрения рисунков. Меня познакомили с их автором — худенькой, чернобровой девочкой, молчаливо и как-то отчужденно, безразлично слушавшей все, о чем восторженно толковали писатели, журналисты, художники. Вскоре я побывал в доме у Нади, и ее родители — Наталья Дойдаловна и Николай Константинович — показали мне еще многие десятки ее папок, которые буквально заполнили и комнату, и шкафы. Я застал Надю за рисованием. Рисует она по воображению. А оно, воображение, у нее поразительно емкое и дальнозоркое. Когда Надя была в редакции, она увидела обломок античного барельефа — подарок Манолиса Глезоса редактору журнала Б. Н. Полевому. На обломке изображен старик, фигура и поза которого выражают скорбь... Пока все разглядывали работы Нади, она успела сделать два рисунка, воспроизводящих в двух вариантах и то, что отсутствует на обломке, и с отличным ощущением стиля и настроения домыслила древний сюжет».

Лев Кассиль, описав десять Надиных рисунков, напечатанных в журнале, заключает: «Вас, вероятно, как и меня, захватывает их тематическое

разнообразие, броская сила воображения, изящная компоновка сцен, наглядная убедительность мгновенно схваченных жестов, свободная и в то же время реалистическая грация каждой фигуры. Один из известных московских художников-педагогов П. П. Пашков, придерживавшийся в работе с ребятами принципов школы Павла Чистякова, любил говорить своим питомцам: "Сначала воображение, потом соображение и, наконец, изображение. Рисунки Нади Рушевой позволяют говорить о ее чудесном памятливом воображении и верить, что в будущем она сумеет обрести два других необходимых для зрелости компонента мастерства"».

Была и другая рецензия на эту выставку, которая из-за непрекращающегося потока посетителей экспонировалась двойной срок. Так, в журнале «Юность» № 8 под заголовком «Выставка, каких не было» приводились восхищенные записи из двух книг отзывов, проникнутых заботой о будущем маленькой художницы.

* * *

Академик В. А. Ватагин писал: «Я имею счастливую и ответственную возможность наблюдать за развитием необыкновенных способностей Нади Рушевой в течение одного года. Я вижу, что как художник она растет не по дням, а по часам. Ее рисунки далеко выходят за пределы детского творчества. Но и среди взрослых художников едва ли многие могут поспорить с легкостью ее техники, ее линий, чувством композиции, с остротой ее образов, с ее творческим восприятием мира. За сохранение, воспитание и развитие ее таланта ответственны не только родители и наставники. Таланты такого рода являются достоянием всего народа — государства. Вся художественная и педагогическая общественность ответственна за них. Необходимо создать для необычных талантов и необычные педагогические установки. Художественные институты, рассчитанные на средний уровень, бесполезны, а может, и вредны для них».

* * *

...Как-то Надя рассказала нам о споре в школе. На перемене между уроками она спросила своего учителя по литературе Николая Петровича Ярмульского:

— Кто из героев прекраснее — князь Андрей или Пьер?

Николай Петрович, вернувшийся с Великой Отечественной войны в чине старшего лейтенанта и в орденах, ответил, что его идеалом всегда был князь Андрей.

Надя возражала:

— Какой же он герой, если отец запретил ему жениться, если он подверг любимую Наташу годичному испытанию и при первой же ошибке вернул все ее письма. Это не по-рыцарски. Он храбр, но это долг каждого солдата. А вот Пьер — он герой! Никто не призывал его на Бородинское сражение, в самое пекло, на батарею Раевского! Никто не упрашивал его спасти ребенка из огня и женщину от грабителя-француза. За это он и под расстрел угодил. И когда Наташе было очень плохо, он один ее поддерживал. Друзья познаются в беде...

* * *

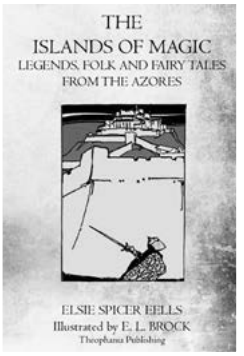
...В 1968 году, когда Наде исполнилось 16 лет, художник-график Жуков познакомил ее со старейшим писателем-пушкинистом Арнольдом Ильичом Гессеном.

Арнольд Ильич в одном документальном фильме так рассказывает о ней: «На 95-м году своей жизни я привык ничему уже не удивляться. Но — Надя Рушева! Откуда у этой девочки такое глубокое и изящное чутье художника? Откуда такое ясновидящее проникновение в дух и настроения Пушкина и его эпохи? Я тогда работал над своей новой книгой "Жизнь поэта", которую задумал иллюстрировать только рисунками самого поэта. Но до 14 лет Пушкин не рисовал! Надя! Восполните этот его невольный пробел? — И я дал ей почитать в рукописи две свои первые главы "Детство" и "Лицейский Парнас". Надя не сразу ответила. Подумала несколько минут. Потом сказала: "Попытаюсь".

Через месяц мы снова встретились. В ее папке лежало более семидесяти рисунков. Они были совершеннее прежних, перенесли нас в знакомый с детства пушкинский мир».

А. И. Гессен подарил нашей Наде книгу с надписью: «Буду рад, если я, девяностолетний писатель, встречусь с шестнадцатилетней Надей на страницах моей новой книги о Пушкине».

Материал подготовил Борис Рябухин



Элси Спайсер ЭЕЛЛС

Предлагаем вашему вниманию еще одну сказку-притчу из сборника «Волшебные легенды, истории и сказки Азорских островов» американской писательницы Элси Спайсер Эеллс (1880—1963), которая исследовала и собирала фольклор народов Южной Америки, Испании, Азорских островов. Две сказки из этой книги печатались в предыдущих номерах («Юность», 2017, № 7 и 8).

Рубрику ведет
Евгений Никитин

Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом зарубежной литературы журнала. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии зеленого листка в номинации «Начинающему автору» журнала за 2013 год. Печатался также в «Независимой газете», журнале «Плавучий мост». Выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета по специальности «перевод и переводоведение», учится в магистратуре Российского государственного гуманитарного университета.

Свежие фиги

Когда-то, давным-давно, жила-была юная девушка, страдавшая от тяжкого недуга. Ее отец был очень богат и делал все, чтобы дочь поскорее поправилась, но тщетно.

Как-то раз девушка вздохнула:

— Уверена, если бы только мне принесли свежие фиги, мне бы стало лучше.

Однако на дворе стоял январь; урожай созреет лишь много месяцев спустя. Отец забеспокоился. Он прекрасно знал, что даже его богатство не заставит фиги поспеть раньше срока.

Тем не менее он решил дать объявление, которое гласило: «Тот, кто принесет моей дочери спелые фиги, получит ее руку, если он молод, или денежное вознаграждение, если он стар».

Вести разнеслись по всей стране, однако ни у кого не было спелых фиг. В конце концов нашлась женщина, у которой в саду росло плодоносящее фиговое дерево, надежно укрытое от холодных ветров домом и высоким забором.

— Пошли эти фиги больной девушке, — посоветовали ей соседи.

— Пожалуй, мой сын отнесет их, — ответила добросердечная женщина.

У нее было двое сыновей. Один был глуповат, зато другой слыл одним из самых сообразительных парней в округе. Умный тут же поспешил к богачу, набрав в корзину лучших плодов.

По дороге ему встретилась дама в голубом платье с младенцем на руках. На самом деле это была Богоматерь, но он ее не узнал.

— Что ты несешь в корзине? — спросила она.

— Рога... Просто рога, — нашелся сообразительный юноша.

— Действительно, в твоей корзине рога, — ответила та.

Он отправился дальше. По пути поклажа заметно потяжелела.

— Что у тебя в корзине? — спросил богач, как только увидел юношу на пороге своего дома.

— Я принес свежие фиги из моего сада для вашей больной дочери, — ответил молодой умник.

Обрадовавшийся богач заглянул в корзину, затем внезапно схватил парня за шиворот и спустил с

крыльца. Оказалось, корзина и впрямь была полна рогов.

— Как ты смеешь так шутить со мной? — рявкнул мужчина ему вслед. — Чтоб духу твоего здесь больше не было!

На дереве еще оставалось несколько совсем невзрачных плодов. Второй сын, что поглупее, стал вымаливать у матери разрешение отнести их больной.

— Хорошо, иди. Бог знает, может, тебе и впрямь достанется рука дочери богача! — рассмеялась мать.

Глупец отправился в путь. На дне его корзины лежала горстка крошечных фиг. Ему также повстречалась женщина в голубом с младенцем на руках.

— Что ты несешь? — спросила та.

— Свежие фиги для больной девушки.

— Да, в твоей корзине фиги, — согласилась женщина.

Парень открыл корзину:

— Вот, возьмите одну для младенца. Милый малыш.

Он отдал ребенку лучший из оставшихся плодов и отправился дальше.

— Что у тебя в корзине? — спросил встретивший его богач.

— Свежие фиги из моего сада для вашей больной дочери.

Богач нахмурился: он не забыл, как его недавно обманули. Затем все-таки открыл корзину, и его глаза округлились от изумления:

— Ничего себе фиги! Ну и ну!

Оказалось, по дороге плоды заметно выросли, заполнили всю корзину целиком, стали сочными и привлекательными. При виде свежих фруктов больная так обрадовалась, что сразу начала выздоравливать.

Как только ее отец понял, что их благодетель — очень глупый молодой человек, он сильно пожалел о своем обещании. Однако он уже дал слово и не мог просто так взять и забрать его.

— Я знаю, как решить эту проблему, — посоветовал ему друг. — Выпусти на волю у подножия горы пару кроликов и скажи этому глупцу, что он лишится головы, если не поймает их и не принесет тебе до наступления ночи.

Именно так богач и поступил. Парень тщетно пытался поймать кроликов. Он изнывал от жары и усталости, и даже ему было понятно, что перед ним поставили невыполнимую задачу.

Вдруг перед ним снова явилась женщина в голубом с младенцем на руках.

— Что-то случилось? — спросила она.

Невезучий жених рассказал о своем задании.

Женщина сорвала тростинку и сделала из нее свирель:

— Подуй в нее, и кролики прибегут к тебе сами.

Парень заиграл на свирели такую увлекательную мелодию, что кролики тут же прискакали; он с трудом отбивался от наплыва других очарованных животных и птиц. Музыка пленяла каждого, кто ее слышал.

На обратном пути ему встретились двое мужчин, посланных расправиться с ним: разумеется, никто и помыслить не мог, что юноша вернется не с пустыми руками. Убийцы так изумились при виде кроликов в корзине, что застыли на месте. Еще больше удивился сам богач.

А больная девушка, заслышав чарующую музыку свирели, окончательно выздоровела. Вскоре сыграли веселую свадьбу.

Перевод с английского Евгения Никитина.

Евгений ЧИРИКОВ

Продолжение. Начало в № 12 за 2016 год, в № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 за 2017 год

Юность

Роман

Рисунок Марины Медведевой

XXVIII

Вот уже три месяца, как я в тюрьме. С того дня, как я узнал, что и Зоя пребывает под кровом того же мрачного здания, удивительное успокоение снизошло в мою душу. Бедная мама, обивши все пороги у властей предержащих и ничего не добившись, уехала, и ждать мне стало некого. Никто не придет, да никого мне, откровенно говоря, и не надо. Зоя со мной, есть книги, перо, бумага; хорошо и спокойно. Дело, видимо, затянулось: на допросах спрашивают о нелегальной библиотеке, о гектографе, о шрифте, но совершенно ясно, что ни библиотеки, ни шрифта они не нашли, а только знают, что они существуют. Держат в тюрьме с целью поморить и кого-нибудь смутить и побудить сознаться и указать, где спрятаны вещи. Так и начинают всегда допрос:

— Ну-с, вы имели много времени подумать. Не пожелаете ли теперь сознаться и указать, где сокрыты шрифт и книги?..

— Я вам уже сказал все, что имел сказать... Никакой библиотеки и никакого шрифта не видал и ничего о них не знаю. Вы имели тоже достаточно времени, чтобы убедиться, что все — это измышление ваших агентов...

— Так не желаете показать?

— Не могу, ибо ничего не знаю...

— Увезите!..

Все-таки приятная прогулка по городу, развлечение и отдых от однообразия тюремной жизни. Допросы мы все очень любим: они дают новую пищу для наших разговоров через стенку и догадок о том, насколько поднялись или опустились наши акции. Допрос, баня и всенощная по-прежнему вносят оживление в мою жизнь и разбивают ее на правильные интервалы, помогающие времени бежать вперед...

Уже привык к тюрьме и к тюремной жизни и ее особенностям. Иногда даже чувствую какую-то странную симпатию к этим мрачным каменным стенам и башням. Завелись приятели среди стражников и среди уголовных арестантов. Есть с кем поболтать в сумерках, и есть о чем подумать. В одиночестве мысль работает быстро, жадно, остро: книги прямо глотаешь одну за другой, делаешь выписки, набрасываешь свои заметки. Иногда является желание писать стихи или повести... Разрешили купить получше лампу и завести маленькое зеркальце, зубочистку и чернильницу. На столе уже виден некоторый комфорт и прочная оседлость. Из допросов видно, что власти имеют большое желание прицепить всех нас к делу Николая Ивановича, а для этого потребуется очень много времени: до сих пор нет связующих элементов. Я, как сожитель Николая Ивановича, для них — лакомый кусочек, но именно я-то и не даюсь в руки. Замучили допросами бедную Зою: каждую неделю возят в жандармское. Зоя сидит в No 6, и вести от нее доходят через четвертые

руки, вести отрывистые, иногда непонятные, перепутанные при передачах. Начинаю тревожиться за ее здоровье: иногда, ночью, прислушиваясь к напряженной тишине, узнаю ее кашель в конце нашего коридора... Полковник ей мстит за дерзости и оскорбление во время обыска. А может быть, тут имеет значение и то обстоятельство, что она — моя невеста.

Каждое утро камеру убирает уголовный арестант Флегонт. У него — приятное лицо, худое, с кроткими голубыми глазами, в которых я часто ловлю молчаливое сочувствие. Иногда, когда ожидающий у двери стражник отвлечется и займется разговором с кем-то в коридоре, Флегонт шепчет, подметая камеру:

— Терпеть надо, Енадий Николаич... Когда-нибудь отольются наши слезки.

— Хочешь папиросу?

Мигнет, чтобы положил на постель, и, убирая под кроватью, стянет папиросу, а потом молча приложит руку к сердцу.

Наладилась прочная молчаливая симпатия: переглядываемся ласковыми взглядами и вздыхаем. Однажды Флегонт начал говорить со мной жестами пальцев. Старался понять, но не понял. Потом догадался, что Флегонт предлагает передать что-нибудь товарищам. На маленьком куске тонкой бумаги написал: «Ты кашляешь, беспокоюсь. Г. Т.»; свернул, надписал: «В No 6» и положил на постель, рядом с папиросой. Флегонт понял и мигнул, но стражник заметил и отобрал записку и папиросу. И с этой поры вместо Флегонта стал убирать камеру другой арестант, не внушавший доверия. Вообще после этого я стал замечать что-то подозрительное в окружающей мою камеру обстановке. Касьянов, безнадежно влюбленный в Веру Игнатович и давно оставивший меня в покое и преследовавший перестукиванием свою соседку, неожиданно стал надоедать мне и спрашивать о том, о чем он должен был хорошо знать сам: где библиотека и кому сдан шрифт? Спрашиваю: кто говорит, отвечает — Касьянов.

— Н-е в-е-р-ю.

— П-о-д-и-к-ч-о-р-т-у!

А в соседстве, по другую сторону, тоже — новость: было пусто, а теперь, по ночам, слышен мягкий шум шагов и женское покашливание. Очевидно, новая комбинация. В голове копошится смутное предчувствие ловушки. Справа, несомненно, шпион, а вот кто слева? И зачем эта новая комбинация? Прислушиваюсь к тусклым звукам жизни за стенами, у соседей. Все больше убеждаюсь, что сосед справа должен изображать Касьянова, который куда-то исчез. А вот слева... Не может быть! Неужели — Зоя?!

Ночью прижимаюсь ухом к стене и ловлю слабое покашливание: страшно напоминает Зою. Неожиданный стук от мнимого Касьянова:

— Р-я-д-о-м с-и-д-и-т т-в-о-я н-е-в-е-с-т-а...

Вихрем кружится мысль и вдруг, как молния в хаосе туч, вспыхивает в сознании догадка, испугавшая и обрадовавшая: с одной стороны подсадили Зою, а с другой — шпиона, хотят выудить из наших разговоров нужную им тайну... Даже застучало сердце от этой догадки. Сразу все стало ясно, и великое злорадство наполнило душу:

— Эх, вы! Комики!.. Благодарю вас за соседство слева, а справа нам не помешает. Коварство и любовь!..

И, спрятав лицо в подушку, я стал потихоньку хихикать. А потом подошел к соседу и простукал: «Касьянов, спишь?» Словно с цепи сорвался мнимый Касьянов: моментально застукал громко, никого не боясь:

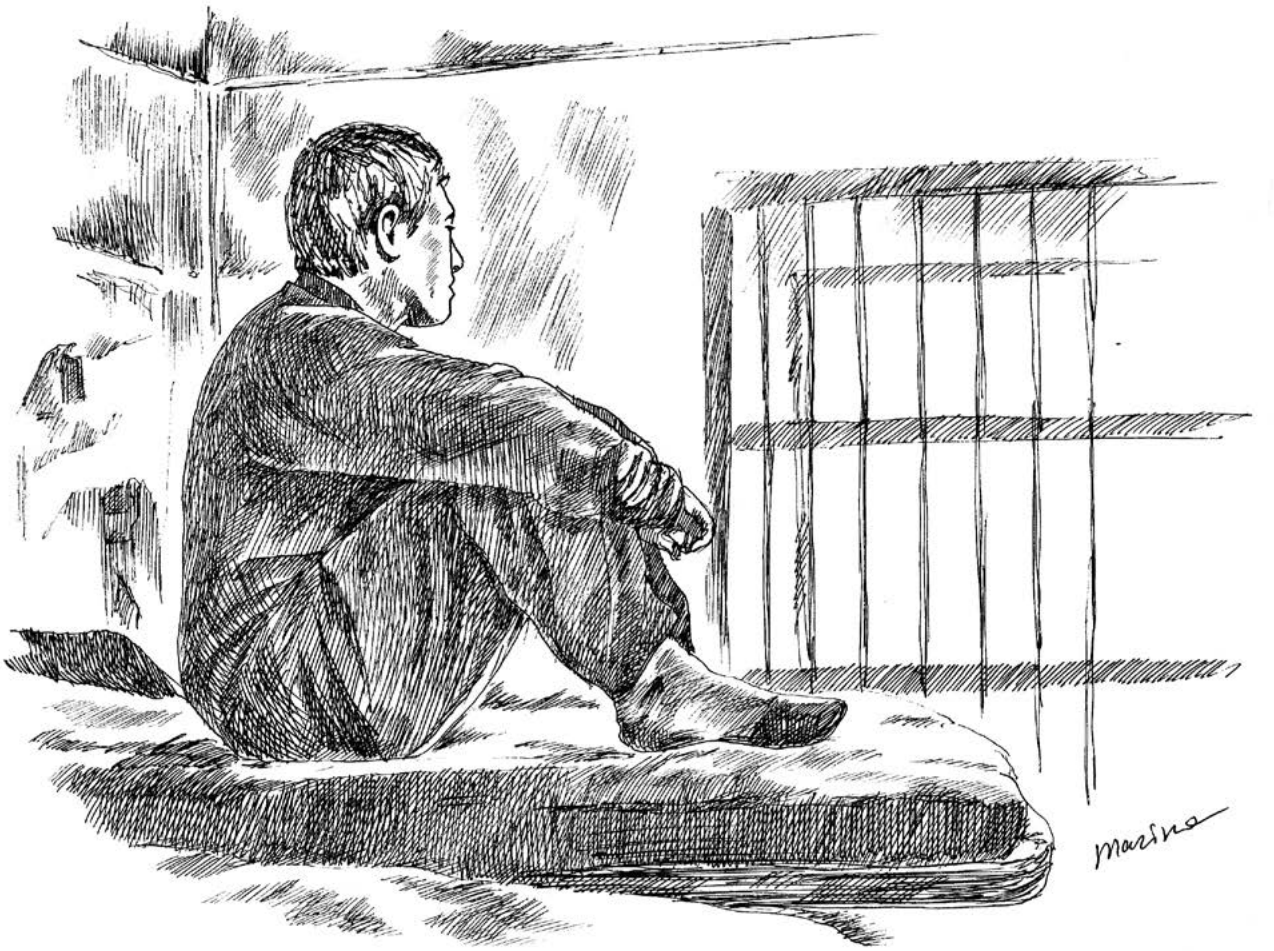
— Не сплю. Как дела? Спроси невесту, куда они спрятали шрифт.

— Не понимаю, о каком шрифте говоришь.

— Она знает. Стучи ей. Сидит рядом.

Не могу сдерживать смеха, хихикаю в руку и стучу, что невеста не знает азбуки и не умеет перестукиваться. Велит научить, выбивая буквы по порядку алфавита, без рядов. Обещает подкинуть ей нашу тюремную азбуку. Отвечаю: «Сделай это скорее, необходимо».

Это была веселая ночь: словно я был в театре и смотрел какой-то водевиль с переодеванием. А когда водевиль кончился, я лег в постель и всем существом стал ощущать близость милой Зои. Трудно передать это ощущение: радостное беспокойство и грусть тихой нежности непрестанно, как волны прибоя, набегали на душу, катились в крови к сердцу, и баюкали, и ласкали. А когда слух ловил глухие звуки милого голоса, я закрывал глаза, и мне казалось, что я вижу за столом у лампы склоненную над книгой золотую головку и печальную улыбку на милом лице. Вот она встала и медленно, плавно ходит по камере. И только одна стена разделяет нас. Если бы она знала, что я — рядом!.. Опять так близко и так далеко... Я громко кашлял: может быть, узнает; потом прислушивался. Нет, не догадывается, не узнает. Было досадно и немного обидно. Снова начались мучительные ночи: радостно-тревожное чувство все нарастало и нарастало. Много раз пытался постукивать, но ответа не было: шаги смолкнут, но ответных стуков нет. Не знает азбуки, а может быть, боится.



Она — умница, осторожная. Не следует на нее сердиться. Дня через три мнимый Касьянов постучал мне, наконец:

— Азбуку подбросил, говори.

— Молодец...

Как только наступили сумерки, начал осторожно постукивать. Я знал, что нам мешать не будут, но не хотел отступать от наших обычаев, чтобы не зарождать сомнения в соседе. Поэтому сдержал свое нетерпение и проявлял фальшивую осторожность. Тихо, нежно так выстукиваю:

— З-о-я, З-о-я, З-о-я, З-о-я.

Вопросительный кашель, тишина, два удара в стену.

— З-о-я, З-о-я, З-о-я...

Громкий радостный смех за стеной, такой знакомый и странный.

Снова громко кашляю. Тишина. Эх, будь что будет: взял да и запел во весь голос: «Эх, ты, ноченька, ночка темная...»

Громкий стук в стену и глухой голос, поющий за стеной: «Ночка темная, ночь осенняя...»

Громкие шаги в коридоре, звон ключей, лязг железа. Слышно, как отпирают соседнюю камеру и спорят с Зоей. Потом идут к моей, отпирают.

— Петь не полагается. Переведем в башню.

— Разве не полагается?

— Что вы, первый день здесь живете?!.

— Забыл. Не буду.

— Из-за вас нам неприятности. Если запоете еще раз...

Идите, больше не надо... Теперь обойдемся и без песен. Словно солнце засияло в камере после непогоды и так хорошо стало на душе. Теперь мы будем оба чувствовать друг друга близко и в смутных шорохах за стеной угадывать и сливать наши мысли. У Зои, благодаря любезности соседа, теперь есть условная азбука для перестукивания, и мы можем изредка обменяться лаской слов. Боюсь одного: не начала бы Зоя выстукивать что-нибудь тайное, что не следует знать коварному соседу... Поэтому в первую же попытку поговорить с Зоей я после краткого «люблю» «на допросе добиваются узнать о какой-то библиотеке и шрифте, о которых мы с тобой ничего не слыхали». Не знаю, поняла ли мои слова неопытная Зоя, но мой сосед сразу понял; в тот же вечер он мне выстукал: «Переспроси-

те, она не поняла». Забыл, прохвост, что он — Касьянов, и начал говорить со мной на «вы»...

В моей тюремной жизни начался новый период. Я ни на одну минуту не был одиноким: со мной всегда была моя Зоя. Было похоже на то, будто мы живем в одной квартире в соседних комнатах. Стена не мешала близости, а скорей помогала ей. Днем, когда шум тюремной жизни мешал улавливать жизнь в соседней камере, я читал и писал, а как только тюрьма затихала, я, прильнув к стене, слушал, как Зоя ходит по камере, как она двигает табурет, пьет чай, покашливает, тихо вытягивает песенку или говорит сама с собой. Что говорит — разобрать нельзя, но довольно голоса, интонаций: приятно угадать хотя бы настроение духа и знать, что она жива и здорова. Ночью, ложась спать, мы прощались: «Ложусь, спок. ночи, целую», — выстукивала она, а я, целуя то место стены, в которое приблизительно ударял карандаш Зои, отвечал: «Безумно люблю, целую стену». Зоя стучала: «Я — тоже». Утром мы здоровались просто ударом в стену, причем я никогда не стучал первым, чтобы не будить моей голубки. Когда я уходил на прогулку или когда меня увозили на допрос, я с удовольствием возвращался «домой», то есть в свою камеру: «дома» меня ждала Зоя. Я даже торопился и беспокоился, как у меня там, «дома»? Вероятно, и Зоя испытывала то же самое: возвращаясь «домой», она, как и я, первым делом оповещала меня о своем возвращении: ударяла один раз в стену. Ярко горела любовь через каменную стену!.. Я все чаще писал стихи в честь Зои и перестукивал их моей вдохновительнице.

Был уже март, и в природе чуялась близкая весна: все синее становились небеса, прозрачнее воздух, и начинало пахнуть землей и тающим снегом; по ночам через раскрытую форточку ярко мигали звезды, и резко звучали голоса ночи и шорохи скатывающегося с крыш снега; звонче били ночью часы на городской башне, и тревожнее где-то далеко лаяли собаки. Из окна моей камеры, закрытого снаружи деревянным конусом с открытым раструбом в небо, был виден купол и крест тюремной церкви, на которой иногда садились черные грачи. Иногда и ночью не было заморозков, и тогда было слышно, как за окном падает с крыши капель и как ворчит тающий снег. Снег таял, а любовь разгоралась все ярче. Иногда ночью, раскрыв форточку, я садился на стол, и прислушивался к звукам предвесенней ночи, и всматривался в звезды. Мелодично перезванивали часы на башне, и ночь внимательно вслушивалась в тающий в воздухе перезвон колоколов. В памяти бродили неясные воспоминания о весенних звездных ночах, таинственно прячущейся в кустах белой сирени с одуряющим запахом, о легком контуре белой девушки в ночных сумерках сада и горячем поцелуе... Когда это было?.. Ах, это будет, будет!.. Будет весенняя ночь, звезды, таинственные кусты цветущей сирени и белая застенчивая девушка с тяжелыми косами... и поцелуй, долгий-долгий, от которого помутится голова, как от опьяняющего аромата белой сирени!..

Зоя, моя любимая, моя прекрасная Зоя! О, как я люблю тебя, моя невеста! Ты должна это почувствовать даже во сне, если ты уже заснула... Да, да, конечно, она кашляет... не может уснуть и думает о том же... Тук-тук! Отвечает: «так-так». Это значит: «Любишь?» — «Да, да!»

— Боже, как я счастлив!.. Как я счастлив!..

XXIX

Голубой кусок неба, яркое, но невидимое солнце, шум дружной капели с карнизов и неумолчный, похожий на звон бубенчиков говор стремительных ручейков; задорный разговор воробьев и мурлыканье воркующих голубей под окном; протяжный перекликающийся перезвон в церквах, близких и далеких: Великий пост...

В раскрытую форточку так и тянет весной. Не хочется слезать со стола. Все бы смотрел на кусок голубого неба и слушал, как звенят ручьи и воркуют милые голуби! Встал на стол, всунул лицо в фортку и не могу надышаться влажным, прозрачным воздухом. Хочется закричать в фортку:

— Люди, здравствуйте!

— Господин, слезайте со стола! Нельзя.

— Что же, вылечу в форточку, что ли?

— Не вылетите, а все-таки не допускается.

— Требую выставить зимнюю раму.

— Не выставляется у нас... никогда.

— Вон как у вас... Довольно глупо у вас...

— А вы не рассуждайте, а то... Вот вам кипяток и письмо!..

— А, ну так бы и говорили.

Заварил чай. Письмо — от мамы: тысячу раз целует, прихварывает, страдает за меня и за себя, хлопочет о разрешении взять меня на поруки. Просят три тысячи, а взять их негде. Могла бы еще кое-как сколотить тысячу, а три — нет сил; есть одна надежда на одного человека, но пока не хочет обольщать и смущать меня надеждой. «Три тысячи. Легко сказать! Значит, ты наделал хороших дел, если меньше как за три тысячи не могут выпустить тебя на поруки к родной матери». Дальше — упреки и скрытые слезы, жалобы

на плохое здоровье и усталость от огорчений. На Пасхе собирается приехать в Казань.

Только на мгновение мелькнула радость в душе, когда мать написала про поруки. Обожгла мысль о свободе и сейчас же померкла и пропала: выйти на свободу одному, без Зои, — нет, не хочу, не могу, не имею права!..

Где-то поет скворчик, и поют протяжные колокола. И радостно, и грустно на душе. Уронил на руки голову, а невидимое солнышко как-то ухитрилось пролезть в окно и ласково греет руку. Свежий ветерок течет из фортки на голову, шевелит волосы. Хочется дремать под грустный перезвон великопостных колоколов. Роятся в памяти какие-то далекие воспоминания о страстных днях, о пасхальной заутрене, еще о чем-то далеком-далеком... Смутно рисуется детство, доброе лицо умершего отца, игрушки, пасхальные яйца, лужок, мама в белом платье, молодая, не та, которая хочет приехать на Пасху. Чего-то жаль, о чем-то хочется вспомнить, и не можешь, что-то убежало и не вернется...

Радостно поет где-то скворчик, и грустно перезванивают колокола.

— Пожалуйте на прогулку!

— На прогулку? Это хорошо. Надо посмотреть, где это поет скворец и воркуют голуби...

Всякий раз, выходя на прогулку, я торопился посмотреть на запертую дверь соседней камеры: ведь там, за дверью, сокрыто мое счастье! И на этот раз я взглянул на дверь. Взглянул и в тревожном изумлении остановился: дверь растворена, камеру убирает мой приятель Флегонт. Вопросительно взглянул на Флегонта, он — моргнул глазами.

— А вы пожалуйте!..

— Иду...

— Потом у них в 5-м номере уберешь! — бросает на ходу стражник Флегонту.

Камера соседа справа тоже растворена. Странное впечатление производят раскрытые двери камер: и радость, и тоска сжимают сердце... Словно раскрытые клетки, из которых улетели на волю птицы. В душу хлынула жажда свободы, и зависть зашевелилась там, и радость за Зою, и досада на нее.

— Идите, не оглядывайтесь!

— Иду, иду...

Прошли длинный коридор, свернули и начали спускаться по лестнице. И тут-то случилось это неожиданное, невероятное, о чем я часто мечтал, как о чуде, и что несколько раз я видел во сне: навстречу вели Зою... Все это случилось так неожиданно для всех, и для нас и для стражников, что произошло полное замешательство. Стражники метнулись назад, а мы — друг к другу. Молча мы схватились за руки и впились друг в друга глазами. Вихрь радости закружился в ушах, и мы не нашли слов, чтобы что-нибудь сказать друг другу. Впрочем, все это было делом одного момента, потому что стражники быстро спохватились и, оттащив нас друг от друга, повлекли в разные стороны.

— Зоя!..

— Геня! Милый!..

Вот все, что мы успели прокричать друг другу, уже потом, издали... Мой стражник по дороге с кем-то успел переброситься бранным словом, кому-то погрозил доложить смотрителю про эту недоглядку, а я смеялся от восторженной радости, которая клокотала во мне, как вода под огнем, и готов был обнять сердитого стражника и того, кого он ругал бранными словами.

— Спасибо, милые, спасибо вам, дорогие!..

— Не разговаривать!

— Я сам с собою.

— С собой не о чем разговаривать. Гуляйте!

— С собой дозволено. Покажите инструкцию: там нет такого параграфа.

— Гуляйте в молчании, а то уведу в камеру...

Поет скворчик на Зоином окне, поет умильно и радостно. Недаром он пел с самого утра. Спасибо, скворчик! Грустно перезванивают великопостные колокола, а в сердце уже пасхальный трезвон под «барыню»... Хожу, а ноги подплясывают, и все хочется громко, на всю тюрьму, запеть или закричать в город:

— Люди! Я видел Зою!

Как она похудела! Какие у нее большие глаза и синие, как это небо... Как радостно они засмеялись и схватили мою душу! Не могу припомнить, как она была одета. Только сейчас встретил, а не могу представить всей ее фигуры. Стоят в памяти только большие синие глаза, светлая улыбка и какой-то испуг; потом помнятся качнувшиеся косы. Как я не догадался поцеловать руку или косу: рука была в моей, вот в этой самой руке, а коса ударила меня по щеке, золотая коса! И теперь еще кажется, что коса щекочет щеку... «Эх, дурак ты, братец!»

— А вы, господин, не ругайтесь!..

— Да я — себя.

— А кто вас знает, кого вы... Гуляйте в молчании!

Значит, не выпустили, а возили либо на допрос, либо на свидание. Скорее — на свидание: она стучала что-то про отца. Не приехал ли отец, этот странный человек, пригрозивший нашей любви губернатором и преосвященным. Беспокоит

меня этот господин, которого я никогда не видал: не наболтал бы чего-нибудь, не напортил бы нам с Зоей... Надо нам поговорить и условиться, как быть, если отец что-нибудь затеет неподходящее к нашим планам: мы решили, как только кончится дело и состоится приговор, повенчаться в тюрьме и поехать вместе в ссылку, если ссылкой кончится. А если только высылка или надзор — мы изберем для жительства один город и там уже решим, когда повенчаться и нужно ли вообще венчаться. Я — против этой формальности принципиально, но Зоя не хочет огорчать родных и просит повенчаться. Пусть, для нее я готов на эту жертву...

Вон, около тюремной стены уже обтаяло и видна земля. Надо походить по этой мокрой земле. Как это приятно ступать по обнажившейся земле; мягко, скользко, остается след от резиновой калоши! Вон вьется веселый ручеек. Подошел, запрудил его ногой: скопилась мутная вода и побежала мимо. Не удержишь! Весна, тебя не удержишь! Любовь, тебя не запрешь в тюрьму!.. А голуби все воркуют. Они рады, что мы с Зоей встретились. Где они? Ах, вон куда забрались: в нишу каменной стены. Для них нет неволи и им не надо венчаться, и никто их не отдаст под надзор полиции и не вышлет. Счастливые голуби! Если бы мы, люди, могли жить так же, как вы, голуби!..

— Пожалуйте домой! Прогулка кончилась.

Да, надо домой. Там ждет Зоя. Куда ее, голубку мою, возили? Что она расскажет? Почему-то волнует меня тревожное ожидание и страх, не случилось ли чего-нибудь неприятного для нас обоих.

Словно чувствовало сердце недоброе. Войдя в камеру и осмотревшись, увидал на постели, за подушкой, записку и сейчас же понял, что ее подкинул от Зои мой приятель Флегонт.

«Приехал отец, хлопочет на поруки. Как скажешь, так и сделаю. Если хочешь, не выйду. Тяжело оставить тебя одного, словно теряешь навсегда. Милый, родной мой! Как же быть? Надо скорей повенчаться. Если отец будет мешать, не выйду из камеры. Верь и не грусти! Что бы ни было, никто и ничто нас не разлучит. Ночью буду ждать ответа, а лучше бы написал и передал Флегонту. Он — надежный. Трудно говорить через стену, много пропускаю, путаю. Весна, родной! Как хорошо на улицах! Ах, когда же мы с тобой... Твоя невеста».

Несколько раз прочитал письмо и стал быстро ходить по камере. Как же быть? Что предпринять? Висела над нами какая-то смутно сознаваемая беда; пугала близкая возможность разлуки; на кого-то я страшно сердился, а на кого — не мог сказать определенно. Кто-то покушался отнять у меня мое счастье, а права на это не имел: Зоя — моя, только моя, больше моя, чем отца и матери. Никто не должен вмешиваться в нашу судьбу. Не позволю. Ходил все быстрее и думал все решительнее. Потом взял лист бумаги и решительным почерком, крупным и размашистым, сопровождая письмо чернильными непочтительными кляксами, написал в жандармское управление: «Политического арестанта, Геннадия Тарханова, прошение. Давно уже состоя женихом политической арестантки такой-то, имею честь просить о разрешении повенчаться с ней в тюремной церкви в самом непродолжительном времени. Геннадий Тарханов, политический арестант из камеры No 5». Во время вечерней поверки передал это прошение помощнику смотрителя и сердито сказал:

— Потрудитесь немедленно отослать в жандармское управление!

— Новое показание по делу?

— Совершенно новое. Вас оно не касается.

— Я не только могу, но я обязан читать все, что пишут в тюрьме политические.

Читает и чуть заметно ухмыляется, негодяй.

— Смешно?

— Имейте в виду, что теперь только вторая неделя Великого поста и потому...

— Это не ваше дело.

— Едва ли...

Покачал головой и пошел с улыбочкой на губах из камеры. Не могу передать той злобы и ярости, которые я испытывал, глядя в толстый затылок уходящего помощника смотрителя. Если бы в моих руках был какой-нибудь тяжелый предмет, я пустил бы им в этот жирный затылок. Но у меня в руках ничего не было, и я только до крови закусил нижнюю губу и сквозь зубы прошептал:

— Ммеррзавец!

И опять стал бегать по камере, пока не закружилась голова и не помутилось в глазах. А когда это случилось, бросился в постель и лежал без движения до тех пор, пока не подали зажженной лампы и кипятку для чая.

Медленно пил чай и обдумывал свое положение. Что, если нам не разрешат повенчаться в тюрьме? Отец возьмет Зою на поруки и, конечно, постарается разлучить нас навсегда: увезет куда-нибудь, за границу, например. Там она встретит кого-нибудь, полюбит и... Нет, она любит меня бесповоротно! Хорошо, если Зою куда-нибудь вышлют, а то ведь может все дело кончиться для

нее высылкой на родину и отдачей на поруки родителям. Это практикуется. Этого я боюсь больше всего. Попадет в западню моя Зоя и трудно будет добыть мою полоненную Царевну. Отец у ней похож на Кащея Бессмертного — это видно из его грубого письма ко мне. Скверно, Геннадий Николаевич!

И впервые еще я почувствовал ненависть к стене, которая нас давно разделяла.

— Проклятая!.. Ничем не прошибешь...

Постучал. Стена ответила. Прилег на постель, прильнул к холодному камню и начал выстукивать свое решение:

— Надо немедленно обвенчаться. Поняла?

— Тук, тук!

— Немедля подай прошение в жандармское. Поняла?

— Тук, тук!

— Когда повенчаемся, выходи на волю, только не забудь меня!

— Н-е з-а-б-у-д-у, н-и-к-о-г-д-а.

Потом я сообщил Зое, что моя мать тоже хлопочет о поруках и ищет денег, но что я не выйду, если Зоя останется еще в тюрьме. На это стена простучала мне:

— М-и-л-ы-й, л-ю-б-л-ю, ц-е-л-у-ю.

Итак, все сделано. Теперь нечего бояться. Раскрыл фортку и стал слушать и смотреть в звездное небо. Была тихая ночь, лунная, печальная какая-то. На тюремной церкви ярко сиял под лунным светом крест. Синий купол слился с фоном неба, и казалось, что крест висел в воздухе, как вещее чудо или знамение. Я долго смотрел на горящий синими огнями крест, и вдруг мне захотелось молиться. Я встал на стол, опустился на колени и стал шептать:

— Господи, спаси нас!.. Ты можешь. Ты видишь, как мы страдаем...

Успокоенный, я собирался спать и по обыкновению постучал, чтобы проститься с Зоей. Но ответа не было. Я прильнул к стене ухом и услыхал что-то, похожее на тихий плач... Она плачет, плачет. О чем, голубка? Тревожно постучал в стену и прислушался; встала, с шумом отодвинула табуретку и подошла к стене.

— Ты плачешь? О чем?

— Я не могу выйти на свободу без тебя. Обвенчаемся, и я опять вернусь в мою камеру.

— Прекратите разговоры!

— Я не говорю.

— Значит, стена стучит? Сама? Надо вас развести... вот что.

— Не буду, не буду...

Всем хочется нас развести. Проклятые!..

XXX

...Опять раскрытая дверь. Опять увезли Зою на допрос. Как ее мучают!.. А может быть, на свидание с отцом. Не хочется гулять: дрожит в груди тревога. Надо скорее «домой»...

— Довольно! Больше не хочу гулять.

— Пяти минут не прошло еще.

— Все равно, веди меня в камеру. Не хочу.

— Как угодно. Мне все равно.

Не вернулась: камера по-прежнему раскрыта. Дрожит в груди тревога. Хожу, приостанавливаюсь и жду, когда хлопнет соседняя дверь, заскрипит засов и забренчат ключи: это случится, когда Зоя вернется в камеру. Радостно вздрагивает сердце при каждом далеком стуке дверью, при каждом шорохе в коридоре. Нет, не то... А может быть, она уже в камере? Может быть, я как-нибудь пропустил ее возвращение. Подхожу к стене, прикладываю ухо, напрягаю слух и внимание. Нет, не слышно... Камера — пуста. Не верится. Стучу в стену условным призывом. Нет, не отвечает... Господи, что же это значит? Снова крадусь к своей двери и, затаив дыхание, прислушиваюсь к звукам и шумам в коридорах. Нет, нет! Смотрю на часы, успокаиваю себя: прошло не больше часа, на допросе иногда держат по два часа... Что им от тебя нужно? Что они мучают мою бедную голубку! Хожу, как зверь в клетке, тыкаясь в углы, а тревога все растет и растет. Смотрю на молчаливую стену: холодная, мертвая, угрюмо-молчащая стена. Она знает, но не скажет. Никто не скажет, не напрасно ли я жду желанного звона ключей!

— Зоя, моя милая невеста!..

Проходит еще час, и проходит другой. Зловещая тревога уже гонит прочь успокаивающие догадки, и безостановочно гложет душу, и шепчет на ухо:

— Нет, не жди! Она не вернется.

Идут, бренчат ключами... Она!.. Нет, это ко мне.

— Обед.

— Я не буду обедать. Постойте, скажите, где девушка из No 6?

— Не знаю.

— Прошу вас... ради Бога!..

— Ничего неизвестно...

— Умоляю вас, скажите, где она, моя невеста?.. Скажите только, вернется она? Да, конечно она вернется?.. Ну, так убирайтесь вон! К черту с вашим обедом!..

Ушел. Злобно звякнул железный засов... Один, один! Она не вернется... Зоя, Зоя!.. Как мне скучно! Если бы ты знала, как мне скучно!..

Где ты? Хотя бы знать, где ты и что с тобой! Не скажут. Никто не скажет. Ты не могла выйти, бросить меня, не сказав ни одного слова. Нет, ты не могла! Здесь кроется какая-то подлая проделка. Милая, тебя обманули!.. Я ручаюсь, что ты, оставляя утром тюрьму, уже думала о том, чтобы поскорее вернуться. Нас обманули, Зоя!

— Что же делать? Господи, научи, что делать! Тоска, невыносимая тоска... Кто там еще лезет в мою камеру? Что вам от меня надо?!

— Потрудитесь прочитать бумагу и расписаться в прочтении...

— Какую бумагу?.. Зачем? Надоели мне ваши бумаги. Лучше скажите, куда вы девали арестантку из No 6?

— Эта бумага вам выяснит.

Вырвал бумагу, читаю: «Сим политический преступник Геннадий Тарханов уведомляется, что прошение его о разрешении повенчаться в тюремном храме во имя Всех Скорбящих оставлено без последствий, так как указанная в оном прошении невестою заключенная того же тюремного замка девица в означенном замке не находится».

— Где же она?

— Это к делу не относится.

— Как не относится, когда мы с ней хотим повенчаться?

— Не кричите! Не забывайте, что вы не начальник, а я не ваш подчиненный! Мы не обязаны разыскивать невест.

— Ну, так убирайтесь к... вон!

— Потрудитесь расписаться и не возвышать голоса...

— Без последствий!.. Очень хорошо сказано... Оное прошение... Оная девица!.. Оный тюремный замок!.. Извольте, расписался: «оную бумагу читал Геннадий Тарханов». Все? Теперь уверены, что оная девица не пойдет за меня замуж?

— Не следует, подписываясь, делать таких росчерков и клякс. Вы не министр, а политический преступник.

— А разве министры всегда делают кляксы?.. А вы их слизываете...

— О ваших дерзостях будет доложено куда следует...

— А мне, ваша светлость, наплевать!

— Вот этаких на поруки не следует выпускать, а хорошенько проманежить.

Помощник вышел, а я стал бегать по камере и возбужденно говорить сам с собой и хохотать:

— Без последствий!.. А! Хотят оставить нашу любовь без последствий!.. Не следует меня выпускать на поруки!.. Проболтался, голубчик: теперь ясно, как Божий день, что Зою взял на поруки отец и что ее обманули: повезли на допрос и передали отцу, этому господину... Кащею Бессмертному!

Тоска, ах какая страшная тоска! Не знаешь, куда себя девать, куда спрятаться от тоски. Кажется, разбил бы лоб об эту холодную, мертвую стену, за которой жила моя похищенная Принцесса... Тоска, тоска, тоска! Черт с вами, теперь мне нечего жалеть, переводите в башню, в карцер, куда угодно. Мне все равно, я хочу запеть, громко, с тоской запеть свою любимую песню... Тюрьма, слушай:

Эх, тоска, братцы-товарищи, в грудь запала глубоко,
Дни веселия, дни радости отлетели далеко!..

— Прекратите пение! Нельзя.

— Чего там нельзя!..

Эх, за что ты изменила мне, я ль тебя да не любил?!
За тебя, моя изменница, свою душу загубил...

По коридору забегали, бряцая шашками и ключами тюремщики, а в противоположном конце какой-то политик уже подхватил и пел густым басом на всю тюрьму:

Полно, брат-молодец, ты ведь не девица,
П-пей, — тоска-а-а пройдет...
Пей, пей! — тоска пройдет.

И угрюмая тюрьма вышла из безразличного равновесия. В разных концах, вверху и внизу, пели и перекликались; никто не боялся угроз и не хотел признавать прав тюрьмы на безмолвие. Долго смотритель со стражниками бегали по камерам, упрашивали, стращали, умоляли, но как только водворялась тишина в одном конце, так в другом начиналось пение и перекличка. Я уже стих, мне надоело озорничать от тоски и отчаяния, а товарищи продолжали шуметь. Моя громкая «песня о тоске и изменнице» прорвала весеннюю жажду свободы, песни, любви, общения, и все порядки полетели к черту. Но вот мало-помалу шум стал ослабевать и, наконец, совсем прекратился. Воцарилась тишина, угрюмая и тяжелая, казавшаяся, после непривычного шума и взрыва молодой жизни, еще более глубокой и мертвой. Могила, каменная могила...

Прошла ночь, первая одинокая ночь. Опять раскрыта форточка, опять — синее небо, звезды, вздохи и шорохи земли, тайно, в ночном безмолвии, приготовляющейся к встрече желанной гостьи-весны; опять мелодичный перезвон на городской башне... Только нет за стеною той, кото-

рую я люблю, и некому уже сказать «спокойной ночи»!..

Лежу в постели с раскрытыми глазами и все еще не верю, что умерла стена: все чудится, что нет-нет да и скрипнет башмачок, милый башмачок милой девушки!.. Несколько раз, задремав, весь встряхивался и пробуждался; должно быть, во сне казалось, что стена тревожно зовет:

— Тук-тук!

Прижимался ухом к холодному камню и весь превращался в слух. Потом, ослабев от нервного напряжения, как больной, валился на подушку и, отдуваясь, шептал запекшимися губами:

— Нет. Не вернется!..

Ах, как долга эта первая одинокая ночь и как часто бьют на городской башне часы!.. Бежит время, а кажется, что оно навсегда остановилось и что никогда уже не придет утро и не взойдет над землей солнце...

XXXI

Все выше и прозрачнее синее небо и все горячее солнце. На тюремном дворе уже нет снега, обнажилась земля, а под стеной уже вылезла зеленая травка; на одинокой березе наливаются почки; под раструбами водосточных труб блестят лужи и мелкие ручейки, как ленточки, разбегаются в разные стороны. Беспрерывно трещат по мостовым невидимого города извозчичьи пролетки, гул их, веселый и торопливый, уносит мысль на оживленные улицы, где снуют свободные люди в новых весенних костюмах, девушки в синеньких вуалетках, с новенькими зонтиками...

Скоро Пасха: сегодня началась Страстная седмица. Должно быть, многих выпустили: как-то очень уж тихо и одиноко в тюремных коридорах... Не слышно по ночам тревожных стуков, кашля, вздохов; громче разговаривают между собой тюремщики, и нет в них прежней суетливости и беспокойства. Уголовные арестанты моют полы, скоблят что-то и стучат железными ведрами. Должно быть, и в этом каменном гробе ждут и готовятся к встрече Христа, которого сами же и распинают... Эх, вы, слепые кроты!

Почему-то великопостный перезвон тянет, приковывает мысль к великим страданиям, к терновому венцу и кровавому поту Распятого за великую любовь к людям. Скоро будет уже две тысячи лет, как люди вспоминают об этих страданиях каждый год, а все еще не поймут, что они каждый день, каждый час распинают своего Бога...

Я люблю в Страстную седмицу ходить в церковь: в эти дни люди как-то ближе делаются друг другу и, как раскаявшиеся преступники, грустят о какой-то неведомой хорошей жизни и смутно сознают суету и пустоту тех благ жизни, за которые они непрестанно грызут друг друга за горло... Даже в фарисеях в эти дни начинают теплиться искорки искреннего покаяния...

Каждый день я хожу к часам и к вечерне. Закрою глаза и прислушиваюсь к кроткой молитве, так просто и искренне раскрывающей перед Богом все человеческие слабости:

— Господи, владыко живота моего...

Вздыхают люди, опускаются на колени, и вся церковь наполняется покаянным настроением. Хочется прощать даже врагам своим, не ведающим бо, что творят.

В тюремной церкви так странно и резко, под звон кандалов, звучат слова кроткой молитвы. В голове встают непримиримые контрасты: вот они, люди — одни заковали других, как опасных зверей, в железные цепи, рассадили по клеткам и теперь вместе сокрушаются и молят Бога:

— Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему!..

— И не осуждати брата моего...

Мешает это отдаваться тому настроению, которое испытывал в такие дни в церкви свободным. Только начнешь отлетать от земных злоб, как вдруг — звон кандалов или бряцание оружием, — и раскрываешь глаза, и саркастическая улыбка начинает шевелить губы. Думаешь: «Если на небе есть Господь, как ему, должно быть, обидно, горько и смешно смотреть и слушать слепых рабов своих!..»

Хотелось вспомнить детство, всю неделю пропоститься и даже поговеть. Нет, не могу! Ничего не выходит. Не покидает дух сомнения: кандалы не дают ему притихнуть и слиться с молящимися братьями в общей кроткой, такой прекрасной молитве... Буду слушать великопостное пение и вспоминать хотя, а не переживать то, что не хочет вернуться...

Купил пучок вербы с белыми пушистыми, похожими на маленьких зайчиков, цветами, купил толстую восковую свечку с золотом. Хожу аккуратно к часам и к вечерне, жую пахучий воск, подпеваю арестантам, а сам вспоминаю, как говел, бегая из церкви в церковь, когда был гимназистом, как возвращался от всенощной с горящей свечой и как лазал на колокольню звонить... И полетит мысль далеко-далеко, и забудешь, что ты — в тюрьме. Ах, проклятые канда-

лы, вы опять разбудили мой рассудок! Дайте мне полетать на воле!..

— Господи, владыко живота моего...

Позади меня стоит стражник и, опускаясь на колени, бряцает шашкой. И мне вдруг приходит в голову мысль: «А что, если я сейчас побегу?» Забудет про Владыку своего живота и первым делом вспомнит владыку тюрьмы и пустит в меня пулю из револьвера...

В среду за часами в мою клетку заглянул батюшка в черной ризе с серебряными крестами. Он с изумлением посмотрел на меня и очень кротко, с соболезнованием, спросил:

— Пожелаете исповедоваться?..

— Нет, батюшка, не могу...

— Почему так? Я вижу, что вы, не в пример другим политическим, посещаете храм Божий... Вы, вероятно, боитесь, предполагая, что я выдам начальству ваши политические грехи...

— Политические грехи, батюшка, иногда на небесах считаются добродетелями...

— Никогда! Заблуждаетесь.

— Христа обвиняли, батюшка, в том, что он называл себя царем...

— Не время и не место... — сказал батюшка и скрылся.

Пропала охота ходить в церковь. В Великую пятницу я зажег у себя в камере огарок свечи с золотом и слушал, как в тюремной церкви пели арестанты «Слава долготерпению твоему, Господи», как в синей тишине весенней ночи перекликались колокола городских церквей, и невыразимая тоска щемила мне грудь, выдавливала на глаза слезы. Глухое пение, перезвон колоколов и огонек восковой свечи напоминали о смерти и погребении... И вдруг в памяти нарисовался полутемный зал в старом доме, гробик с тремя горящими свечками и бледное личико Вовочки в кружевном чепчике, сложенные ручки с восковыми пальчиками... Закрыл глаза и вижу около гробика тонкую женщину в черном со страдальческим выражением на прекрасном лице... Уйди, Калерия! Я не хочу вспоминать о тебе. Я не люблю тебя, я никогда не любил тебя, я лгал себе самому, когда говорил тебе о своих муках и о радостях любви!.. Я люблю Зою, мою чистую белую невесту с золотыми косами. Только ее! Уйди же, Калерия, я не хочу тебя видеть!.. Я не хочу о тебе думать...

— Зоя, Зоя!.. Где ты, моя светлая голубка?

Я с сердцем погасил восковой огарок, рождающий в памяти черный призрак прошлого, и, ходя по камере, с грустью тихо декламировал свои стихи, посвященные Зое:

Ярко блещут звезды в синеве небесной,
Чрез окно струится аромат весны,
Над землей уснувшей роем бестелесным
Носятся на крыльях феи грез и сны...
Звездочка мигнула в вышине далекой
И опять зажглася синим огоньком...
Звездочка, брось луч свой к деве синеокой,
Разбуди ей сердце и шепни тайком!
Ты шепни о том ей, как тоскует милый,
И отдай ей крылья от моей мечты, —
Пусть, хоть на мгновенье, сказочною силой
Превратится в грезу, фею Красоты!..
Надо мной склонилась русая головка
И коса упала ко мне на плечо...
В полутьме сверкнула глазками плутовка
И поцеловала крепко, горячо...

Синеет в раскрытой форточке кусок небесной синевы с одинокой звездочкой, ласковый теплый ветерок приносит пугливые еще грезы о радостях весны, а колокола невидимого города грустно и торжественно перекликаются, то далекие и тонкие, то близкие и гудящие низким басом... А в тюремной церкви арестанты в кандалах с верой и упованием поют:

— Слава долготерпению твоему, Господи!

Какая теплая ночь! Насторожилась и прислушивается к перезвону колоколов. И небеса притихли. И звезды задумались. Какая-то тайна есть между небом и землею. Что-то знают земля и небо, чего не знаем и никогда не узнаем мы, люди. И от этого кроткая печаль волнует душу. Странно: на свободе, когда читал Бюхнера, не верил в Бога и верил только в Дарвина, все было так ясно и понятно: Бога нет, как дважды два — четыре, его придумали умные и ловкие люди, чтобы удобнее и легче было морочить простаков... А вот теперь опять все неясно и все непонятно. Смотрю в синюю глубь неба с задумчивыми звездами, прислушиваюсь к плавающим в тишине звонам колоколов — и душа наполняется каким-то благоговейным трепетом, и ясно чувствуешь какую-то великую тайну между землей и небом.

— Нет, не может быть, чтобы не было Бога...

— Слава долготерпению твоему, Господи! — поют арестанты.

Я глубоко вздыхаю и молюсь в форточку на кусок далеких, полных тайны небес.

Но вот все стихло. Не поют арестанты, замолчали колокола. Молчат земля и небо. Кончились великие страдания Христа, положившего душу за други твоя... В страданиях за правду и ближних люди приобщаются к великим страданиям Христа. И, может быть, поэтому в душе моей иногда

ярко вспыхивает радость, что я томлюсь в тюрьме в эти дни великих страстей Господних... Да, да, это так! «Слава долготерпению твоему, Господи»! — шепчу я и, успокоенный, с тихой и кроткой душой, ложусь в постель. Не спится. В раскрытой форточке синеет кусок неба с одинокой звездочкой и притягивает к себе какой-то неведомой силою. Влажной прохладной волною льется с воли тревожащий воздух весенней ночи. Какую-то радость приносит он из неведомых краев на своих крыльях, пробуждает в памяти какие-то смутные, радостные воспоминания... Весенний шум старых берез с молодыми листочками; голубые небеса с плывущими куда-то белыми облачками; зеркальная поверхность родной Волги с убегающими в синюю даль горами; дымок парохода, грустный, далекий свисток; плоты в розовом тумане весеннего вечера на реке...

— Зоя, Зоя!..

Старый сад с липами, с таинственными шатрами из зеленых кружев листвы, с одуряющими ароматами сирени, с огнями скрытого деревьями старого дома... Белая, как снег, гибкая Джальма в синих сумерках теплой молчаливой ночи, распахнутое окно беседки... и прекрасное лицо черной женщины с черным пламенем странных, пугающих душу глаз...

— Уйди, Калерия!.. Я не хочу вспоминать и не хочу думать о тебе.

Не уходит. Властно стоит в памяти и насмешливо смотрит прямо в глаза...

— Какие бесстыжие глаза у тебя, Калерия!.. Не смотри на меня! Уйди!

Не уходит. Приближает свое лицо, порывисто дышит горячим дыханием в щеки и раскрывает свои красные губы...

— Пойдем... пойдем...

— Куда ты влечешь меня? Разве ты не знаешь, что я люблю Зою, что Зоя — моя невеста?

— Пойдем на край света!.. Уже пришла весна. Шумит старый сосновый бор, распустились на озере белые лилии и желтые кувшинки, выросла мягкая душистая трава... Разве ты не слышишь, как пахнет земляникой?

— Ах, Калерия... Какая ты красивая!..

— Да, да... Идем же на край света... встречать, весну!..

На другой день я проснулся разбитый и усталый со смутной тоской на душе... И когда я вспомнил кошмарные сны пролетевшей ночи, я почувствовал жгучий стыд и, закрыв глаза, прошептал:

— Прости, Зоя... Я не виноват... Мне стыдно и... гадко...

Продолжение следует.

Марина ЛУНЕВА

Марина Лунева родилась в 1963 году в столице Северной Осетии в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Уезжала в г. Ярославль, где работала на ткацкой фабрике «Красный Перекоп» прошивальщицей. Вернулась в родной город. На заводе при НИИЭМ освоила профессию старшей табельщицы.

В 1983 году родилась дочь Инга. Ушла работать на стройку маляром. Через два года перешла на башенный кран. В 1992 году родилась вторая дочь Анастасия, а через год — третья — Василина.

В 1994 году переехали с семьей на Ставрополье и осели в п. Заря Левокумского района. Здесь узнала, как растить виноград, выращивать на полях овощи, арбузы, дыни, а в теплице — огурцы.

В 2003 году родился четвертый ребенок, сын Сергей. Сейчас девочки уже взрослые, подарили двух внуков и лапочку-внучку.

* * *

Скоро, скоро затопится печь
По старинке — углем и дровами.
Неизменно пополнится речь
Возвращенными с детства словами.

Заструится над крышами дым,
Запылают уютно поленья.
Только быт мой давно стал иным.
Я привыкла к нему, к сожаленью.

Но признаться себе не хочу
В том, что в нежности выгляжу слабой.
Я по дереву, сплюнув, стучу.
Научусь деревенской быть бабой.

Дом, хозяйство и свой огород
Завершат воспитание делом.
И пусть город упрямо зовет,
Из него навсегда улетела.

* * *

Я навстречу шагну и от слез белый свет не увижу.
От стыда замирая, с трудом подбирая слова,
Я в бессилье скажу: «Ненавижу тебя, ненавижу!»
Хотя знаю прекрасно, что буду опять неправа.

Ты окинешь меня удивленным, растерянным взглядом
И, плечами пожав, улыбнешься: «Помилуй, за что?»
Будет осень сорить под ногами своим листопадом,
И бессовестный ветер проникнет ко мне под пальто.

Я губами озябшими в щеку тебя поцелую
И вздохну виновато: «Все это неправда, прости.
Только душу мою, тобой безнадежно больную,
Как покаянный грех, не жалея меня, отпусти!»

Будет сердце стучать, заглушая немые рыданья,
И земля поплывет из-под ставшими ватными ног.
Я поспешно уйду и забуду сказать «до свиданья».
И сорвется от горя последний осенний листок.

* * *

Есть в закате свое колдовство.
В этом отблеске красно-кровавом
Растворилось мое естество,
И заныла душа запоздало.

Сколько раз, утонув в суете,
Я под небом в огне пробегала
И своей изменила мечте.
Ничего не найдя, лишь теряла.

Вот теперь изможденно стою
Средь весны, за селом на закате,
И озябшую душу свою
Оправляю, как смятое платье.

* * *

Бабье лето в разгаре.
Тянет дымом с садов.
Гибнет в каждом пожаре
Мертвый лист с деревов.
Паутиной обвиты
Люди, травы, дома...
И течет деловито
Урожай в закрома.

* * *

Гуси-лебеди над селом
Пролетели.
Белым-белым своим крылом
Мир задели.
И лебяжий холодный пух
Землю выстлал.
И ядреный морозный дух
Тайну выдал.
А о чем — не скажу вовек:
Тайна свята...
Не зима в том, что смертен снег,
Виновата.

Девушка-маляр

И небо вошло в коридоры и комнаты.
Поднялись потолки и расширились стены.
А девчонка смеется, брови изогнуты:
Ощутимые произошли перемены!

С каждым взмахом руки — дом нарядней и праздничней.
С каждым новым штрихом расцветает весна.
А девчонка подобна волшебнице сказочной,
И, как добрая фея, колдует она.

В ненарядной спецовке, в пятнах извести с краской,
С кистью в маленькой, легкой и крепкой руке.
Ее труд еще больше походит на сказку.
И не краска, а солнце горит в котелке!

В этом доме огромном ходит хозяйкой,
Освещая все темные уголки.
И петляет за ней теплый солнечный зайка.
И улыбок не могут сдержать мужики.

Ставрополье

Софья АГАЧЕР

Продолжение. Начало в № 7, 8 за 2017 год

Твоими глазами

Рисунок Настасьи Поповой

6. МЫ ИДЕМ К ФЕСТИВАЛЮ

По семейной традиции Ваня Герцев должен был стать врачом. Он еще не родился, а уже тяжкий груз семейных обязательств лежал на его плечах. Отец его, Михаил Михайлович Герцев, был известным в Москве хирургом, дед его, Михаил Иоганович Герцев, работал военным врачом с самим Пироговым. Род свой Герцевы вели от немецкого лекаря Иоганна Герца, что приехал в Москву еще при Федоре Алексеевиче Романове и поселился в немецкой слободе, или на Кукуе, куда захаживал сам царь Петр и говаривал, как гласили семейные предания, именно о Иоганне Герце: «Брадобреев, лекарей и прочую мразь на парад не пущать!»

Долг, честь и жизнь во имя дела, которому ты служишь, — это были те три точки, через которые проходила плоскость жизни семьи Герцевых. Когда вечером семья садилась за стол обедать, глава семьи наполнял из холодного запотевшего графина серебряную семидесятиграммовую рюмку водкой и провозглашал тост: «За здоровье больного, что я сегодня оперировал!» И так триста лет.

Ваня ненавидел эту старую рюмку, запах медикаментов, впитавшихся намертво в кожу отца и во весь дом, бесконечных родственников, дальних и ближних, родственников родственников, друзей друзей родственников и, вообще, любого, кто мог постучаться, в том числе и среди ночи, в дом Герцевых и сказать, что он приехал от тети Дуси, троюродной сестры дяди Пети из Крыжополя лечиться в Москву к доброму доктору Герцеву, помогите Христа ради.

Маленький Ванечка все свое раннее детство хотел увидеть этого «Христаради», упоминание о котором в любое время суток забирало у него маму, заставляло ее стелить постели для приезжих, кормить их, а папу — устраивать их в свою больницу и лечить.

— Врачи — это разжалованные жрецы, — смеялся отец. — Левиты служили Богу единому, а мы — больному человеку.

Ваня с рождения жил среди больных людей, ненавидел этот больной мир и хотел убежать в прекрасный мир кино, где обитали молодые красивые женщины и сильные здоровые мужчины. Отец поддерживал его увлечение фотографией и кинематографом, но только как занятие в свободное от основной мужской профессии время. Повинуясь воле семьи, Иван с третьего раза все-таки поступил в медицинский институт.

При институте была киностудия, где снимались учебные фильмы для студентов всех медицинских вузов страны. Со второго курса института Герцев-младший начал в ней работать оператором. Еще бы! У него была собственная американская трофейная кинокамера, что ему подарил сам академик Рюмин. Вначале он снимал ею самого академика, его потрясающие операции, Странноприимную больницу и врачей, что работали в ней.

Александр Александрович Рюмин познакомил его с Верой Сергеевной, монтировавшей киноленты самого Эйзенштейна. С нею

Ваня работал над документальным фильмом для музея истории медицины Странноприимного госпиталя. И в процессе этой работы многому научился и приобрел связи на «Мосфильме».

Работа на студии помогла ему пережить годы зубрежки в институте и добраться до четвертого курса. Весной его вызвали в комитет комсомола института, где секретарь комитета комсомола Вася Ковбас сказал ему:

— Слушай, товарищ Герцев, наша институтская киностудия рекомендует тебя как лучшего оператора, а Фрунзенский райком комсомола просил прислать именно лучшего кинооператора с нашей студии, для съемок документального фильма «Мы идем к фестивалю» об участии комсомольцев района в подготовке шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Завтра явишься к девяти утра в орготдел райкома. Справку об освобождении от занятий и переносе учебных циклов на август-сентябрь получишь в ректорате. По всем вопросам обращайся лично ко мне. Все понятно? Свободен.

Утром следующего дня Иван не поехал на метро, а сел в троллейбус у Курского вокзала и двинулся в сторону Фрунзенской набережной, в райком. Ему хотелось посмотреть, что происходит в Москве, что и как делают москвичи, ведь надо было почувствовать это и настроиться на съемку.

Уже метров за пятьдесят до здания райкома сердце у парня выскакивало из груди, спина была мокрая, коленки дрожали. На третьем этаже он нашел табличку с надписью «Орготдел», постучал в дверь, ему никто не ответил. Дверей в коридоре было много, они закрывались и открывались, оттуда выскакивали молодые ребята и девушки с какими-то бумагами, папками, коробками. Ивану хотелось вжаться в стену и исчезнуть с этого активного праздника жизни навсегда. Но тут какая-то толстая девушка с косой остановилась напротив него и, энергично напирая бюстом серьезного размера, спросила:

— Ты кто?

— Дед Пихто! — очумело ответил Иван.

— А, я знаю, ты к Жене Лисицину из орготдела, ты из медицинского института, кинооператор, — догадалась она, глядя на его висящую сбоку кинокамеру. — Вот и Женя идет. А я — Галя Трифонова, секретарь комитета комсомола завода «Каучук»,— отрапортовала девушка.

Рука ее, покрытая холмиками мозолей, с силой стиснула Ванину ладонь. От неминуемого перелома пальцев правой руки его спас высокий парень в синем костюме со значком ВЛКСМ на лацкане пиджака.

— Уже познакомились? Отлично. Заходите оба в кабинет. Работать будете вместе. Галя будет отвечать за транспорт, наличие пленки, другого необходимого оборудования, за согласование с райкомом плана и мест съемки. На эту неделю план съемки разработал я сам, а на следующую, Галя, представишь мне свой для согласования и утверждения в четверг утром. Сегодня будете работать с хозяйством по выращиванию голубей для проведения праздника открытия фестиваля. Сорок тысяч голубей надо вырастить к концу июля. Одна из самых больших голубятен — у Галининых ребят, на заводе «Каучук». Вот туда, на Усачевку, сейчас и поезжайте. А в среду, к шести часам вечера, появитесь в общежитии Первого меда на Малой Пироговке, там у них интересный конкурс по подготовке студентов к фестивалю будет проходить. «Вечер веселых вопросов» называется. Ребята придумывают интересные смешные вопросы и ответы по истории Африканского союза, по различным национально-освободительным движениям, анекдоты об импрессионистах, спорят о творчестве Хемингуэя и о многом другом.

Вот вчера, например, встретил их капитана команды, Аркадия, так он мне рассказал шутку из последнего вечера. На конкурсе капитанов один из участников задает другим вопрос: «Нравятся ли вам худые, треугольные девушки с длинными носами?» Ответ звучал так: «Да, нравятся, поскольку я поклонник творчества Пабло Пикассо, а он — автор эмблемы фестиваля — "белого голубя мира"». Здорово, с такой шуткой навсегда запомнишь информацию об эмблеме фестиваля.

Вот вам накладная и путевой лист, поедете завтра в гараж горкома партии и получите в свое распоряжение открытый ЗИМ, на нем установите треногу и сможете снимать прямо по ходу машины. Обязательно надо показать работу наших комсомольцев на стадионе Ленина в «Лужниках», ведь там — главное место фестиваля, и оно находится на нашей территории, поэтому «быть комсомольцем Фрунзенского района — огромная честь и ответственность", сказала сама Екатерина Алексеевна Фурцева, которая являлась секретарем райкома партии именно нашего района. Партия и лично товарищ Фурцева предъявляют особенные требования к молодежи нашего района... — Товарищ Лисицин еще долго накачивал ребят, а у Ивана в голове была только одна мысль: «Дадут открытый ЗИМ, треногу и пленки сколько хочешь, и можно будет снимать улицы, голубей, Ленинские горы, Москву... А девчонки все будут мои. Я — на ЗИМе, этой огромной черной лакированной машине, с открытым верхом, с камерой, снимаю... Вижу потря-

сающую, длинноногую, юбка колоколом, блондинку... Машина останавливается, я медленно выхожу, подхожу к ней и говорю... "Я режиссер и оператор с "Мосфильма" (или лучше с телевидения, с Шаболовки), ищу персонажей для съемок молодежного фильма о фестивале". И назначаю ей свидание в "Лужниках"... А потом, потом...»

— Иван, треногу, иное оборудование и пленку будешь брать на Шаболовке, в их комитете комсомола, вот тебе письмо с печатью и подписью, — громко объяснял Лисицин, мешая парню предаваться весенним эротическим фантазиям, что возбуждали Ваню намного сильнее, чем перспектива съемки комсомольских субботников по озеленению стадионов и улиц столицы.

Два месяца, май и июнь, Иван снимал молодежь Москвы на Усачевке, Пироговке, монастырских прудах Новодевичьего монастыря, в «Лужниках», на Ленинских горах... Его герои и героини сосредоточенно трудились, учились, тренировались, готовились к концертам. Галя закрывала его ото всех трудностей, носилась с бумагами, договаривалась с дружинниками и милицией, короче, она была танком, на броне которого сидел кинооператор Ваня Герцев, запечатлевавший для потомков историю подготовки к битве под названием «Московский фестиваль молодежи и студентов».

К открытию фестиваля фильм нужно было полностью закончить. Последние две недели июля Ваня был занят круглые сутки, он носился со своей кинокамерой по всему Фрунзенскому району и вместе с Верой Сергеевной монтировал материал.

— Ванечка, ну что ж, лица у всех молодых людей и барышень такие строгие, неулыбчивые. Ведь к празднику готовятся. Пленка-то черно-белая, цвета разноцветных флагов, фестивальных ромашек, цветники не видны. Я бы твой фильм назвала не «Мы идем к Фестивалю», а «Если завтра война». Улыбок надо больше, цирковых номеров, песен. Ну посмотри, как замечательно клоун Олег Попов в своей клетчатой кепке раздает шары детям на площадке, что только что окончили монтировать студенты архитектурного института. А ты выбросил этот кадр из фильма. Деталь необычная, яркая — клоунская кепка в крупную черно-белую клетку, ее запомнят, а потом по ней вспомнят весь твой фильм. Учиться тебе надо кинематографии, читать покойного Сергей Михайловича Эйзенштейна. Ты думаешь, через двадцать лет еще будет важно, о чем именно был фильм «Броненосец "Потемкин"»?! Едва ли. А вот кадр со скатывающейся по лестнице детской коляской будут помнить и приводить в пример очень долго. Деталь, одна пронзительная деталь, такая, чтобы выпала из сюжета и пронзила кадр, — вот что должны искать глаза оператора, — поучала добрая женщина, сидя за столом монтажной.

— Вера Сергеевна, вы отстали от жизни. В Москву приедут делегации многих национально-освободительных движений. Они борются с империалистами за счастье для своего народа, за освобождение всего человечества. А я покажу клоунов, улыбки, детей! Да меня из комсомола и института попрут за такой фильм, — горячо возражал ей Ваня.

7. ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБВИ

Семь пятиэтажек из красного кирпича под названием гостиница «Турист», выросшие на колхозных полях за московской Всесоюзной выставкой народного хозяйства, стали первой в истории планеты Советский Союз посадочной площадкой для представителей иных миров. На этот «космодром» в конце июля 1957 года приземлились десятки тысяч «инопланетян». Они все были молоды и потрясающе красивы. Говорили на абсолютно непонятных для русских людей языках, поскольку иностранные языки, столько лет изучавшиеся в школах и институтах Страны Советов, ничего общего не имели с живыми языками «инопланетян». Одета эта молодежь была в яркую разноцветную одежду: лимонно-желтые, оранжевые, аквамариновые, голубые, красные, зеленые цвета индийских сари и африканских нарядов, рабочие штаны из грубой ткани под названием «джинсы», широкие свитера навыпуск, всевозможные шарфы, платки, береты, тюрбаны и бог весть как называемые конструкции на голове. А волосы, и не всегда только женские, — эти длинные шелковые волосы до плеч и ниже, незаплетенные в косы, а струящиеся свободно или стянутые в хвосты, как у лошадей! А бусы, серьги, браслеты, причем даже на ногах!

Все это привело в шок советских людей, одетых в лучшие праздничные одежды — темный низ, белый верх со значком ВЛКСМ на рубашке, постриженных под бокс, полубокс или, у наиболее артистических натур, под польку. И конечно, косы у женщин венчиком, корзиночкой, колоском, упорядоченные и вычесанные до последнего волоска.

Кроме того, посланники иных миров двигались раскованно, танцевали, смеялись, могли сесть прямо на траву или на пол, и, о ужас, девушки в машинах и других публичных местах присаживались на колени к парням и даже могли поцеловать их. Они играли не только на общепринятых инструментах, таких как

гитара, скрипка, но и на ведрах, стиральных досках и вообще на любых подручных предметах. Играли по нотам и не зная нот, двигаясь в квадратах мелодий и двигая при этом особенно энергично причинными местами, визуально угадываемые размеры которых заставляли краснеть и опускать глаза долу даже матерых фронтовичек.

Большинство «инопланетян» поселили в гостинице «Турист» с деревянными кроватями, накрахмаленным белым постельным бельем, вафельными полотенцами, банным мылом, прикроватными тумбочками и общим коридорным туалетом и душем — по четыре человека в комнате. Из этой гостиницы они, усевшись на скамьи, установленные специально для этого внутри бортовых грузовых автомобилей, поехали по проспекту Мира и далее по Садовому кольцу к стадиону им. В. И. Ленина в «Лужниках» на церемонию открытия шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Одним москвичам предписывалось находиться на тротуарах и приветствовать делегатов фестиваля с флажками в руках. Других просто волна любопытства к невиданным здесь событиям расплескала по балконам и крышам, третьи толпились в задних рядах, выглядывали из окон и подворотен. И вдруг будто в бункере лопнуло стекло и ворвался свежий ветер — все перемешалось.

Горожане окружали машины со всех сторон, трогали руки иностранцев, пожимали их, целовали, плакали, как будто хотели убедиться в том, что перед ними люди, такие же, как они. Ощущение тепла человека с другой планеты несло в себе информацию о иной форме жизни, свободе, любви. Теплообмен не был учтен инструкциями и не подвергся запрету. Напиться этой энергии и в восторге подарить свое сердце другу — вот что читалось в глазах людей. Такого ликования на улицах Москвы не было со Дня Победы, в мае сорок пятого. Началась эректильная стадия шока, которая продлилась все две недели до закрытия фестиваля.

Джон Кор был одним из членов американской молодежной делегации на Московском фестивале. Аккредитовать его как официального фотокорреспондента не удалось, и друзья предложили Джону отправиться в Москву в качестве участника музыкального ансамбля, поскольку тот неплохо играл на банджо. Познакомился он с этими друзьями во время своей командировки в Латинскую Америку, куда Кор ездил освещать вооруженные конфликты по заданию одного американского журнала.

Более трех месяцев они носились по Сальвадору, Колумбии и Никарагуа. Джон фотографировал, а Стив и Шон вели журналистское расследование. К концу своей поездки они ничем не отличались от тех людей, что окружали их все это время. Стали такими же темнокожими, грязными, бородатыми, вонючими гориллами, жующими листья коки. Больше всего Джона поразило, что эти люди получали физическое, практически сексуальное удовольствие от подчинения себе других. Это был настоящий вирус насилия, и Джон почувствовал себя серьезно больным. Его глаза все чаще и чаще стали зажигаться огнем, силы возрастали, сердце билось быстро и громко. Образ борца за свободу и счастье всего человечества начинал порабощать его разум, руководить его поступками, обеспечивал ему наркотически-притягательное состояние. Вернувшись в Нью-Йорк, Джон отмылся, отъелся, отоспался и впал в депрессию, ему не хватало воздуха и адреналина. Поэтому когда позвонил Стив и предложил ему ехать в Москву на молодежный фестиваль, Джон не задумываясь согласился. Его даже не смущало, что Стив и Шон были сотрудниками так называемого молодежного отдела ведомства, расположенного в Лэнгли, штат Вирджиния.

Каково же было удивление Джона, когда в коридоре гостиницы «Турист», куда его поселили в Москве, он встретил Карлоса, у которого брал интервью в одном из лагерей повстанцев в центральных Кордильерах. Карлос был жестоким и беспощадным бандитом, человеком, близким к самому Черному Чарро, лидеру Армии народа Колумбии. Вначале Джон растерялся, а потом побежал к Стиву, схватил его за плечи, начал трясти и кричать в лицо:

— Стив, надо что-то немедленно делать, идти к русским, предупредить их. Он очень опасен, здесь много безоружных людей...

— Успокойся, не кричи, ты порвешь мне сейчас рубашку. Что случилось? — спокойно спросил Стив.

— Я видел Карлоса, того самого, из отряда Черного Чарро, здесь, в коридоре, пять минут тому назад, — пытался объяснить другу Джон.

— Ну и что, я тоже видел его. Успокойся. Ты еще немало увидишь здесь наших старых знакомых из Латинской Америки. Советы поддерживают, обучают и финансируют все эти экстремистские группировки. Для русских они не бандиты, а герои и братья по борьбе с империалистами, с такими людьми, как ты, твои родители, соседи. Такие, как Карлос, приехали на фестиваль с различными молодежными делегациями, и некоторые из них останутся в СССР, в специальных лагерях для подготовки диверсантов, а вместо них, по их документам, обратно вернутся другие,

уже прошедшие подготовку. И вообще, главным инициатором этого фестиваля является КГБ. А ты думал, Санта-Клаус за все это платит? — спокойно и насмешливо ответил американец.

— Стив, прекрати. Я не хочу заниматься политикой и идеологией. Меня интересует сам человек и его самореализация в экстремальных обстоятельствах. Не прессуй меня, я плохой агент для вашего ведомства, люблю комфорт и не умею контролировать свои эмоции. Спасибо, извини за срыв. Пока, увидимся на церемонии открытия.

Джон развернулся, вышел в коридор и спустился по лестнице во двор гостиницы, где стояли машины. Нашел свою с американским флагом, подтянулся на руках, перебросил ногу через задний борт и сел на третью скамью у правого борта. Огляделся вокруг. Впереди и позади стояли такие же машины с флагами различных государств, в них запрыгивали молодые ребята и девушки. При каждом автомобиле был специальный молодой человек, руководивший погрузкой и знающий национальный язык, с серьезным лицом отвечающий на вопросы. Заполненные делегатами машины строго по графику выезжали на улицу и начинали двигаться по проспекту Мира.

Вначале, когда машина Джона остановилась из-за того, что москвичи окружили ее плотным кольцом и стало очевидно, что через толпу прорваться невозможно, ему сделалось страшно. Потом, когда он увидел глаза людей, горящие восторженным огнем, таким знакомым ему по Колумбии, когда к нему потянулись десятки рук, стали хватать его за руки и за рубашку, по лицу и спине Джона потек пот.

Его уникальная память на ранее виденные фотографии выдернула и развернула перед глазами картинку из книги о Второй мировой войне, где немецкая бронетехника была забросана трупами русских солдат. Надпись под фотографией гласила: «Толпы русских фанатиков остановили наступление немцев под Москвой своими телами».

Продолжение следует.

США

Валерий ИЛЬИЧЕВ

Валерий Ильичев родился в Москве в 1939 году. В 1956 году поступил на службу в органы милиции, в которых проработал до 1996 года. Значительный опыт работы в уголовном розыске позволил В. Ильичеву детально изучить психологию представителей криминального мира и тайные механизмы подготовки и совершения преступлений. Литературную деятельность В. Ильичев начал в 1966 году. Его рассказы печатались в журналах «Советская милиция», «Социалистическая законность», «Сыщик России», «Человек и закон», газетах «Щит и меч», «Петровка, 38», «Вечерняя Москва», «Московская правда». В издательствах «Эксмо», «Вагриус», «Олимп» опубликованы его повести «Перстень с печаткой», «Элегантный убийца», «Псих против мафии», «Гильотина для палача» и ряд других.

На страницах журнала «Юность» в последние годы печатались такие произведения Ильичева, как «Ставка на зеро», «Тайна "Семи грехов"», «Страсти сыщика Перова», «Похождения "Подмигивающего призрака"», «Агентурный роман», «Схватка бульдогов под ковром», «Кармическое погружение», «Страсти по изумрудной броши» и другие.

Новый детектив Валерия Ильичева еще резче, еще острее предыдущих.

Жестокие игры

Очень опасная повесть

Что проку обезьяне, если ее принимают за льва?

Древняя восточная мудрость

ГЛАВА I. ПЕРЕГОВОРЫ

Дождь усиливался. Темнело. Майор Смыслов начал проявлять нетерпение:

— Слушай, Котов, может быть, твой источник напутал и наркодилеры назначили стрелку не здесь? Время вышло, а у трансформаторной будки никакого шевеления.

— Нет, мой человек неоднократно проверен. Сбоя быть не должно. Да вот же их машина прибыла.

— А где покупатели?

— Где-то прячутся. Сейчас убедятся, что вокруг все тихо, и появятся.

И действительно, из-за угла кирпичного дома вышли двое мужчин и направились к машине. Пе-

реговоры были краткими. Получив спортивную сумку, покупатели передали наркодилерам кейс с деньгами.

Смыслов вслух прокомментировал:

— Видно, давно знакомы. Совершают сделку, не проверяя качество товара и уплаченную сумму. Время встречи сокращают до минимума. Все, пошли, а то упустим.

Услышав команду, сыщики со всех сторон атаковали преступников и положили всех четверых на землю лицами вниз. Оператор с видеокамерой зафиксировал содержимое сумки, наполненной пакетами с героином, и сложенные аккуратно в кейс пачки денег. Затем приблизил камеру к изъятому у бандитов оружию.

Смыслов с разочарованием подумал: «Стволы не боевые, и на них наверняка имеется разрешение. Придется ограничиться обвинением в незаконном обороте наркотиков. Но и этого немало».

Лежащий на земле худощавый сбытчик приподнял голову и, блестя металлическими зубами, потребовал:

— Слушайте, начальники, вы свою удачу уже за хвост поймали. Зачем дело затягивать? Надоело под дождем загорать. Везите нас к себе в отдел.

— Ничего, не растаешь, как сахар в чифире. Сейчас понятые протокол подпишут — и отправитесь в дальнюю дорогу.

Доставив сбытчиков и покупателей героина в отдел, сыщики передали материалы следователю. За круговертью последующих оперативных дел они стали забывать об успешно проведенной операции. И были очень удивлены, когда их вызвали в службу собственной безопасности по поводу поступившей на них жалобы. Худощавый сбытчик героина утверждал, что из-за долгого пребывания на земле под дождем заболел открытой формой туберкулеза. Сыщикам не составило труда выяснить, что жалобщик уже три года состоит на учете в диспансере, а болезнь подхватил в колонии во время последнего отбытия наказания.

Смыслов полагал, что это обстоятельство снимет с их группы обвинения. Но, к его удивлению, следователь отказался прекращать дело. На допросе он устало пояснил Смыслову:

— Слушай, майор, я к тебе отношусь со всем уважением. Но у меня есть свое начальство, и я получил указание вас закрыть, и я его выполню. Прокуратура считает ваши действия издевательством над больным человеком. И в рамках борьбы за очищение рядов полиции поедете в суд за превышение служебных полномочий. Полагаю, отделаетесь условными сроками. Но из полиции придется уйти.

— Значит, двенадцать лет беспорочной службы в уголовном розыске можно кинуть коту под хвост из-за мстительной жалобы матерого рецидивиста? Неужели он надеется избежать по этой причине наказания за сбыт наркотиков?

— Нет, конечно. Но полагаю, кто-то из влиятельных лиц заставил его подать жалобу. Я деталей не знаю. Сам подумай, кому в прошлом соль на раны насыпал. А теперь иди и постарайся эту ситуацию разрешить, пока не поздно.

После разговора со следователем Смыслов сразу понял, на какое дело тот намекал. Сыщик месяц назад со своими коллегами выезжал в одну из квартир, где умер от передозировки молодой наркоман. Его приятели утверждали, что дурь в квартиру принес сам погибший парень, а они об этом даже не знали. Можно было отказать в возбуждении уголовного дела. Но Смыслов заподозрил, что наркотик был приобретен у молодого хозяина квартиры, который, по оперативным данным, учась на химическом факультете, изготовлял смеси, способные вызвать сильные галлюцинации.

Узнав об интересе, проявляемом к студенту, в отдел приехал крупный бизнесмен и предложил спонсорскую помощь в случае прекращения расследования. Но, не найдя понимания, обещал крупные неприятности «людям, которые не понимают, кто в доме хозяин». Тогда Смыслов не обратил внимания на угрозу. Но теперь понял, что сделал это зря. Тем более что студент после смерти сокурсника притих и весомых доказательств его вины не нашли. Материал списали в архив. И теперь мстительный бизнесмен решил проучить сыщика за строптивость. И Смыслов в поисках справедливости направился к начальнику отдела.

При появлении сыщика генерал Торопов сам начал нелегкий разговор:

— Раз сам явился, значит, созрел для откровенного разговора. Я тебя предупреждал об опасности сразу после визита банкира. Если он держит счета кого-то их нашего начальства, то безотказно действует принцип «кто платит, тот и заказывает музыку».

— Значит, грозит тюрьма?

— Нет, благодаря моим стараниям обойдемся более мягкими мерами. Твоим коллегам вынесем строгие взыскания за туберкулезника. А ты верный кандидат на увольнение.

— И всем наплевать на мою безупречную службу в уголовном розыске? Выбрасываете меня на помойку, как выжатый лимон.

— Не гони волну. В таком случае я бы с тобой сейчас не разговаривал. У меня есть к тебе предложение. Ты немедленно покинешь Москву. Мой давний друг командует полицией в областном центре. Но и он с трудом согласился назначить тебя в отдел полиции небольшого города. Никто не хочет иметь в своем штате правдолюбца. От них одни неприятности. Ну, что скажешь?

— И это надолго?

— Пересидишь там год или два. А когда шум здесь утихнет, вернешься к нам. Ты человек холостой. Тебе только сумку с вещами собрать.

— У меня, похоже, нет иного выхода.

— Только очень прошу, не дай там со своей принципиальностью новых поводов для взысканий. А то застрянешь в глухой провинции навсегда. А теперь иди и постарайся меня не подвести. Иначе наша казенная система безжалостно выбросит тебя за борт.

Принятое решение не особенно расстроило Смыслова. Ему гарантировали свободу, а работа сыщика в чужом городе его не страшила. Тонкости оперативной работы он знал в совершенстве, и ему было безразлично, где придется применять свое профессиональное мастерство.

Поезд прибыл в областной центр с опозданием, и стоянка была сокращена до пяти минут. Было ранее утро, и большинство пассажиров еще спали. Смыслов, стараясь не разбудить соседей, быстро направился к выходу. Ему предстояло сделать пересадку на местный автобус, чтобы добраться за два часа до города областного подчинения. Купив билет, он занял место и невольно задумался: «Ну и занесло меня в глушь, далекую даже от железной дороги. В этой тихой провинции придется заниматься кражами кур и бытовыми конфликтами. Конечно, не мешает отдохнуть после столичной суеты, но можно потерять квалификацию».

Когда автобус въехал на окраину города, где ему предстояло служить, Смыслов с интересом наблюдал за редкими зданиями новых строений, между которыми теснились двухэтажные домики дореволюционных построек. Вдали дымились трубы завода. Прежде чем добраться до центра города, автобус почти полчаса петлял по сложному лабиринту улиц, пока не остановился на площади возле городской мэрии. В утренние часы на улицах, в отличие от Москвы, было немного прохожих.

Заметив невдалеке стоянку такси, Смыслов направился к ней. Усатый водитель лет сорока с интересом посмотрел на раннего пассажира:

— Куда прикажете доставить приезжего пассажира?

— Я в вашем городе впервые. Возможно, нужный мне адрес находится за углом и до него добираться пять минут пешком. Мне нужна Красноармейская улица, дом 19.

— Садись, минут за десять домчу. Оплатишь строго по счетчику, поскольку едешь в самое высокое здание в городе. Из него далекая Колыма видна и кажется близкой.

Водитель коротко хохотнул, приглашая пассажира оценить его юмор. Но Смыслов промолчал. Он эту шутку конца тридцатых годов прошлого века неоднократно слышал в других городах России. Поражала живучесть памяти народа о массовых репрессиях и всесилии карательных органов, по воле которых было легко угодить в далекие края.

Всю дальнейшую дорогу до массивного пятиэтажного дома обиженный невниманием к его шутке таксист молчал. Даже щедрое предложение оставить сдачу себе его не смягчило. Он поспешил уехать, как только пассажир покинул салон.

Смыслов вошел в здание и обратился к дежурному:

— Мне нужен начальник отдела Воротников. Я ваш новый сотрудник Смыслов. Хочу ему представиться.

— Я уже предупрежден. Полковник сейчас уехал в мэрию. Вас примет начальник уголовного розыска Пыжов. Поднимайтесь на второй этаж.

Смыслов постучался в массивную дверь и, услышав приглашение, вошел в просторный кабинет. Круглое лицо главного городского сыщика сияло добродушной улыбкой:

— Рад пополнению! Тем более вы к нам из столицы. Вот уж будет у кого поучиться преступников ловить. А то мы тут в глуши варимся в своем бульоне и не применяем передовых технологий. Моих сыщиков за компьютер и силой сесть не заставишь. Подскажите, что нового в борьбе с преступностью?

Смыслова не обмануло притворное радушие подполковника. «Этот тип в дорогом костюме с галстуком носит на руке часы, на покупку которых понадобится моя годовая зарплата. Под внешностью простака скрывается хитрец и ловкач. Иначе этой должности нигде не добиться. Впрочем, любой стоящий сыщик обладает актерскими способностями. А я в ответ сыграю роль исполнительного служаки».

И Смыслов включился в игру:

— Ну что вы, это меня сюда прислали учиться уму-разуму. Те, кого слушать надо, в Москве вы-

сокие должности занимают, а не в провинции рядовые должности.

— Ладно, не прибедняйся. Я с твоим личным делом вдоль и поперек ознакомился. И даже не поленился позвонить знакомым операм в столицу.

— Ну и что вам обо мне сказали?

— Сыщик ты знатный. Но очень уж правильный. От этого не только ты, но и другие сотрудники страдают. Тебе уже за тридцать, и пора понять, что искать в этом мире справедливость так же бесполезно, как изобретать вечный двигатель.

— И ваш город не исключение?

— Сразу развею твои иллюзии. Сами жители называют свою малую родину маленьким Чикаго. Иначе и быть не может, если население приблизилось к миллиону. Оперативная обстановка чрезвычайно сложная, а сыщиков вместе с тобой — восемь человек. Народ подобрался простой. Так что особо не умничай.

— За мной закрепят конкретный участок?

— Будешь вершить правосудие в границах от металлургического завода до набережной.

— А что с моим предшественником?

— Капитан Валов скончался от острого отравления некачественным алкоголем. Списали на несчастный случай. Только он практически не пил. Тем более дома, в одиночестве. В его смерти никто детально разбираться не стал. И тебе не советую.

— А как быть с его агентурой?

— Доступ к делам на его секретных сотрудников получишь сразу. А уж потом сам решишь, кто тебе нужен, а от кого надо избавляться.

— Что еще мне следует знать?

— Скажу главное и в общих чертах. В городе есть две противоборствующие силы: так называемые чугунки из района металлургического завода и зареченские с окраины города. Тут, майор, целая смесь криминала, бизнеса и нечистых на руку чиновников.

— А полиция на чьей стороне играет?

— Мы как та обезьяна, которая с горы наблюдает за схваткой двух тигров. Наша задача — не дать возвыситься ни одной из этих группировок. И для соблюдения баланса мы поочередно отщипываем от каждой из них боевиков, нарушающих закон. Тут главное — все делать в меру, без фанатизма. А потому, прежде чем кого-нибудь арестовать, лично со мной советуйся. Очень прошу.

— Я понял. Все как и везде.

— Ну, тогда перейдем к бытовым вопросам. Вот тебе адрес и ключи от служебной однокомнатной квартиры. Я знаю, у тебя есть водительские права. Возле отдела стоят старые «жигули». Они на ходу. Хозяин умер. Наследники пока не объявились. Так что можешь еще месяцев шесть пользоваться машиной на благо борьбы с преступностью. Ничего противозаконного в этом нет. Есть еще какие-нибудь пожелания?

— Мне нужен свободный доступ к архивным материалам обо всех прошлых происшествиях на моей территории.

— Это можно. Я тебя представлю сегодня ближе к вечеру всем сотрудникам. В том числе и заведующей нашим информационным центром Анне Семеновне. А сейчас мне доложили, что начальник отдела вернулся и хочет нас видеть. Он у нас человек занятой, и аудиенция будет краткой.

Когда Смыслов зашел в кабинет Воротникова, тот, не стесняясь, его долго рассматривал.

Затем задал неожиданный вопрос:

— Как думаешь, какой для меня критерий эффективности работы сыщика? Нет, не показатели раскрываемости. Мне важно, чтобы сыщик лично не докучал мне своими проблемами и я не замечал его существования даже в крупный телескоп. Все служебные вопросы решай с Пыжовым. Все, идите и работайте.

Смыслов понял главное: «Этот полковник самоустранился от текущих дел. Значит, Пыжов решает здесь все. Это даже лучше, чем быть слугой двух господ».

Выйдя в коридор, Пыжов предложил:

— Давай по пути зайдем в информационный отдел. Я тебя с ними познакомлю.

За дверью с табличкой «Посторонним вход воспрещен» Смыслов увидел пожилую женщину и молоденькую девушку, сидящую за компьютером. Пыжов их представил:

— Анна Семеновна является волшебным талисманом нашего отдела. В ее ведении архивы. А юная Мария — ее помощница. В нее тайно влюблены все мужчины отдела. И потому прошу обращаться к ней только по служебным вопросам. А это майор Смыслов, который прибыл из самой Москвы. Ему поручено обслуживать территорию Валова. Прошу выдавать ему нужные материалы по первому требованию. Пока все.

Выйдя в коридор, Пыжов предложил:

— Сейчас найду кого-нибудь из сыщиков. Пусть тебя проводят до квартиры.

В отделе уголовного розыска они застали лишь молодого парня с светлыми волосами. Пыжов к нему обратился снисходительно:

— Отставь текущие дела, Крюков. Надо проводить нашего нового сыщика до служебной квартиры. Но много по пути не болтай. А то еще напу-

гаешь новичка, и он уже сегодня назад в Москву попросится. Это я в шутку сказал. Ну все, Смыслов, езжай, отдохни. А часам к четырем возвращайся на совещание.

Спускаясь по лестнице вслед за молодым сыщиком, Смыслов расчетливо подумал: «Над парнем явно привыкли подшучивать в отделе. И если я проявлю к нему уважение, то приобрету надежного союзника. Для выяснения положения в отделе это немаловажно».

Сев в припаркованные у входа «жигули», Смыслов включил мотор и повернулся к спутнику:

— Давай командуй, куда рулить. Мне надо время, чтобы освоиться в незнакомом городе. И твой опыт сыщика может понадобиться. Об обстановке в городе я в общих чертах знаю. Расскажи мне по дороге о будущих коллегах. Без надежной взаимовыручки раскрывать преступления невозможно. Ты согласен?

— Конечно. Давайте поезжайте сначала прямо, а потом я подскажу, где надо будет свернуть на нашу центральную улицу.

И явно польщенный доверием к его опыту, Крюков, жестами показывая дорогу, начал горячо нахваливать коллег:

— У нас в отделе все сыщики замечательные. Старший группы Конев богатырь. Он любого бандита в одиночку сломает. Его крутого нрава и наши сыщики побаиваются. Опер Тарасов звериным чутьем преступников вычисляет без всякой криминалистической техники. Шестов — тот мастер по дамам бегать и через них все может разузнать. Ну и Дьяченко с Буровым и Строевым тоже сыщики опытные.

— Что еще я должен знать о будущем коллективе?

— Разве только о следачихе Людмиле Ступиной. Она закреплена за нашим отделом и ведет все дела по линии уголовного розыска. Наши сыщики стараются с нею ладить. Иначе отбракует доказательства. Вот только...

— Давай договаривай, если начал.

— Год назад она развелась с мужем и находится в активном поиске нового спутника жизни. Но в нашем отделе найти ей свое личное счастье вряд ли удастся. Слишком много кандидатов перепробовала, допуская близко в свою личную жизнь.

— Я понял. А что о моем предшественнике скажешь?

— Он держался особняком. А в последнее время перед смертью вообще в себе замкнулся. В общем, его уважали, но не любили. И смерть его настигла странная: от отравления алкоголем, хотя практически не пил. Следов физического насилия не обнаружили и списали происшествие на несчастный случай. Стоп, здесь меня, у остановки высадите. Мой автобус подходит. А ваш дом вон тот, угловой. Квартира на втором этаже.

— Откуда знаешь?

— Мы с ребятами, пока квартира пустовала, тут в зарплату регулярно собирались. Брали ключи у дежурного и праздновали. Ну все, я побежал.

Крюков поспешил к остановке. Глядя ему вслед, Смыслов подвел итоги: «О трех сыщиках парень умолчал. Видимо, с ними у него отношения не сложились. Лидером у них является Конев. Мне важно будет заполучить его в свои союзники».

Поставив машину у подъезда, Смыслов поднялся в свою новую квартиру. Его, привыкшего к командировкам, не смущала простота обстановки. Ему надо было отдохнуть перед вечерней встречей с будущими коллегами. Он знал, что от первого впечатления во многом будет зависеть успех его вхождения в коллектив.

Ровно в четыре часа в кабинете Пыжова началось совещание. Все протекало обычно, как и у столичных сыщиков. Объявив о появлении нового сотрудника, подполковник принялся критиковать просчеты в работе. Сыщики привычно соглашались, включаясь в известную игру под названием «начальник всегда прав».

После окончания совещания Конев повел новичка в кабинет:

— Вот здесь будешь сидеть вместе со мной и Крюковым. Натаскаешь парня в оперативном деле. А к нам, старикам, со своими советами не суйся. Мы не любим таких, как ты, столичных проходимцев, которые даже среди отпетых коррупционеров не прижились.

Заметив насмешливые улыбки на лицах присутствующих сыщиков, Смыслов понял: «Если сразу не осадить этого громилу, то стану изгоем не выше салаги Крюкова».

И он с вызовом произнес:

— Если ты не просто жирный мешок, способный лишь языком, как вздорная баба, трепать, то выйдем из кабинета, и я тебе наедине объясню твое заблуждение.

В кабинете наступила тишина. Конев был на голову выше и значительно массивнее новичка. Удивленный неожиданным напором Конев с явным пренебрежением к противнику легко согласился:

— Давай выйдем. Очень уж хочется посмотреть, чем ты меня хочешь удивить!

Конев уверенно прошел по коридору и свернул на лестничную площадку. Затем повернулся и протянул огромную ладонь, намереваясь от-

толкнуть Смыслова в сторону. Смыслов ловко отбил руку противника в сторону и, используя инерцию его веса, подтолкнул в спину. Конев невольно проскочил вперед и, разозлившись, поспешил развернуться и вновь кинуться на дерзкого новичка. Он размашисто попытался нанести два удара в голову Смыслова, но его огромные кулаки лишь рассекли воздух. Умело уйдя от них ловкими ныркамн, московский сыщик блокировал новые попытки атак, подставив предплечье. Замахнувшись в ответ, заставил соперника невольно сделать шаг назад. Тяжело дыша от затраченных усилий, Конев отказался от бесполезных попыток одолеть соперника и коротко спросил:

— Боксер?

— Нет, я призер Москвы по боевому самбо. Вещь по нынешним временам полезная.

— И что ты хотел этим доказать?

— Не заставляй меня развенчивать миф о твоем физическом превосходстве в присутствии всех сыщиков и прекрати нести бредни о моей коррупционности. Такой грех за мной не числится.

— А не боишься, что мы тебя подставим под статью?

— Ты, Конев, меня пустыми угрозами не пугай. Сам понимаешь, что через месяц я о каждом из вас буду знать столько грязи, что собственной безопасности год придется разбираться. Лучше тебе оставить меня в покое.

— А пулю в спину при очередной операции по захвату бандитов не боишься получить?

— Вот это уже серьезно. Но я прямо сегодня выдам звонок в Москву, и, заметь, не коллегам, а сочувствующим мне людям с другой стороны баррикад. Они за меня посчитаются. И во главе списка будешь ты. Так что с сегодняшнего дня тебе придется молиться, чтобы меня случайно не убила молния.

— А ты и впрямь мужик крутой, если не блефуешь. За что сюда попал?

— Да по глупости подумал, что у нас в России закон для всех один, и задел интересы важного господина. В общем, обычная история. И еще: тебе и мне надо усвоить одну важную истину. Вот мы стоим, как два исконно русских человека, и готовы горло друг другу перегрызть. И если бы нас видели недруги России, то радовались нашей вражде, надеясь подмять под себя всю нашу страну. Разве мы можем с тобой допустить такое?

Заметив, как на лице здоровяка появилось сочувственное понимание его словам, Смыслов с облегчением подумал: «Я нашел к нему подход. Национальный вопрос пока никто не решил. Но Конев уже не столь враждебен, как прежде, и не станет мне мешать. А это немало».

После некоторого раздумья Конев протянул руку новичку:

— Пожалуй, мы с тобой сработаемся. Я тебя понял: мы ничего не стоим без единства.

Сыщики вернулись в кабинет, и Конев объявил:

— Этот сотрудник из Москвы объяснил мне причину своей опалы. У нас нет причин ему не доверять. И если дальше покажет себя честным человеком, то мы ему не враги. Надеюсь, вы меня услышали.

Внезапно в кабинете появился Пыжов:

— Все, ребята, отдых закончился. У нас вооруженное нападение на инкассаторов. Срочно выезжаем с оружием на место.

Уже сидя в машине, начальник пояснил:

— На инкассаторов напали трое вооруженных бандитов. Один охранник тяжело ранен, а второй бросил сумку с деньгами и позорно сбежал. Но преступникам уйти с деньгами не удалось. Одна из продавщиц успела нажать «тревожную» кнопку, и патрульная машина быстро приехала. Началась перестрелка. В результате главарь бандитов некий Гущин ранен и захвачен. А уцелевшие бандиты засели в ограбленном магазине, взяв в заложницы двух перепуганных продавщиц. Положение сложное: при штурме могут погибнуть невинные люди и наши сотрудники. А специалиста по переговорам у нас нет.

И Смыслов решился:

— Послушайте, подполковник, у меня есть опыт ведения переговоров по освобождению заложников. Разрешите попробовать?

— Ну что же, не возражаю. Покажи, на что способен. Может быть, уболтаешь отморозков.

— Убалтывают девок, чтобы покладистее были, а мне надо убедить бандитов сдаться и сохранить жизнь заложницам.

— Ладно, не обижайся. Какая помощь нужна?

— Предоставьте полную свободу действий. Буду действовать быстро и жестко. Для начала отдайте мне раненого бандита и не подпускайте к нему медиков, пока я не разрешу.

— А оправдать чрезмерную жестокость к поверженному врагу сможешь?

— Легко. Получена информация, что у раненого бандита при себе граната имеется и он намеревается взорвать себя вместе с медиками. А мы не можем рисковать их жизнями.

— Принято. Даю тебе полную свободу. Только реши проблему. Вот мы и прибыли.

Смыслов выскочил из машины и направился к сидящему на асфальте возле патрульной маши-

ны раненому бандиту. Он заговорил напористо и кратко:

— Ты кто?

— Гущин я, Петр, три ходки за спиной имею.

— Значит, ты человек опытный и, следовательно, понятливый. Подстреленного инкассатора уже везут к хирургу, и он останется жить. А вот с тобой вопрос не ясен. Если поздно тебя доставят к лепилам, то от потери крови концы отдашь. А уж я позабочусь, чтобы медики не особенно спешили. Вон, видишь, они подъехали, но ждут моего разрешения. Так предпочтешь умереть или дашь нужную информацию?

— Не пугай! Говори быстрее, что от меня требуется?

— Выкладывай, кто засел в магазине. И учти, от жизни заложниц и твоя судьба зависит. Суд учтет все последствия вашего лихого налета.

— Я знаю по зоне Витьку Стулова. Он тянул срок за грабеж. Жена от него ушла, живет один. А второй — это его сосед по дому, ранее не судимый паренек Мишка. Мать его больна диабетом, но выпивает. Он ее ненавидит. Больше ничего о нем сказать не могу.

Смыслов понял, что большего от грабителя добиться невозможно, и взмахом руки подозвал медиков, позволив им отвести истекающего кровью Гущина в машину скорой помощи. Смыслов подошел к подполковнику:

— Как всегда, в начале операции удалось собрать мизер информации. Придется на переговорах играть во многом втемную и блефовать. У засевших в магазине бандитов отношение к женщинам сложилось по жизни явно негативное, и сыграть на сострадании к заложницам не удастся. Боюсь, что они неприязненные отношения в своих семьях перенесут на продавщиц. Это затруднит переговоры.

— Что полагаешь предпринять?

— Сделаю упор на добровольную сдачу как единственную возможность спасти свою жизнь. С вашего позволения, я повышу себя в должности и звании. Это польстит бандитам. Пусть думают, что ведут переговоры с высоким начальством, имеющим право решать их судьбу.

— Да хоть генералом назовись. Лишь бы толк был.

— Ну, тогда я пошел.

Смыслов приблизился сбоку к двери магазина и, укрываясь за толстой стеной, громко представился:

— С вами говорит полковник Смыслов из областного управления. Я здесь в командировке по другому делу, но, узнав о нападении на инкассаторов, генерал поручил мне вести с вами переговоры. Тратить зря слова не буду. Сейчас сюда прибудет спецназ, и с вами будет покончено. Вас это устроит? А я по-любому сегодня вечером выпью стакан водки и буду по телевизору смотреть футбол. А где вы в это время будете, даже страшно подумать.

— Если так все просто, то чего нам мозги компостируешь?

— Не хочу затягивать операцию, и в случае вашего отказа сдаться сразу дам приказ на штурм, как только спецназ подвезут.

— А теперь слушай нас! Живыми баб получите лишь в обмен на инкассаторскую бронированную машину и миллион рублей мелкими купюрами. И давай не затягивай.

— Ты, похоже, фильмов американских насмотрелся! Учти, заложницы мне лично не знакомы. Женщин, конечно, жалко. Но для них сегодня несчастливо карта легла. Ты пойми, я в любом случае дам снайперам команду ликвидировать вас при выходе из магазина, и до бронированной машины вам добраться не дадут.

— А мы закутаем себя и заложниц в шторы с головы до пят и пойдем на прорыв.

— Ну ты и придумал! Вы ростом выше заложниц, и снайперы сразу поймут, в кого надо стрелять. Так что приказ открыть огонь отдам без колебаний.

— Ну и что ты предлагаешь?

— Рецепт простой: самим уцелеть и заложниц в живых оставить. А затем попытаться получить срок поменьше, ссылаясь на смягчающие обстоятельства. Посуди сам: на вас крови инкассатора нет. В него стрелял Гущин. И за организацию нападения он отвечать будет, если, конечно, выживет после ранения.

— Сладко, поешь, начальник. Но учти, я здесь не один.

— Так Мишка тут вообще сбоку. Ранее не судим. На преступление пошел ради приобретения дефицитных лекарств, нужных больной матери. Присяжные заседатели будут безутешно рыдать, услышав эту историю. Но это сработает только при добровольном освобождении заложниц! Причем все поймут, что это именно ты принял правильное решение.

— Дай подумать, начальник.

— Нечего время тянуть. Ты, Витек, в данной ситуации главный. Мишка тебе не советчик. Ты как опытный сиделец легко в зоне перекантуешься до УДО. А в случае отказа уже через час в морге отсыпаться будешь. Я все сказал.

Наступила тягостная пауза. Смыслов немного выждал и продолжил давление на психику:

— Ну все, мужики, наши сотрудники готовятся к штурму. У вас ровно пять минут для принятия решения.

Смыслов намеренно не сказал «до начала штурма», оставив себе возможность для маневра и в случае их отказа продолжить переговоры. Жизнью заложниц он рисковать не хотел. Сыщик напряженно смотрел на бег стрелки, когда внезапно из-за двери прозвучало предложение:

— Давай обсудим порядок сдачи.

— Отпускаете сначала женщин. Если они в порядке, то и к вам отнесемся с пониманием.

— Так не пойдет. Мы баб освободим, а вы нас при выходе, как в тире, постреляете.

— Не получится, даже если бы захотели. Журналисты сюда как мухи на мед налетели. А в их присутствии никто не посмеет вас и пальцем тронуть, если заложниц добровольно освободите. Так что физическую неприкосновенность вам пресса гарантирует.

После небольшой заминки дверь магазина распахнулась, и на улицу выбежали две перепуганные женщины. Смыслов облегченно вздохнул: «Не зря я им подкинул дезинформацию о газетчиках. Наживка сработала. Сейчас Стулов пошлет вперед Мишку и, убедившись, что того взяли живым, выйдет сам».

Он не ошибся. Испуганно озираясь, молодой парень вышел из магазина и торопливо положил на асфальт пистолет. К нему подбежали омоновцы и быстро отвели в машину. Следом поспешно покинул укрытие Стулов. Его скрутили и надели наручники.

Смыслов подошел к подполковнику. Тот явно был доволен исходом операции.

— Молодец, сработал классно. Вот только, уговаривая преступников сдаться, подсказал им, как отмазаться от тяжких обвинений.

— Я говорил лишь самые элементарные вещи. Все равно адвокат или сокамерники им подскажут, какие примочки на суде и следствии впаривать. Зато сработало.

— Да, это так, а победителей не судят. Садись в машину, поедем в отдел и займемся составлением отчета. О пряниках и наградах тоже надо позаботиться.

Из окна покидающей место происшествия машины Смыслов увидел освобожденных заложниц. Женщины уже успели немного успокоиться и кокетливо улыбались успокаивающим их полицейским. Это немного примирило Смыслова с явным чувством неприязни, которое испытывали к нему его коллеги. И только Крюков смотрел на него с искренним восхищением.

Это не удивляло Смыслова: мало кто умеет радоваться успехам других людей. Зато он сумел привлечь на свою сторону в первый день по крайней мере двух союзников: молодого сыщика и опытного Конева. Для начала работы в чужом городе это было немало.

Продолжение следует.

Илья КРИШТУЛ

О себе

Родился в Москве, где и живу. Учился в МГПИ, работал в кино, преподавал в средней школе. Сейчас домохозяин. Сочиняю юмористические рассказики, изредка публикуюсь.

Один день со звездой

Редактор газеты дал задание — провести целый день со звездой. Наш выбор пал на молодого, но уже суперпопулярного актера, сыгравшего яркие роли в трехстах сериалах и в одном художественном фильме, телеведущего, прекрасного театрального артиста, певца, режиссера, композитора, сценариста и светского льва Петра Иванова. Уже на следующее утро, в два часа дня, мы звонили в его загородный домик, расположенный на заброшенной окраине подмосковной деревушки Барвиха. К нашему удивлению, Петр уже не спал и сам открыл нам калитку.

— Только вчера уволил прислугу — воровали, — объяснил хозяин. — Кроссовки вот пропали, майка, а это как бы реальные деньги...

— То есть чай мы не попьем?

— Нет, попьем в одном хорошем заведении для своих, там с меня реально не возьмут денег...

И мы продолжили разговор в его скромном «Ягуаре». Начал, посмотрев на часы, сам Петр.

— Уже реально опаздываем, так что давайте без чая. У меня сегодня, типа, очень сложный день, много важных встреч по поводу денег...

— Скажи, Петр, а не сложно жить в таком напряженном графике?

— Нет, я уже привык. Сегодня, к примеру, у меня съемки в десяти сериалах, антрепризный спектакль в Реутово — тридцатиминутная музыкально-эротическая версия «Войны и мира», автор, как мне сказали, умер, затем запись в семи телевизионных шоу для кабельного телевидения Балашихи, концерт на презентации новой сауны в Домодедово, еще много чего... Это пафосно, да и деньги реальные.

— А какие роли ты сейчас играешь в сериалах?

— Как всегда, главные роли со словами — полицейских, спецназовцев, крутых бизнесменов, они как бы есть в любом сериале. Я реально не опускаюсь ниже определенного уровня и отказываюсь играть официантов, охранников, манекенщиц. Мне это уже неинтересно, да и деньги смешные...

— Петр, а нет мечты сыграть, к примеру, Гамлета?

— А я играл Гамлета. В прошлом месяце, в сериале... забыл название. Гамлет Мхитарян, иностранец, вор в законе. Меня там просили слова с акцентом говорить, денег за это реально добавили...

— Мы имеем в виду «Гамлета» Шекспира...

— Нет, Гамлета Шекспира я еще не играл. Хотя можно спросить у моего директора, он реально, типа, должен знать — такие деньги у меня получает...

— А что ты сейчас, кроме Толстого, играешь на театральных подмостках?

— Чего?

— Что ты сейчас играешь в театре?

— Много всего. У меня хорошая фигура, я реально не стесняюсь раздеваться на сцене, знаю

жаргон. Я как бы востребован театром, да и деньги хорошие платят.

— И какая твоя последняя театральная роль?

— У нас не говорят последняя, говорят — крайняя, а то денег реально не будет.

— И какая твоя крайняя роль?

— Играю в спектакле по Чехову, по-моему. Или по Гоголю, я их путаю. Были такие советские писатели. Наш режиссер, короче, заново их переосмыслил. Нас на сцене трое, я и две мои партнерши, бывшие знаменитые спортсменки. Они, типа, играют трех сестер, но без слов и голыми. У меня роль с одеждой и словами, я реально хожу по пьесе в сюртуке, это такой пафосный пиджак. Режиссер даже разрешил материться. Я, правда, не знаю, как матерились Чехов с Гоголем, пьесу я не читал, нет времени, поэтому импровизирую. У меня же хорошая актерская школа, я играл в КВН, а нас там учили актерскому мастерству. Что говорить — голос мне ставил человек, который сделал певцом Укупника! Наш спектакль сегодня самый модный в Москве, мы собираем аншлаги, приходят мои друзья, друзья моих партнерш, родственники, вся тусовка... Да и люди иногда заходят. Денег рубим немерено...

Мы уже подъехали к съемочной площадке первого сериала. К Петру сразу подбежали гример, костюмер и помощник режиссера со сценарием.

— У меня на все реально час, — сказал Петр. — Кого я играю? Слов много? А деньги когда?

Пока Петр переодевался-гримировался, учил слова и получал гонорар, мы подошли к режиссеру сериала.

— Кого у вас играет Петр?

— У него, как всегда, главная роль. Петр великий актер, самородок, он может все. Сегодня его герой, майор полиции, должен подойти к двери квартиры, постучать, крикнуть «Открывайте, твари!» и зайти внутрь. Кадр важен драматургически и несет в себе сверхзадачу...

На десятом дубле у Петра все получилось. Предыдущие девять были испорчены, так как вместо нужной фразы он говорил рекламный лозунг какого-то магазина.

— Вчера там как бы снимался, реально трудно перестроиться, — оправдывался Петр. — Такие деньги мне заплатили!

Мы уже мчались на съемочную площадку следующего сериала, в котором Петр играл невинно осужденного бизнесмена. По сценарию он стучал в дверь камеры и кричал: «Открывайте, твари!»

— Где-то я это уже говорил... — сказал Петр по дороге на третью съемочную площадку. — Надо будет реально название узнать. Слов мало, а деньги хорошие.

После седьмой съемочной площадки у нас все перемешалось. Режиссеры, гримеры, костюмеры, двери, в которые Петр стучал, твари, которые их открывали, слова, которые они все говорили... А ведь были еще встречи по поводу денег, антрепризный спектакль, запись в телевизионных шоу, закрытая вечеринка на открытии радиостанции, праздник, посвященный 300-летию изобретения булавки, концерт в честь годовщины газеты «Новости Конакова», затем Петр вручал премию «Самой стильно одетой певице прошлой недели», получал премию «Гламурный герой четверга», участвовал в фотосессии для женского журнала, присутствовал на презентации книги модной писательницы и на корпоративном вечере в пафосном обувном магазине...

— Отказываться нельзя, иначе сразу вылетишь из обоймы, из списков на ужин и подарки, из последних светских новостей. Да и реально хочется оставить о себе какую-то память. Мы, актеры, так устроены — всегда смотрим в вечность, — говорил Петр, осматривая подаренные ему пляжные тапочки. — Надо поднимать российскую культуру, хотя могли подарить и ботинки. А сейчас поедем в ночной клуб, я там, типа, презентую свой новый диск. Короче, я перепел песни Окуджавы — был такой певец, и у меня получилось лучше и громче. Под мои версии этих песен можно танцевать, они очень ритмичные. Потом я улетаю, пригласили провести день рождения какого-то города под Костромой. Со мной летят еще несколько суперзвезд моего уровня из «Дома-2». Такие деньги нам предложили!

В клубе было многолюдно. Здесь были режиссеры сериалов, в которых снимался Петр, самая стильно одетая певица прошлой недели, модная писательница, суперзвезды из «Дома-2», все те, кто праздновал 300-летие булавки, открывал радиостанцию и отмечал годовщину газеты, около пятидесяти продюсеров и один футболист. Когда закончилась текила и две светские львицы не поделили с модной писательницей одинокого футболиста, мы решили выйти на улицу. В свете фонарей с постамента на нас грустно смотрел Александр Сергеевич. Мы положили к подножию памятника книгу модной писательницы с автографом, и нам показалось, что Пушкин в ужасе отшатнулся. Видимо, это начинала действовать текила...

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Добрый день, дорогая редакция. Случайно обнаружила публикацию своей басни в вашем журнале... Басня обрезана в самом начале, смысл ее не раскрыт, и потом этот странный комментарий: «...это звучит гордо...». Я что, искатель славы? Думаю, вы не чувствуете, насколько глубока и трагична сегодня судьба Украины, насколько тяжело видеть, как издеваются над страной и ее прекрасным народом. Впрочем, и не обязаны... Есть как есть. Я получила еще один маленький урок...

Таня Беспальчук, Украина

Галка ГАЛКИНА:

Дорогая Таня Беспальчук! Напечатали Вашу басню про баранов: есть как есть. Бараний пафос вашей басни предельно ясен и пронзителен. Но раскрыт не до конца. Вот главный резон, руководившей рукой редактора, отрезавшего самое начало.

Надо ставить вопрос ребром: кто (имя, фамилия) главный баран и какова его судьба, — а не прятаться за мелкотравчатыми и трусливыми эпитетами! Вот вы пишете:

Еще штук двадцать идиотов
Искали «нового пути»...

Кто конкретно — идиот: фамилия, должность? Что конкретно искали бараны и что в итоге нашли?

Вот в чем вопрос!

Если Вас волнует судьба Украины, то так и надо писать: так, мол, и так. А покуда у Вас бараны хлещут друг друга без зазрения совести лопухом и щиплют травку вместо пастуха. А надо — пастуха. В то самое место, которым он думает.

Вот такой шашлык получается.

Не журытесь.

Будьмо!

Проказник Гео, человек-критик

В ПОИСКЕ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых безвестных литераторов, одновременно являясь литературным власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского края не доехал пока. На этом пока и остановимся.

Олег Рой. «Шапка Лайф, или Через тернии в звезды»

Красная Шапочка лежала на перине и смотрела то в потолок старого деревенского дома, то в телевизор, то в смартфон...

А Красная Шапочка тосковала по Волку. За последнее время ей стало необходимо видеть его ежедневно. Высокого, широкоплечего, сильного... Его мужественный вид и янтарные глаза, которые меняли цвет в диапазоне пятидесяти оттенков, от медового до коричневого, в зависимости от перемены настроения или погоды, волновал ее с каждым днем все сильнее.

Подумаешь, невидаль какая — Волк. В их мире половина населения зооморфы, ходят наполовину в зверином

обличье. И Волк не самый худший случай. Как говорит матушка Красной Шапочки, имеющая в роду Черных Пантер: «Половина моих подруг живут с Козлами и, ничего, почти счастливы».

И вот в жизни Красной Шапочки появился наконец-то мужчина самой высокой мечты, а он и глаз не кажет. Все пришли, а Волк — нет... И что? Бежать к нему, туда, где живет в деревенском клубе вся съемочная группа? Как-то стыдно...

Проказник Гео, человек-критик:

Олег Резепкин (такова настоящая фамилия автора) — автор, если верить Интернету, 108 книг! И это не может не вдохновлять. Особливо читателей, которые едва поспевают за автором.

Внеочередной бестселлер посвящен зооморфным отношениям Красной Шапочки и Волка. Интерес к Волку у Красной Шапочки отнюдь не платонический.

Кстати, вот что по этому поводу говорит всезнающая «Википедия»: «Зоофилия (от греч. ζῷον — «животное» и φιλία — «дружба или любовь»), или скотоложество (скотоложство), — парафилия, определяемая как влечение человека, направленное на животных, или признание животных сексуально привлекательными».

Но интересно не это, а то, как Рой позиционирован в общественном сознании: «Награжден “Золотым рыцарским крестом доблести и чести” за благотворительную и литературную деятельность. Входит в топ-100 лучших европейских романистов, его переводят на иностранные языки. Популярность писателя растет день ото дня...»

«Как в сказке» — хочется добавить в резюме бывшего педагога, вернувшегося, как и князь Мышкин, в родные осины из Швейцарии учить нас, как правильно ковырять в носу!

Как-то стыдно, господа...